

Ричард МЭТСОН

ЛЕГЕНДА

Ричард МЭТСОН



Ручард МЭТСОН









РИЧАРД МЭТСОН

ЛЕГЕНДА

Санкт-Петербург
«Северо-Запад»
1993

ББК 84.7 США

М97

Перевод с английского
Сергея Осипова
и Максима Панкротова

Мэтсон Р.
М97 Легенда: Романы/Пер. с англ. — СПб.: Северо-Запад, 1993. — 447 с.
ISBN 5-8352-0166-4

Этот загадочный, таинственный американский фантаст, лауреат Всемирной премии фэнтези, был знаком любителям фантастики лишь по фильмам «Последний» и «Сжимающийся человек». Настоящее издание знакомит читателей с двумя романами Р. Мэтсона, которые и легли в основу вышеупомянутых фильмов. Это романы — «Я — легенда» и «Путь вниз». Они не связаны общими героями, но их роднит тема — борьба одинокого человека с Роком, с Фатумом, с Судьбой.

Творчество Р. Мэтсона можно отнести к жанру «философской фэнтези». Читатель увидит явные аллюзии к Кафке, Сартру, Ницше, Достоевскому. Однако язык произведения прост и динамичен, сюжет закручен как в хорошем детективе. А так же полный набор элементов фэнтези — превращения, сдвиг реальностей, чудовища. Мэтсон откроется не только как писатель, рассуждающий на «вечные темы», но и как мастер крутой фантастики, умеющий пощекотать нервы...

*Перепечатка отдельных глав
и произведения в целом — запрещена.
Всякое коммерческое использование
настоящего перевода может быть осуществлено
исключительно с ведома издателя.*

© С. Осипов, М. Панкратов, перевод,
1993.

© Издательство «Северо-Запад»,
подготовка текста, оформление, 1993.

® ~~СЕВЕРО-ЗАПАД~~. Зарегистрированная
торговая марка. Охраняется законом.

ISBN 5-8352-0166-4

ГЕНРИ КАТТНЕРУ посвящается
с глубокой благодарностью за помощь
и поддержку в работе над этой книгой

Я- ЛЕГЕНДА

ПОСЛЕДНИЙ





ЧАСТЬ I

январь 1976

ГЛАВА 1

В пасмурную погоду Роберт Нэвилль никогда не мог угадать приближения темноты, и случалось, что ОНИ появлялись на улицах прежде, чем он успевал скрыться.

Задайся он такой целью, он, конечно, вычислил бы примерное время ИХ появления. Но он привык отмечать приближение темноты по солнцу и не хотел отказываться от этой старой привычки даже в пасмурные дни, когда от нее было мало проку. В такие дни он старался держаться поближе к дому.

Он не торопясь закурил и, отправив сигарету в уголок рта, как обычно, обошел вокруг дома. Надо было проверить все окна: не ослабли ли какие-нибудь доски. Часто после налетов доски бывали расщеплены и частично оторваны. Тогда их приходилось заменять. Он ненавидел это занятие.

На этот раз только одна, не странно ли, — подумал он.

Он вышел на двор, проверил теплицу и накопитель воды. Иногда бывали повреждены крепления бака, иногда погнуты или отломаны дождеуловители. ОНИ швыряли камни через изгородь, и, хотя изгородь была высокой, камни долетали до теплицы и, несмотря на натянутую над ней сетку, достигали цели. Приходилось ставить новые стекла.

На этот раз и теплица и накопитель были в порядке.

Он пошел в дом за молотком и гвоздями. У самой двери, как войти, висело треснутое зеркало, которое он повесил всего с месяц тому назад. Он взглянул на свое кусочно-осколочное отражение. Еще несколько дней — и эти посеребренные стекляшки начнут выпадать. И пусть падают, — подумал он. Это проклятое зеркало — последнее, которое он тут повесил. Все равно зря. Лучше повесить чеснок — и то больше проку.

Он прошел через темную гостиную в небольшой холл и зашел в спальню. Когда-то эта комната была неплохо обставлена, но это было давно. Теперь здесь все было функционально, без излишеств. Поскольку кровать и письменный стол занимали немного места, полкомнаты он отвел под мастерскую.

Вдоль почти что всей стены был поставлен массивный деревянный верстак, на котором базировались дисковая пила, рубанок, наждачный круг и тиски. На стеллаже над ним были развешаны инструменты. Он взял с полки молоток, несколько гвоздей из коробки, вышел и накрепко приколотил отошедшую доску. Оставшиеся гвозди швырнул возле двери.

Стоя на лужайке перед домом, он некоторое время осматривал пустую в обе стороны улицу. Высокого роста, тридцати шести лет от роду, англо-германских кровей. Черты его лица нельзя было бы назвать приметными, если бы не резко очерченный волевой рот и яркая глубина голубых глаз. Он внимательно осмотрел пепелища прилегающих домов — которые спалил, чтобы предохраниться от нападения сверху: чтобы нельзя было прыгнуть с крыши на крышу. Эта рекогносцировка заняла несколько минут. Он медленно, глубоко вздохнул и направился к дому. Он швырнул молоток на кресло, снова закурил и налил себе традиционный дневной стопарик.

В кухню идти не хотелось. Но, немного посидев, он пересилил себя: надо было разгрести кучу отходов, скопившуюся в раковине за последние пять дней. Да, он знал, что надо бы еще и сжечь использованные бумажные тарелки, другой хлам, протереть пыль, отмыть раковины и ванну, и туалет, сменить простыни и наволочку... Но это всегда тяготило его.

Потому что он был мужчиной, и жил один, и все это его мало тревожило.

Близился полдень. Наполняя небольшую корзинку, Роберт Нэвилль собирал в теплице чеснок.

Поначалу его воротило от чесночного запаха, да еще в таких количествах, и в животе постоянно творилась революция. Теперь этим запахом пропитался весь дом, вся одежда, а иногда казалось, что и плоть — тоже; он постепенно свыкся и перестал замечать его.

Набрав достаточное количество головок, он вернулся в дом и вывалил чеснок на дно раковины. Щелкнул выключателем на стене, и лампочка, тускло помигав, постепенно дошла до нормального свечения. Он раздраженно чертыхнулся сквозь зубы. Опять генератор. Опять надо брать это чертово руководство, идти и проверять разводку. А если поломки окажутся серьезнее, чем обычно, придется менять генератор.

Он зло придвинул к раковине высокую табуретку, взял нож, с тяжелым вздохом сел и принялся за работу.

Сначала он разделил головки на маленькие, похожие на розовые кожистые серпики, зубки. Затем разрезал каждый из них пополам, обнажая мясистую сочную плоть с крепким ростком в середине. Воздух густел от острого мускусного запаха, пока не стало трудно дышать. Он включил кондиционер, и — спасибо вентиляции — через несколько минут слегка полегчало. Закончив с этим, он проделал в каждом

полузубчике дырочку и нанизал их на проволоку; в результате получилось около двух дюжин низанок.

Вначале он просто развешивал низанки над окнами, но они кидали камни издали, так что вскоре пришлось закрыть окна фанерой: стекла здесь служили не долго. В конце концов и фанеру пришлось сменить: он заколотил окна плотными рядами досок, отчего в доме стало мрачно и темно, как в склепе, но это было все же лучше, нежели ждать, когда в комнату, разбрызгивая оконное стекло, влетит булыжник. А когда он смонтировал три кондиционера, получилось совсем недурно. В конце концов, мужчина, если надо, может приспособиться к чему угодно.

Закончив нанизывать чесночные зубки, он развесил низанки снаружи окон, на дощатой обшивке, заменив старые, которые уже в значительной степени выдохлись.

Эта процедура была обязательной дважды в неделю. Пока ничего лучшего он не нашел, и это была первая линия обороны.

Зачем мне все это? — иногда думал он..

Весь вечер он делал колышки.

Он вытачивал их из толстой шпонки: резал дисковой пилой на восьмидюймовые отрезки и доводил на наждаке до остроты кинжала.

Это была тяжелая, монотонная работа, воздух наполнялся запахом горячей древесной пыли, которая забивалась в поры и проникала в легкие, вызывая кашель.

Еще ни разу не удавалось запастись впрок. Сколько бы колышков он ни изготовил — все они уходили практически мгновенно. Доставать шпонку становилось все труднее. В конце концов ему пришлось самому выстрагивать прямоугольные бруски. Ну не смешно ли, — горько думал он.

Все это угнетало его и постепенно привело к решению, что надо искать другой путь избавления. Но

как искать, если нет времени приостановиться и подумать — они никогда не дадут такой возможности.

Работая, он слушал музыку, доносившуюся из установленного в спальне динамика: Третья, Седьмая, Девятая симфонии Бетховена — и радовался, что в детстве научился от матери ценить именно такую музыку: она помогала ему заполнять пугающую пустоту стремительно уходящего времени.

С четырех часов он постоянно оглядывался на стенные часы, продолжая работать молча, сжав губы, с сигаретой в уголке рта, цепко наблюдая за тем, как наждак вгрызается в дерево, рождая легкую древесную пыль, причудливыми узорами медленно оседающую на пол.

Четыре пятнадцать. Половина. Без четверти пять.

Еще час — и все они будут здесь, как только стемнеет. Мерзкие ублюдки.

Он стоял перед огромным холодильником и выбирал что-нибудь на ужин.

Взгляд устало скользил по мясным упаковкам, мороженым овощам, булочкам и пирожкам, фруктам и брикетам мороженого.

Он выбрал две бараньи котлетки, стручковую фасоль и маленькую коробочку апельсинового шербета и, нагрузившись упаковками, локтем захлопнул дверцу.

В комнате, когда-то принадлежавшей Кэтти, а теперь ублажавшей его желудок, до самого потолка громоздился неровный штабель консервов: здесь он прихватил банку томатного сока и отправился в кухню.

Фреска на стене гостиной изображала скалу, обрывающуюся в океан. Сине-зеленая вода под скалой пенилась, разбиваясь о черные камни. В высоте без-

облачного голубого неба скользили белые чайки, и кривое деревце распростерло над пропастью свои темные ветви.

Нэвилль вывалил провиант на кухонный стол и взглянул на часы. Без двадцати шесть. Теперь уже скоро.

Он налил в кастрюльку немного воды и поставил на плиту. Отбил котлетки и шлепнул на сковородку. Тем временем закипела вода, бросил туда фасоль и накрыл крышкой, размышляя, что, вероятно, как раз от электроплитки-то и скисает генератор. Отрезал пару ломтиков хлеба, налил стакан томатного сока и сел, наблюдая за секундной стрелкой, медленно бегущей по циферблату.

— Эти ублюдки скоро будут.

Выпив томатный сок, он вышел на крыльцо, спустился на лужайку и дошел до дороги.

Небо постепенно темнело, и на землю снускалась ночная прохлада. Вот что плохо в пасмурной погоде: никак не угадать, когда они появятся.

О, конечно, эта погода все же лучше пыльной бури, черт бы ее побрал. Поежившись, он пересек лужайку и скрылся в доме, запер за собой дверь, задвинул тяжелый засов, прошел на кухню, перевернул котлетки и снял с огня фасоль.

Уже накладывая себе в тарелку, он остановился и взглянул на часы, чтобы заметить время: шесть двадцать пять. Кричал Бен Кортман.

— Выходи, Нэвилль!..

Роберт Нэвилль со вздохом сел, придвинул стул и принялся за еду.

Устроившись в гостиной, он попытался читать. Приготовив в своем маленьком баре виски с содовой, он уселся с холодным стаканом в одной руке и

психологическим тестом в другой. Через открытую дверь холла комнату заполняла музыка Шёнберга.

Громкость, однако, была недостаточной, их все равно было слышно. Там, снаружи, они переговаривались, рассказывали вокруг дома, о чем-то спорили, шумели, дрались. Время от времени в стену дома ударял камень или обломок кирпича, изредка лаяли собаки.

И все они там, снаружи, хотели одного и того же.

Роберт Нэвилль на мгновение закрыл глаза и стиснул зубы. Открыв глаза, он закурил новую сигарету и глубоко затянулся, ощущая, как дым заполняет его легкие.

Пожалуй, надо выкроить время и сделать звукоизоляцию. Да, это было бы неплохо, если бы не одно «но»: надо было слышать, что там происходит. Однако даже сейчас, после пяти месяцев, нервы все-таки не выдерживали.

Давно уже он не смотрел на них. Вначале он специально прорубил во входной двери глазок и наблюдал за ними. Но потом женщины снаружи заметили это и стали принимать такие мерзкие позы в надежде выманить его... Но все их попытки были бесплодны. Глазеть на них не было никакого желания.

Отложив книгу и тупо уставившись в пол, он пытался сконцентрироваться на музыке, доносившейся из громкоговорителя. *Verklarte nacht*. Если заткнуть уши затычками, их не будет слышно, но тогда не будет слышно и музыки, — нет, пусть они и не надеются загнать меня внутрь собственного панциря, — подумал он и снова закрыл глаза.

Что труднее всего переносить — так это женщин, — подумал он. — Эти женщины, выставляющие себя напоказ, словно похотливые куклы, в надежде, что он увидит их, позирующих в ночном свете, и выйдет...

Дрожь пробежала по его телу. Каждую ночь одно и то же. Раскрытая книга. Музыка. Затем он начинал

думать о звукоизоляции и, наконец, об этих женщинах.

В глубине его тела разгорался пульсирующий пожар, губы сжались до немоты, до белизны. Это чувство давно было знакомо ему, и самое ужасное, что оно было непреодолимо. Оно нарастало и нарастало до тех пор, когда он наконец вскакивал, не в состоянии больше усидеть на месте, и начинал мерить шагами комнату, сжав кулаки до боли в суставах. Когда его состояние ухудшалось, переходя известную ему границу, необходимо было что-то делать. Или зарядить кинопроектор, или заняться едой, или напиться как следует, или довести уровень звука в динамиках до болевого порога.

Снова раскрыв книгу, он попытался читать, медленно и болезненно проговаривая слова, но сознание его не включалось. Мышцы живота напряглись и затвердели как стальные канаты, тело не подчинялось рассудку.

Через мгновение книга снова оказалась у него на коленях, закрытой. Взгляд его застыл на книжных стеллажах, заполнявших угол комнаты. Вся мудрость этих томов не могла теперь погасить огонь, разгоравшийся внутри него. Никакая мудрость веков не могла укротить немое безумие его плоти.

Признать это — означало сдаться. Это было не в его правилах. Да, всё шло своим чередом. Да, природа знает свои пути. Но они лишили его выхода. Они обрекли его на пожизненный целибат. Но жизнь продолжалась.

Разум! Есть у тебя разум? — спрашивал он себя. — Так найди же выход!

Увеличив еще немного громкость в динамиках, он вернулся и заставил себя прочесть целую страницу не останавливаясь. Он читал о кровяных тельцах, их движении через мембраны, о том, как лимфа переносит шлаки, как она течет по лимфатическим сосудам,

заканчивающимся лимфатическими узлами, о лимфоцитах и фагоцитах.

«...оттекает в вены: в венозный угол справа и слева, образованный слиянием внутренней яремной и подключичной вен, или в одну из этих вен у места соединения их друг с другом».

Книга с шумом захлопнулась.

Почему они не оставят его в покое? Неужели они так глупы, что думают, будто его хватит на них на всех? Они приходят каждую ночь в течение вот уже пяти месяцев. Почему бы им не оставить его в покое и не попытаться счастья где-нибудь в другом месте?

Приготовив себе в баре еще один стакан, он вернулся на место и прислушался к стуку камней, ударяющих по крыше и скатывающихся затем в кустарник у стен дома. Перекрывая эти звуки, снова раздался неизменный вопль Бена Кортмана.

— Выходи, Нэвилль!

Когда-нибудь я доберусь до тебя, ублюдка, — подумал он, как следует отхлебнув своего горького зелья. — Когда-нибудь я вгону тебе кол в твою проклятую грудь. Я сделаю один специально для тебя, ублюдка, на фут длиннее и с зазубринами.

Завтра. Завтра надо сделать звукоизоляцию. Руки его снова сжались в кулаки, костяшки побелели. Но как перестать думать об этих женщинах? Если б только не слышать их криков — может быть, тогда удастся и не думать. Завтра. Завтра.

Проигрыватель умолк. Нэвилль распахнул пачку пластинок по картонным конвертам и, стремясь заглушить шквал звуков, обрушившийся на него с улицы, поставил первую попавшуюся пластинку и крутанул громкость на максимум. Из динамиков на него обрушился «Год Чумы» Роджера Лея.

Струнные визжали и выли. Барабаны пульсировали, словно агонизирующие сердца. Флейты рождали

невообразимые, иррациональные комбинации звуков, не складывающихся в единую мелодию...

В порыве ярости он сорвал пластинку с диска проигрывателя и одним ударом об колено превратил ее в осколки. Давно уже он собирался сделать это. Тяжело ступая, он дошел до кухни, не зажигая света швырнул осколки в мусорное ведро, выпрямился и застыл в темноте, закрыв глаза, зажав руками уши, стиснув зубы. Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!

Конечно, ночью их не одолеть. Бесполезно даже пытаться: это их, ИХ время. Это глупо — пытаться одолеть их ночью. Смотреть кино? Нет, у него не было желания возиться с проектором. Надо заткнуть уши и идти спать. Впрочем, как и всегда. Каждую ночь его борьба заканчивалась этим. Торопливо, стараясь ни о чем не думать, он перешел в спальню, разделся, надел кальсоны и отправился в ванную. Эта привычка — спать только в кальсонах — сохранилась у него со времен войны в Панаме.

Умываясь, он взглянул в зеркало. Широкая грудь, завитки темной шерсти у сосков, дорожка шерсти, спускающаяся посреди живота, и татуировка в виде нательного креста. Этот крест был вытатуирован в Панаме, после одной из ночных пьянок.

Боже, каким я тогда был дураком! — подумал он. — Хотя, кто знает, быть может, именно этот крест и спас меня.

Тщательно вычистив зубы, он прочистил промежутки шелковинкой. Будучи теперь сам себе врачом, он бережно заботился о своих зубах.

Кое-что можно послать к чертям, — думал он, — но только не здоровье. Но почему же ты не прекратишь заливать себя алкоголем? Почему не остановишь это бесово наваждение? — думал он.

Пройдясь по дому и выключив свет, он несколько минут постоял перед фреской, пытаясь поверить в то,

что перед ним — настоящий океан. Но безуспешно. Доносившиеся с улицы удары, стук и скрежет, вопли, крики и завывания, раздирающие ночную тьму, никак не вписывались в эту картину.

Погасив свет в гостиной, он перешел в спальню.

На кровати тонкой сыпью лежали древесные опилки — он, раздраженно ворча, похлопал по покрывалу рукой, стряхивая их. Надо бы поставить переборку, отгородить спальный угол от мастерской, — подумал он. — Надо бы то, да надо бы это, — устало размышлял он, — этих проклятых мелочей столько, что до настоящего дела ему никогда не добраться.

На часах было едва только начало одиннадцатого, когда, забив поглубже в уши затычки и погрузившись в безмолвие, он выключил свет и, наслаждаясь тишиной, забрался под простыню.

Что ж, неплохо, — подумал он, — похоже, завтра будет ранний подъем.

Лежа в кровати и мерно, глубоко дыша, он мечтал о сне. Но тишина не помогала. Они все равно стояли перед его глазами — люди с блеклыми лицами, непрестанно слоняющиеся вокруг дома и отыскивающие лазейку, чтобы добраться до него. Он видел их, ходящих или, быть может, сидящих, как псы на задних лапах, с горящим взглядом, обращенным к дому, алчно скрежещущих зубами...

А женщины...

Что, опять о них?..

Выругавшись, он перевернулся на живот, вжался лицом в горячую подушку и замер, тяжело дыша, стараясь расслабиться.

Господи, дай мне дожить до утра, — в его сознании вновь и вновь рождались слова, приходившие каждую ночь, — Господи, ниспошли мне утро!

Вскрикивая во сне, он мямлил и комкал простыню, хватая ее как безумный, не находя себе покоя..

Ему снилась Вирджиния.

ГЛАВА 2

Просыпался он всегда одинаково.

Выпростав из-под простыни занемевшую руку, он достал со столика сигареты, закурил и лишь затем сел. Выпив из ушей затычки, прислушался. Встал, пересек гостиную и приоткрыл дверцу глазка.

Снаружи, на лужайке, словно почетный караул, безмолвно застыли темные фигуры.

Медленно, словно нехотя, они покидали свои посты и понемногу удалялись. Нэвилль слышал их недовольное бормотание.

Вот и еще одна ночь прошла... Вернувшись в спальню, он включил свет и оделся. Натягивая рубашку, он еще раз услышал крик Бена Кортмана:

— Выходи, Нэвилль!

Вот и все. После этого они расходились. Истощенные, ослабленные, утратившие свой пыл. Если, конечно, они не набрасывались на кого-нибудь из своих, что бывало довольно часто. Среди них не наблюдалось никакого единства, и исключительно их собственные побуждения были для них причиной.

Одевшись, Нэвилль присел на край постели и, промывав себе под нос, составил список дел на день:

Сайэрс: токар.

Вода.

Провер. генератор.

Шпонка (?)

Как обычно.

Завтрак на скорую руку: стакан апельсинового сока, ломтик обжаренного хлеба, две чашки кофе, — с ними было покончено без промедлений. Он лишь мечтал научиться терпению есть медленно.

Швырнув после завтрака бумажный стаканчик и тарелку в мусорную корзину, он почистил зубы. Есть хоть одна хорошая привычка, — отметил он про себя.

Выйдя на улицу, он первым делом взглянул на небо. Оно было чистым, практически безоблачным.

Сегодня можно прошвырнуться, — подумал он, — это хорошо.

На крыльце у него под ногами звякнули осколки зеркала.

Что же, эта хреновина рассыпалась, как и было обещано. Надо будет подмести.

Одно тело неуклюже раскинулось поперек дорожки, второе наполовину завалилось в кустарник. Оба трупа были женскими. Почти всегда это были женщины.

Отперев гараж, он выкатил свой «виллис»: длинный открытый джип армейского образца со снятыми задними сиденьями.

Бодрящая утренняя прохлада приятно освежала. Он распахнул ворота, вернулся, надел плотные тяжелые рукавицы и направился к женским телам на дорожке.

Непривлекательное зрелище при дневном свете, — подумал он и поволок их через лужайку к машине, где был приготовлен брезент. Обе женщины были цвета вымоченной рыбы: все было выпито до капли.

Открыв тыльную дверцу, он погрузил тела в «виллис» и прошелся по лужайке, собирая в мешок кирпичи и камни. Погрузив мешок в машину, снял рукавицы, прошел в дом, тщательно вымыл руки и приготовил ленч: два сэндвича, несколько пирожков и термос с горячим кофе.

Когда все было готово, он захватил в спальне мешок колышков и, как колчан забросив его за спину, пристегнул к кобуре, в которой у него находилась киянка. Запер за собой дверь и направился к машине.

Искать Бена Кортмана сегодня не стоит: есть много других забот. Вдруг вспомнилась вчерашняя мысль о звукоизоляции. Ладно, черт с ней, — подумал он, — завтра. Или когда погода испортится.

Он сел за руль и сверился со своим планом. Там первым пунктом стояло: «Сайэрс: токарь».

После того, как скинет трупы, разумеется.

Он завел мотор, вырулил задним ходом на Симаррон-стрит и взял курс на Комптон-бульвар. Там он свернул направо и направился на восток. Дома по обе стороны были безмолвны, и припаркованные у подъездов машины пусты и безжизненны.

Роберт Нэвилль бросил взгляд на счетчик горючего. Было еще полбака, но, видимо, имело смысл тормознуть на Вестерн-авеню и залить бензина под пробку: подзаправляться запасенным в гараже без особой на то надобности было бы неразумно.

На пустующей станции он заглушил мотор, выкатил бочку бензина, подсосал через шланг и ждал до тех пор, пока светлая текучая жидкость не хлынула через горловину на бетонное покрытие.

Масло, вода, жидкость в аккумуляторе, проводка — все было в порядке. Почти всегда это было так, поскольку машина была особым предметом его внимания. Случись так, что она сломается далеко от дома, и он не сможет вернуться до наступления сумерек... Впрочем, о том, что тогда случится, можно было даже и не размышлять. Несомненно одно: это был бы конец.

Улицы, пересекающие Комптон-бульвар, были пусты. Роберт Нэвилль миновал Комптон, затем буровые вышки. Никого.

Нэвилль знал, где их надо искать.

Подъезжая туда, где горело пламя, — вечный огонь, с горькой усмешкой подумал он, — он натянул противогаз, надел рукавицы и сквозь запотевшие стеклышки вгляделся в плотную завесу дыма, клубами возносящегося над землей. Здесь когда-то было огромное поле, целиком превращенное затем в угольный раскоп. Это было в июне 1975-го.

Нэвилль остановил машину и выскочил, торопясь поскорее справиться со своей невеселой работой.

Сноровистыми быстрыми рывками он выволок через тыльную дверцу машины первое тело и подтащил его к краю. Там он поставил тело на ноги и сильно толкнул.

Подскакивая на неровной наклонной плоскости карьера, тело покатилося вниз, пока не остановилось на дне, поверх огромной кучи тлеющих останков. Тяжело хватая ртом воздух, Роберт Нэвилль поспешил обратно к «виллису». Несмотря на противогаз, он здесь всегда чувствовал, что задыхается.

Подтащив к краю шахты второе тело, он спихнул и его, швырнул вслед мешок с камнями и, добежав до машины, едва коснувшись сиденья, выжал полный газ.

Отъехав примерно полмили, он сбросил рукавицы, швырнув их назад через сиденье, стянул противогаз и отправил его следом и сделал глубокий вдох, наполняя легкие свежим воздухом. Достав из бардачка фляжку, он как следует приложился к ней, медленно смакуя крепкое, обжигающее виски. Затем — сигарета. Закурил, крепко затянулся.

Время от времени наступали периоды, когда ему приходилось ежедневно ездить на шахту в течение нескольких недель, и всякий раз ему становилось дурно.

Где-то там, внизу, лежала и Кэтти.

По дороге в Инглюуд он остановился разжиться водой в бутылках.

В магазине было тихо и пустынно, в ноздри бил запах гниющей пищи. Торопливо толкая металлическую тележку по запыленным проходам, он шел, с трудом вдыхая густой от смрада воздух, словно процеживая его через зубы.

Бутыли с водой нашлись в подсобке, где за приоткрытой дверью виднелся лестничный пролет, уводящий вверх. Сгрузив все бутылки на тележку, он поднялся по лестнице. Там мог оказаться хозяин лавки, с него можно было и начать.

Их оказалось двое. В гостиной на диване лежала женщина лет тридцати в красном домашнем халате. Грудь ее мерно вздымалась и опускалась, глаза были закрыты, руки сцеплены на животе.

Колышек — в одной руке, киянка — в другой вдруг стали чудовищно неудобными, руки — словно чужими. Это всегда было тяжело, когда они были живы, а особенно — женщины.

Он вдруг почувствовал, что то бредовое состояние, желание, вновь оживает в глубине его тела, стремясь овладеть им. Его мускулы окаменели; он пытался заглушить, подавить растекавшееся по телу безумие. Оно не имело права на существование.

Она не издала ни звука, лишь оборвавшееся дыхание захлебнулось тихим внезапным хрипом на вдохе.

Нэвилль перешел в спальню. Доносившийся из гостиной звук — словно струйка воды из-под крана — преследовал его, настойчиво проникая в сознание.

Но что я еще могу сделать? — вопрошал он, в который раз пытаясь убедить себя, что поступает единственно верным образом.

Стоя в дверях спальни, он уставился на маленькую кроватку у окна, кадык его задвигался, дыхание оборвалось, застряв в гортани, и, влекомый непослушными ногами, он подошел к кроватке и взглянул на нее.

Но почему же они все так похожи на Кэтти? — подумал он, трясущимися руками вытаскивая из колчана колышек.

Подъезжая к Сайэрсу, он решил переключиться и, слегка сбавив скорость, размышлял о том, почему — деревянные колышки, и только они.

Ничто не нарушало ход его мыслей — не считая мерного шума мотора, вокруг царил тишина. Нэвилль неодобрительно нахмурился. Казалось совер-

шенно неправдоподобным, что этот вопрос пришел ему в голову лишь пять месяцев спустя.

Но тогда логично было бы задать и следующий вопрос: как же ему удавалось попадать в сердце? Так писал доктор Буш. «Непременно следует поразить сердце». Однако Нэвилль абсолютно не знал анатомии.

Морщина избородила лоб Нэвилля, и под ложечкой засосало от осознания того, что он не понимает, что же и зачем он все-таки делает, ежедневно преодолевая себя, подталкивая себя навстречу этому кошмару. Заниматься этим столько времени — и ни разу не спросить себя.

Встряхнув головой, он подумал: нет, все это не так-то просто раскрутить; надо тщательно, кропотливо — скопить все вопросы, требующие ответа, а затем докопаться до истины. Все должно быть по науке. Всему свой резон.

О, это вы, узнаю вас, — подумал он, — тени старого Фрица.

Так звали его отца. Нэвилль сопротивлялся, пытаясь одолеть унаследованную от отца склонность к четкой логике событий и повсеместной механистической ясности. Его отец так и умер, отрицая вампиров как факт до последней своей минуты.

В Сайерсе он взял токарный станок, погрузил его в «виллис» и затем обыскал магазин.

В цокольном этаже он отыскал пятерых, спрятавшихся в разных укромных закутках. Одного обнаружил в продуктовом холодильнике, заменяющем прилавок, и невольно рассмеялся, так забавно было выбрано это укрытие, так прекрасен этот эмалированный гроб.

Позднее, задумавшись, что же он нашел здесь смешного, он с огорчением рассудил, что в искаженном мире искажается все — в том числе и юмор.

В два часа он остановился и пообедал. Все отдавало чесноком. И снова задумался о свойстве чеснока:

что именно действовало на них? Должно быть, их гнал запах, но почему?

И вообще, сведения о вампирах были весьма странными. О них было известно, что они не выходят днем, боятся чеснока, погибают, пронзенные деревянным колышком, боятся крестов и, по-видимому, зеркал.

Впрочем, что касается последнего, то, согласно легенде, они не отражаются в зеркалах. Он же достоверно знал, что это ложь. Такая же ложь, как и то, что они превращаются в летучих мышей. Это суеверие легко опровергалось наблюдениями и простой логикой. Так же нелепо было бы верить, что они могут превращаться в волков. Без сомнения, существовали собаки-вампиры: он наблюдал их по ночам и слышал их вой, но они так и оставались собаками.

Роберт Нэвилль вдруг резко поджал губы. Забудь пока, — сказал он себе. — Момент еще не настал. Ты еще не готов. Придет время, и ты размотаешь этот клубок, виток за витком, но не теперь.

А пока — пока что проблем хватало.

После обеда, переходя от дома к дому, он истратил оставшиеся колышки, заготовленные накануне. Всего сорок семь штук.

ГЛАВА 3

«Сила вампира в том, что никто не верит в его существование».

Спасибо Вам, доктор Ван Гельсинг, — подумал он, откладывая свой экземпляр «Дракулы», и кисло устался на книжные полки. Не выпуская из рук бокал с остатками виски, с сигаретой во рту, слушая музыку. Играл Второй фортепьянный концерт Брамса.

Это было правдой. Из всей мешанины предрассудков и опереточных клише, собранных в этой книге, эта строка была истинно верной: никто не верил в

них. А как можно противостоять чему-либо, не поверив в него?

Таково было положение дел.

Какой-то ночной кошмар выплеснулся из тьмы средневековья. Нечто, превосходящее возможности человеческого здравого смысла. Нечто, издревле приписанное к области художественной и литературной мысли. Некогда всерьез будоражившие умы людей, вампиры теперь вышли из моды, изредка возникая вновь в идиллиях Саммерса или мелодрамах Стокера. Используемые лишь в качестве оригинальной острой приправы в современной писательской кухне, они практически избежали внимания Британской Энциклопедии, где им досталось всего несколько строк, и только тонкий ручеек легенды продолжал нести их из столетия в столетие.

Увы, все оказалось правдой.

Отхлебнув из бокала, он закрыл глаза, и холодная жидкость обожгла гортань, проникая вглубь и согревая его изнутри.

Правда, которую никто не узнал не представилось случая, — подумал он. — О, да. Они знали, подозревали, что за этим что-то кроется, но только не это и только не *так*. *Так* могло быть только в книгах, в снах, рожденных суевериями, *так* не могло быть на самом деле.

И, прежде чем наука занялась ею, эта легенда поглотила и уничтожила науку, да и все остальное.

В тот день он не нашел шпонки. Он не проверил генератор. Он не убрал осколки зеркала. Он не стал ужинать, у него пропал аппетит. Невелика потеря — он все время пропадал. Заниматься весь день тем, чем занимается он, а потом прийти домой и как следует поесть — он не мог. Даже спустя пять месяцев.

Дети — в тот день их было одиннадцать, нет, двенадцать, — вспомнив, он в два глотка прикончил свое виски.

В глазах слегка потемнело, и комната покачнулась.

Пьянеешь, папаша, — сказал он себе. — Ну и что с того? Имею я право?

Он зашвырнул книгу в дальний угол.

Бигонь, Ван Гельсинг, и Мина, и Джонатан, и красноглазый Конт, и все остальные! Жалкая клоунада! Догадки вперемешку со слюняйской болтовней, рассчитанной на пугливого читателя.

Он поперхнулся принужденным смешком: там, снаружи, его вызывал Бен Кортман.

Жди меня там, — подумал он, — как же, жди. Вот только штаны подтяну.

Его передернуло, тело напряглось, он стиснул зубы. Жди меня там. Там. А почему бы и нет? Почему бы не выйти? Это же самый верный способ избавиться от них.

Стать одним из них.

Рассмеявшись простоте выхода, он толчком встал, и, сутуло покачиваясь, подошел к бару.

А почему нет? — мысли ворочались с трудом. — Зачем все эти сложности, когда достаточно только распахнуть дверь, сделать несколько шагов, и все кончится?

Он поежился и подлил себе в бокал виски. Когда-то он использовал джиггер, но это было давно.

Чеснок на окнах, сеть над теплицей, кремация трупов, сбор булыжников, — борьба с неисчислимым полчищем, штука за штукой, дюйм за дюймом, миллиметр за миллиметром. Для чего же беречь себя? Он никогда никого уже не найдет.

Он тяжело опустился на стул. Приехали, малыш. Так и сиди, как жук в спичечном коробке. Устраивайся поудобнее — тебя охраняет батальон кровососов, которым ничего не надо, кроме глотка твоего марочного, стопроцентного гемоглобина.

Так пейте же, сегодня я угощаю! Лицо его исказила гримаса неопишуемой ненависти. Недоноски! Я

не сдамся, пока не перебью всех ваших мужчин и младенцев. Его ладонь сомкнулась как стальной капкан, и бокал не выдержал.

Осколок в руке, осколки стекла на полу. Он тупо глядел на струйку крови, перемешанной с виски, стекающей на пол из порезанной руки.

Они бы одобрили этот коктейль — а? — подумал он.

Идея настолько понравилась ему, что он едва не раскрыл дверь, чтобы помахать рукой у них перед носом и послушать их вопли.

Он неуверенно остановился, покачиваясь, и зажмурился. Дрожь пробежала по его телу. Опомнись, приятель, — сказал он себе. — Забинтуй лучше свою чертову руку. Он добрался до ванной, аккуратно промыл и прижег свою руку, словно рыба хватая ртом воздух, когда в рассеченную ткань попал йод, и неуклюже забинтовал ее. Порез оказался глубоким и болезненным, дыхание перехватывало, и на лбу выступил пот. Надо закурить, — сообразил он.

В гостиной он сменил Брамса на Бернштейна и достал сигарету.

Что делать, когда кончится курево? — подумал он, глядя на тонкую голубоватую нитку дыма, возносящуюся к потолку. Маловероятно. Он успел запасти около тысячи блоков — на стеллаже у Кэтти в ком...

Он стиснул зубы. В кладовке на стеллаже. В кладовке. В кладовке.

У Кэтти в комнате.

Вперив остановившийся взгляд во фреску, он слушал «Age of Anxiety» — «Время желаний». Отдавшись пульсирующей в ушах волне звуков, он стал отыскивать смысл в этом странном названии. Ах, значит, тобой овладело желание, бедный Ленни. Тебе стоило бы встретиться с Бенни. Какая прекрасная пара — Ленни и Бенни — какая встреча великого композитора с беспокойным покойником. «Мамочка, когда я вырасту, я хотел бы быть таким же вампиром,

как и мой папочка». — «О чем ты, милое дитя, конечно же, ты им будешь».

Наливая себе виски, он поморщился от боли и переложил бутылку в левую руку. Набулькав полный бокал, он снова уселся и отхлебнул.

Где же она, та неясная грань, за которой он оторвется от этого трезвого мира с его зыбким равновесием и мир со всей его суетой наконец утратит свой ясный, но безумный облик.

Ненавижу их.

Комната, покачнувшись, поплыла вокруг него, вращаясь и колыхаясь. Туман застил глаза. Он смотрел то на бокал, то на проигрыватель, голова его моталась из стороны в сторону, а те, снаружи, рыскали, кружили, бормотали, ждали.

Бедные вампирчики, — думал он, — вы, негодники, так и бродите там, бедолаги, брошенные, и мучает вас жажда...

Ага! — он помахал перед лицом поднятым указательным пальцем.

Друзья! Я выйду к вам, чтобы обсудить проблему вампиров как национального меньшинства — если, конечно, такие существуют, — а похоже, что они существуют.

Вкратце сформулирую основной тезис: против вампиров сложилось предвзятое мнение.

На чем основывается предвзятое отношение к национальным меньшинствам? Их дискриминируют, так как их опасаются. А потому...

Он снова надолго приложился к бокалу с виски.

Когда-то в средние века был промежуток времени, должно быть, очень короткий, когда вампиры были очень могущественны и страх перед ними велик. Они были анафемой — они остались анафемой и по сей день. Общество ненавидит и преследует их... Но — без всякой причины!

Разве их потребности шокируют больше, чем потребности человека или других животных? Разве их

поступки хуже поступков иных родителей, издевающихся над своими детьми, доводя их до безумия? При виде вампира у вас усиливается тахикардия и волосы встают дыбом. Но разве он хуже, чем те родители, что вырастили ребенка-неврастеника, сделавшегося впоследствии политиком? Разве он хуже фабриканта, дело которого зиждется на капитале, полученном от поставок оружия национал-террористам?

Или он хуже того подонка, который перегоняет этот пшеничный напиток, чтобы окончательно разгладить мозги у бедняг, и так не способных о чем-либо как следует мыслить? (Э-э, здесь я, извиняюсь, кажется, куснул руку, которая меня кормит.) Или, может быть, он хуже издателя, который заполняет витрины апологией убийства и насилия? Спроси свою совесть, дружище, разве так уж плохи вампиры?

Они всего-навсего пьют кровь.

Но откуда тогда такая несправедливость, предвзятость, недоверие и предрассудки? Почему бы не жить вампиру там, где ему нравится? Почему он должен прятаться и скрываться? Зачем уничтожать его?

Взгляните, это несчастное существо подобно загнанной лани. Оно беззащитно. У него нет права на образование и права голоса на выборах. Так не удивительно, что они вынуждены скрываться и вести ночной образ жизни.

Роберт Нэвилль угрюмо хмыкнул. Конечно, конечно, — подумал он, — а что бы ты сказал, если бы твоя сестра взяла такого себе в мужья?

Он поежился.

Достал ты меня, малец. Достал.

Пластинка кончилась, и игла, отскакивая назад, скоблила последние дорожки. Озноб сковал ноги, и он не мог уже подняться. Вот в чем беда неумеренного пьянства: вырабатывался иммунитет. Озарение и просветление больше не наступало. Опьянение не приносило счастья. Алкоголь больше не уводил в мир грез: коллапс наступал раньше, чем освобождение.

Комната уже разгладилась и остановилась, до слуха вновь доносились выкрики с улицы:

— Выходи, Нэвилль!

Кадык его задвигался, дыхание стало прерывистым. Выйти! Там его ждали женщины, их платья были распахнуты, их тела ждали его прикосновения, их губы жаждали...

— Крови! Моей крови!

Словно чужая, его рука медленно поднялась, костяшки побелели, и кулак, словно сгусток ненависти, тяжело опустился на колено. Явно не рассчитав удара, он резко вдохнул затхлый воздух комнаты и ощутил отвратительно резкий чесночный запах. Чеснок. Повсюду запах чеснока. В одежде, в белье, в еде и даже в виски. Будьте добры, мне — чеснок с содовой, — шутка была явно неудачной.

Он встал и прошелся по комнате.

Что я собирался делать? Все то же, что и обычно? Не стоит труда: книга — виски — звукоизоляция — женщины. Да! Эти женщины — переполненные вожделением, жаждой крови, выставляющие перед ним напоказ свои обнаженные, пылающие тела.

Э, нет, приятель: холодные.

Прерывистый стон отчаяния вырвался из его груди.

Будьте вы трижды прокляты, чего же вы ждете? Неужели вы думаете, что я выйду и отдамся вам, сам?

Может быть, может быть. Он понял, что снимает с двери засов.

Сюда, девочки. Я иду к вам. Омочите же губы свои...

Снаружи слышали движение засова, и ночную тьму рассек вопль нетерпения.

Крутанувшись на месте, он выбросил вперед кулаки, один за другим. Посыпалась штукатурка, и на костяшках выступила кровь. Дрожь бессилия колола его, зубы стучали.

Подождав, пока это пройдет, он снова заложил засов, вернулся в спальню и со стоном упал на кровать. Левая рука его непроизвольно подергивалась.

— О, Господи, когда же это кончится, когда?

ГЛАВА 4

В тот день, вопреки обычаю, он проспал до десяти часов.

Взглянув на часы, он недовольно пробурчал что-то; его тело, словно отлитое из бронзы, мгновенно ожило, и он вскочил на кровати, свесив ноги. Сознание его мгновенно пронзила пульсирующая боль, словно мозги вскипели и стремились вырваться из черепа наружу. Прекрасно, — подумал он, — похмелье: вот чего мне не хватало.

Со стоном он поднялся, поковылял в ванную и плеснул себе в лицо водой. Затем намочил голову. Ох, как мне плохо, — пожаловался он сам себе, — кажется, я горю в аду.

Из зеркала на него глядело помятое, изможденное, бородатое лицо, на вид лет пятидесяти.

Кругом любви я вижу чары, — странные, бессвязные словосочетания носились в его мозгу словно влекомые ветром мокрые бумажные тенты.

Он медленно пересек гостиную, отворил входную дверь и, увидев женское тело, лежащее поперек дорожки, тяжело и замысловато выругался. Раздраженным жестом он попытался подтянуть ремень на штанах, но пульсация в голове стала невыносимой, и руки его бессильно повисли.

Наплевать, — решил он. — Я болен.

Небо было мертвенно-серым.

Прекрасно! — подумал он. — Опять целый день взаперти в этой вонючей крысиной яме. — Он зло захлопнул за собой дверь и застонал: шум удара

отозвался в мозгу болезненной волной, — а снаружи на цементном крыльце брызнули звоном остатки зеркала, выпавшие из рамы.

Прекрасно! — он поджал губы так, что они побелели.

От двух чашек горячего кофе ему стало только хуже: желудок отказывался принимать его. Отставив чашку, он отправился в гостиную. Все к дьяволу, — подумал он, — лучше напьюсь.

Но ликер показался ему скипидаром. Со звериным рыком он швырнул в стену бокал и замер, глядя, как ликер стекает по стене на ковер. Дьявол, так я останусь без бокалов, — подумал он, что-то внутри у него сорвалось, и его стали душить рыдания. Он осел в кресло и сидел, медленно мотая головой из стороны в сторону. Все пропало. Они победили его; эти чертовы ублюдки победили.

И снова это неотступное чувство: ему казалось, что он раздувается, заполняя весь дом, а дом сжимается, и вот ему уже нет места, его выпирает в окна, в двери, летят стекла, рушатся стены, трещит дерево и сыплется штукатурка... Руки его начали трястись — он вскочил и бросился на улицу.

На лужайке перед крыльцом, отвернувшись от своего дома, который стал ему ненавистен, он отдыхался, наполняя легкие мягкой утренней свежестью. Впрочем, он ненавидел и соседние дома. И следующие за ними. Он ненавидел заборы, тротуары и мостовую, — и вообще всё, всё на Симаррон-стрит.

Ощущение ненависти крепло, и он внезапно понял, что сегодня надо выбраться отсюда — облачно ли, или нет, но ему надо выбраться.

Он запер входную дверь, отпер гараж.

Гараж можно не запираť, я скоро вернусь, — подумал он. — Просто прокачусь и вернусь.

Он быстро вырулил на проезжую часть, развернулся в сторону Комптон-бульвара и до упора выжал акселератор. Он еще не знал, куда едет. Завернув за

угол на сорока, он к концу квартала добрался до шестидесяти пяти. «Виллис» неся вперед как пришпоренный. Жестко вдавив акселератор в пол, нога Нэвилля так и застыла там.

Руки его лежали на баранке словно высеченные из льда, лицо было лицом статуи. На восьмидесяти девяти милях в час он проскочил весь бульвар; рев его «виллиса» был единственным звуком, нарушавшим великое безмолвие умершего города.

Природа в буйстве своем приемлет все, и всё ей просто и всё естественно, — так думал он, медленно поднимаясь на заросший кладбищенский пригорок.

Трава была так высока, что сгибалась от собственного веса, стержень хрустела у него под ногами. Звук его шагов соперничал лишь с пением птиц, казавшимся теперь совершенно бессмысленным.

Когда-то я считал, что птицы поют тогда, когда в этом мире все в порядке, — думал Нэвилль. — Теперь я знаю, что ошибался. Они поют оттого, что они просто слабоумные.

Шесть миль, не снимая ногу с педали, он не мог понять, куда едет. Как странно, что тело и мозг его хранили это в секрете от его разума. Он понимал лишь, что болен, подавлен и не может оставаться там, в доме, но не понимал, чего хочет, и не знал, что едет к Вирджинии.

А ехал он именно сюда, на максимальной скорости.

Оставив машину на обочине, он зашел, отворив ржавую калитку, на кладбище и теперь шел, с хрустом приминая буйно разросшуюся траву.

Когда он был здесь в последний раз? Наверное, уже прошло не меньше месяца. Он бы привез цветы, но — увы — догадался, что едет именно сюда, только у самой калитки.

Старая, отболевшая скорбь вновь охватила его, губы его дрогнули. Как он желал, чтобы и Кэтти тоже была здесь. Почему? — Почему он был так слеп, что поверил этим идиотам, установившим свои чумные порядки? О, если бы она была здесь и лежала бы рядом со своей матерью...

Не надо. Не вороши старое, — сказал он себе.

Подходя к склепу, он напрягся, заметив, что чугунная дверь чуть-чуть приоткрыта. О, нет, — мелькнуло в его сознании. Он бросился бежать по влажной траве, бессмысленно бормоча.

— Если они добрались до нее, я сожгу город, клянусь Господом, я сожгу все до основания, все превращу в пепел, если только они дотронулись до нее.

Он рванул дверь так, что она, распахнувшись, ударилась об мраморную стену, и сухое эхо удара утонуло в кладбищенской зелени.

Взгляд его, обращенный к мраморной плите внутри, нашел то, что искал: шлем лежал на месте. Напряжение отступило, можно было отдышаться. Все в порядке.

Он вошел и только тогда заметил тело в углу склепа: скрючившись, на полу лежал человек.

С воплем неудержимой ярости Роберт Нэвилль подскочил к нему, схватил железной хваткой за куртку, доволоч до двери и вышвырнул на траву. Тело перевернулось на спину, обратив к небу свой мертвенно-бледный лик.

Тяжело дыша, Роберт Нэвилль вернулся в склеп, положил руки на шлем и, закрыв глаза, замер.

— Я здесь, — прошептал он. — Я вернулся. Не забывая меня.

Он вынес сухие цветы, оставленные им в прошлый раз, и подобрал листья, которые ветер занес внутрь через открытую дверь. Сел рядом со шлемом и приложил лоб к холодному металлу.

Тишина ласково приняла его.

Если бы я мог сейчас умереть, — думал он, — тихо и благородно, без страха, без крика. И быть рядом с ней. О, если бы я мог поверить, что окажусь рядом с ней.

Его пальцы медленно сжались, и голова упала на грудь.

Вирджиния, возьми меня к себе.

Слеза словно кристалл упала на руку, но рука осталась неподвижна...

Он не мог бы сказать, сколько времени провел здесь, отдавшись потоку чувств. Но вот скорбь притупилась, и постепенно прошла едкая горечь утраты. Страшнейшее проклятие схимника, — подумал он, — привыкнуть к своим веригам.

Он поднялся и выпрямился. Жив, — подумал он, ощущая бессмысленное биение сердца, мерное течение крови, упругость мышц и сухожилий, твердь костей, — все теперь никому не нужное, но все еще живое.

Еще мгновение — он отдал шлему свой прощальный взгляд, со вздохом отвернулся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь, словно оберегая ее сон.

На выходе он чуть не споткнулся о тело, о котором совсем было забыл. Выругавшись себе под нос, обошел его, но вдруг остановился и обернулся.

Что это?

Не веря своим глазам, он внимательно осмотрел труп. Теперь это был действительно труп. Но — не может быть! Так быстро произошла эта перемена — теперь казалось, что тело пролежало уже несколько дней: и вид, и запах был соответствующий.

Его мозг включился, осваивая еще неясное озарение. Что-то подействовало на вампира — да еще как, — что-то смертельно эффективное. Сердце не было тронуто, никакого чеснока поблизости, и все же...

Ответ напрашивался сам собой. Конечно же — дневной свет.

Игла самоуничтожения болезненно пронзила его: целых пять месяцев знать, что они никогда не выйдут днем, и не сделать из этого никаких выводов. Он закрыл глаза, пораженный собственной глупостью.

Солнечный свет: видимый, инфракрасный, ультрафиолет. Только ли это? И как, почему? Проклятье, почему он ничего не знает о воздействии солнечного света на организм?

И кроме того: этот человек был одним из окончательных вампиров — живой труп. Был бы тот же эффект, если засветить одного из тех, кто еще жив?

Похоже, это был первый прорыв за прошедшие месяцы, и он бросился бегом к своему «виллису».

Захлопнув за собой дверцу, он задумался, не прихватить ли с собой этого дохлятика — не привлечет ли он других, и не нападут ли они на склеп. Конечно, шлем они не тронут: вокруг разложен чеснок. Кроме того, кровь его теперь уже мертва, и...

Так разум его подкрадывался все ближе и ближе к истине. Конечно же: дневной свет поражает их кровь.

Быть может, и остальное связано с кровью? Чеснок, крест, зеркало, дневной свет, закапывание в землю? Не очень понятно, и все же...

Надо читать, искать, исследовать — много, много работы. Как раз то, что ему нужно. Он много раз уже планировал это, но неизменно откладывал и забывал. Теперь его осенила новая идея — быть может, ее-то и не хватало — и планы его снова ожили. Настала пора действовать.

Он завел мотор, занял среднюю полосу и устремился в сторону города, намереваясь тормознуть у первого же дома.

Добежав по тропке до входной двери, он подергал, но безуспешно. Дверь была крепко заперта. Нетерпеливо чертыхнувшись, он бросился к следующему дому. Здесь дверь оказалась открыта, и, преодолев темную

гостиную, он, перепрыгивая ступеньки, поднялся по ковровой лестнице в спальню.

Здесь он обнаружил женщину. Без тени сомнения он сбросил с нее покрывало, ухватил за запястья и потащил в холл. Тело ударилось об пол, и женщина застонала. Пока он тащил тело по лестнице, тихое эхо ударов по ступенькам хрипом отдавалось в ее груди.

В гостиной тело вдруг ожило.

Ее руки сомкнулись на его запястьях, она начала выкручиваться и извиваться. Глаза ее оставались закрыты, но, пытаясь вырваться, она тихо всхлипывала и бормотала. Не в силах преодолеть его хватку, она вонзила в него свои длинные темные ногти. Вскрикнув, он отдернул руки и остаток пути волок ее за волосы. Обычно совесть мучила его, раз за разом повторяя, что эти люди, если не считать некоторых отклонений, такие же, как и он сам, но теперь экспериментаторский раж охватил его и все колебания отошли на второй план.

И все же он содрогнулся, услышав чудовищный крик ужаса, вырвавшийся у нее, когда он выбросил ее на тротуар. Нечеловечески скалясь, она беспомощно извивалась, суча руками и ногами. Роберт Нэвилль терпеливо наблюдал.

Кадык его задвигался, ощущение жестокости происходящего, смертельной жестокости, не оставляло его. Губы его дрогнули, но он продолжал наблюдать. Да, она страдает, — убеждал он себя, — но она из них и с удовольствием при случае прикончила бы меня. Только так надо к этому относиться, только так. Стиснув зубы, он стоял, наблюдая, и ждал, когда она умрет.

Через несколько минут она затихла и замерла, раскинув руки словно белые цветы. Роберт Нэвилль нагнулся пощупать пульс. Никаких признаков. Тело уже остывало.

Довольно улыбаясь, он выпрямился. Значит, он был прав. Ему больше не нужны колышки. Наконец-то лучший способ найден.

Он вновь пришпорил «виллис» и тормознул только возле магазинов, чтобы слегка подкрепиться. Чувство удовлетворения переросло в нем в самодовольство.

Но вдруг дыхание перехватило. Но почему он решил, что женщина умерла? Как он мог это утверждать, не дождавшись захода солнца? Безотчетный гнев охватил его. Какого черта он задает вопросы, после которых все ответы сходят на нет? Так он размышлял, допивая банку томатного сока, раздобытую в супермаркете, рядом с которым он остановился.

Как же теперь проверить? Не стоять же над ней, пока не стемнеет.

Забери ее с собой, дурень.

Он закрыл глаза и вновь почувствовал себя идиотом. Очевидное всякий раз ускользало от него. Теперь надо вернуться и найти ее, а он даже не запомнил этот дом, из которого ее выволок.

Он завел мотор и, выезжая на автостраду, взглянул на часы. Три часа. Времени еще более чем достаточно, чтобы успеть домой прежде, чем они соберутся. Он немного прибавил газу, подгоняя свой безотказный «виллис».

Примерно за полчаса он отыскал этот дом и женщину, лежавшую на тротуаре в той же позе. Надев рукавицы и распахнув тыльную дверь «виллиса», Нэвилль, подходя к женщине, обратил внимание на ее фигуру, — и тут же тормознул себя.

Нет, ради Бога, не надо. Остановись.

Он отволок тело к машине и впихнул его в кузов. Захлопнул дверцу и снял рукавицы. Взглянув на часы, он заметил время: три часа. Времени вполне достаточно, чтобы...

Он вздрогнул и поднес часы к уху. Сердце его подпрыгнуло и замерло.

Часы стояли.

ГЛАВА 5

Дрожащей рукой Роберт Нэвилль повернул ключ зажигания и, намертво вцепившись в баранку, с крутого разворота взял курс на Гардену.

Как нелепо и глупо! По крайней мере час ушел на то, чтобы добраться до кладбища. Наверное, несколько часов он провел в склепе. Затем эта женщина. Зашел в лавку, пил томатный сок; возвращался, чтобы подобрать тело. Расход бензина показывал, что накатал он сегодня немало.

Сколько же теперь времени?

Кретин! — Страх холодил вены при мысли о том, что дома его встретят у дверей — они все.

О, Боже! И дверь гаража осталась незапертой. А там бензин, инструменты... — И генератор!!!

С тяжелым вздохом он вдавил педаль газа в пол, заставляя «виллис» вибрировать, набирая скорость. Стрелка спидометра прыгнула, затем медленно пополнила, преодолела отметку шестидесяти пяти, потом семидесяти, потом семидесяти пяти миль в час.

А что, если они уже ждут его? Как тогда попасть в дом?

Он заставил себя успокоиться.

Будь внимателен. Главное сейчас — не разбиться по дороге. Как-нибудь войдешь. Войдешь, не беспокойся, — убеждал он себя, хотя еще не мог понять, как.

Нервным жестом он взъерошил себе волосы.

Это здорово, просто здорово, — комментировал он про себя. — Столько труда и стараний — и зря?! Столько бороться за свое существование — только ради того, чтобы однажды не вернуться вовремя?!

Заткнись! — оборвал он себя. — Забыть завести часы. Трудно даже придумать наказание... Ничего, ОНИ — придумают. У них, должно быть, уже все готово к встрече.

Внезапно он почувствовал дикий голод, граничащий со слабостью, и сообразил, что голоден уже давно и банка мясных консервов, которую он вскрыл вместе с томатным соком, словно канула в никуда.

Мчась по пустынным улицам, он вглядывался в прилегающие дома, отыскивая взглядом какое-нибудь движение. Похоже, наступали сумерки, но это впечатление могло быть обманчиво. Не может быть так поздно, не может быть.

Едва проскочив угол Вестерн и Комптона, он увидел между домов с криком выбегающего ему навстречу человека. Человек мелькнул и остался позади, но словно холодная рука сжала сердце этим криком, повисшим в воздухе.

«Виллис» шел на пределе. Роберт Нэвилль вдруг представил себе, что сейчас спустит шина, его занесет и, перебросив через поребрик, разобьет о стену ближайшего дома. Уголки его губ дрогнули, и ему стоило усилия вновь овладеть собой. Руки на руле занемели.

На углу Симаррон пришлось сбавить скорость. Боковым зрением он заметил выбежавшего из дома человека, устремившегося вслед за машиной. Вписавшись в поворот так, что покрышки визжали и звенели, он не удержал возгласа: все они уже ждали его перед домом.

Ужас безысходности сковал его разум. Он не хотел смерти. Думать и размышлять о ней — да. Но хотеть — нет. А такой — ни за что!

Бледные лица обратились в его сторону, на шум мотора, несколько штук выбежали из гаража. Он стиснул зубы в бессильной злобе. Какой бессмысленный, глупый конец!

Они побежали к «виллису», улица оказалась перекрыта. Он вдруг понял, что останавливаться нельзя. Он нажал на акселератор, и в тот же момент машина врезалась в толпу. Трое отлетели в сторону, словно кегли, и «виллис» вздрогнул. От их вопля кровь стыла

в жилах, и в сознании отпечатались промелькнувшие искаженные криком белые лица.

Оставшись, позади, толпа бросилась в погоню. В голове его возник план, и он сбросил скорость до тридцати, затем двадцати миль в час.

Обернувшись чтобы видеть их, он наблюдал, как они приближаются. Бледно-серые лица, темный провал глаз, взгляды прикованы к машине, к *нему*.

Внезапный вопль рядом с машиной заставил его вздрогнуть. Обернувшись, он увидел перед собой безумный лик Бена Кортмана.

Его нога инстинктивно прижала педаль газа к полу, но вторая соскочила со сцепления, и джип, словно сбрасывая ездока, прыгнул вперед, дернулся и заглох.

Лоб Нэвилля мгновенно покрылся испариной, он, пригнувшись, потянулся к стартеру, но когти Бена Кортмана уже вцепилась в его плечо. Выругавшись, он отбил захват, — рука была мертвенно-бледной и холодной..

— Нэвилль! Нэвилль!

Бен Кортман вновь нацелился своими холодными когтистыми лапами — но Нэвилль снова отбил, резко пихнул его и потянулся к стартеру. Отставшая толпа преследователей с возбужденными криками приближалась.

Мотор чихнул и завелся, Нэвилль стряхнул с себя вновь навалившегося Бена Кортмана, и длинные ногти располосовали ему скулу.

— Нэвилль!

Вложив в удар всю свою боль, он ударил Кортмана в лицо. Тяжелый кулак Нэвилля опрокинул Бена Кортмана навзничь, «виллис», набирая скорость, рванулся вперед, и в этот момент подоспели остальные. Одному из них удалось повиснуть сзади, Роберт Нэвилль поймал взгляд его безумных глаз и, не давая ему опомниться, круто тормознул, так что его вынесло на обочину, человек не удержался, сорвался, пробе-

жал несколько шагов, выставив руки, и с размаху ударился об стену дома.

Кровь стучала в висках, сердце, похоже, хотело вырваться из груди, дыхание сбилось. Все тело онемело, словно от холода. Вытерев со щеки кровь, он отметил, что боли не было. Заворачивая за угол, еще раз оглянулся: преследователи поотстали. Впереди никого не было. Пролетев небольшой квартал, он снова свернул направо, на Хаас-стрит. А что, если они успеют перекрыть путь? Если догадаются срезать через дворы?

Он сбавил скорость — и вот они появились сзади из-за угла, с воем, словно стая волков.

Оставалась последняя надежда — что все они были в этой стае и никто из них еще не разгадал его незамысловатый план.

Выжав полный газ, он пролетел квартал и на пятидесяти милях в час вписался в поворот; вылетел на Симаррон-стрит, еще полквартала — и свернул к дому.

Дыхание перехватило. На лужайке перед домом никого не было. Значит, еще оставался шанс.

К чертям машину — нет времени, — подумал он — хотя дверь гаража была открыта.

Резко тормознув, он распахнул дверцу, выскочил и, огибая машину, услышал приближение ревущей лавины: они были уже за углом.

Попытаться запереть гараж, — подумал он. — Иначе они разобьют генератор. Вряд ли они уже успели до него добраться.

Несколько шагов к гаражу...

— Нэвилль!

Он вздрогнул, заметив Бена Кортмана, прятавшегося в тени гаража, но уже не смог остановиться и столкнулся с ним лицом к лицу. Кортман чуть не сбил его с ног и крепко вцепился в горло, дохнув ему прямо в лицо зловонным гнилостным духом.

Сцепившись, они упали наземь и покатались по дорожке. Хищные белые клыки нацелились в горло Нэвилля. Резко высвободив правый кулак, Нэвилль ударил Кортмана в кадык, и тот словно захлебнулся. На Симаррон уже слышны были крики: толпа показала из-за угла.

Не давая Кортману опомниться, Нэвилль схватил его за волосы, длинные и сальные, и с разбегу, разогнав его по дорожке, ударил головой в борт «виллиса». Глянув на улицу, он понял: гараж — не успеть, — и бросился на крыльцо.

Резко остановившись — ключи!! — он набрал в легкие воздуха и, едва контролируя свои действия, метнулся к машине. Навстречу ему с гортанным рычанием поднимался Бен Кортман. Ударом колена он разбил Кортману лицо, и тот снова рухнул на землю.

Вскочив в машину, он выдернул связку ключей, болтавшуюся в замке зажигания.

Первый из преследователей был уже рядом, Нэвилль высунул из двери ногу, тот споткнулся и грохнулся наземь.

Роберт Нэвилль выпрыгнул из машины и в несколько прыжков оказался на крыльце.

Пока он выбирал ключ, еще один взбежал по ступенькам и сшиб Нэвилля с ног, прижав к стене, нацелившись клыками прямо в горло. Нэвилль снова почувствовал приторный запах крови. С разворота ударив коленом в пах, Нэвилль, прислонившись к стене, ногой швырнул сложившееся пополам тело вниз по ступенькам, сбив с ног еще одного.

Обернувшись, он отпер дверь, приоткрыл и проскользнул вовнутрь. Закрывать за собой дверь он не успел, вслед ему просунулась рука. Он придавил дверь так, что хрустнули кости, выпихнул руку, захлопнул дверь и наконец заложил засов. Руки его тряслись.

Он медленно осел вдоль стены и распластался на полу. Лежа на спине в темной прихожей, он тяжело дышал, раскинув руки и ноги. За дверью кричала,

улюлюкала, выла, билась в дверь толпа, в бессильном бешенстве скандируя его имя. Они волокли к дому камни, кирпичи, швыряли их в стены, оскорбляли и поносили его. Он лежал, слушая их вопли, слушая стук камней, слушая удары своего сердца.

Немного погодя он перебрался к бару и налил себе виски, в темноте пролив половину на пол. Забросив в себя то, что попало в бокал, он стоял, держась за бар, не в силах совладать с дрожью в коленях, с дикой гримасой на лице. Спазм сковывал гортань, губы дрожали.

Тепло ликера медленно растекалось по телу. Дыхание стало успокаиваться, конвульсивные всхлипывания отступили.

Услышав снаружи громкий шум, он стронулся с места и подбежал к глазку.

Выглянув, он заскрежетал зубами. «Виллис» был опрокинут набок. Они крушили стекла камнями, открыли капот, удар за ударом разбивали двигатель, сокрушали корпус. Наблюдая этот безумный шабаш, он бормотал бессвязные ругательства, руки его сами сжались в кулаки и побелели.

Встрепенувшись, он дернулся к выключателю и попытался включить свет. Электричества не было. Со стоном он побегал в кухню. Холодильник не работал.

Перебегая из одной темной комнаты в другую, он понял, что дом его с этого мгновенья мертв. Света нет. Морозильник не работает. Все запасы еды пропадут.

Бешенство овладело им. Хватит!!!

Ослепленный злобой, он дрожащими руками вышвыривал из платяного шкафа белье, пока не нащупал на дне ящика заряженные пистолеты.

Пробежав через гостиную, он одним ударом вышиб засов и, прежде чем тот упал на пол, повернул замок. Толпа снаружи заголосила.

Я выхожу к вам, ублюдки, — воплем отчаяния звучало в его мозгу.

Распахнув дверь, он ударом в лицо сшиб одного, стоявшего на крыльце, и тот покатился по ступенькам. Две женщины в грязных, рваных платьях двинулись в его сторону, вытянув вперед белые руки, готовые схватить его. Он выстрелил, один раз, другой, их тела вздрогнули. Он отшвырнул их в сторону и с воплем остервенения на обескровленных губах, оскаленных безумием, начал стрелять в толпу.

Когда кончились патроны, он, стоя на крыльце почти без сознания, продолжал и продолжал наносить удары. Рассудок не выдерживал: те самые, что были им только что застрелены, снова нападали. У него вырвали из рук пистолеты, он дрался без разбора локтями и кулаками, коленями и головой, бил их своими тяжелыми ботинками.

Только глубокая боль, когда ему распороли плечо, вернула его к действительности, и он осознал всю бессмысленность и нелепость своей истерической вылазки. Отшвырнув еще двоих женщин, он стал отступать к двери. Сзади его схватили за горло. Оторвав от себя запястья душившего, он пригнулся, перебросил его через себя в толпу и отступил, оказавшись в дверях.

Ухватившись за косяк, он ударом обеих ног отбросил двоих, готовых броситься на него, и те отлетели назад, ломая кустарник. Прежде чем они успели что-либо сделать, дверь перед самым их носом хлопнулась.

Заперев дверь и заложив тяжелый засов, Роберт Нэвилль стоял, слушая крики вампиров. Холод и мрак царили в его доме. Он стоял, держась за стену, и мерно колотился лбом об холодный цемент. Слезы катились по его щекам. В кровоточащих руках пульсировала боль.

Все пропало. Все пропало.

— Вирджиния, — всхлипывал он, словно испуганный, потерявшийся ребенок. — Вирджиния. *Вирджиния.*

ЧАСТЬ II

март 1976

ГЛАВА 6

И вот его дом наконец снова ожил.

Даже более того: с тех пор как он потратил три дня и звукоизолировал стены, они могли там вопить и выть сколько угодно, и не было больше нужды слушать их вопли. Наибольшее удовольствие ему доставляло, конечно, молчание Бена Кортмана — по крайней мере его не было слышно.

Все это требовало труда и времени. В первую очередь пришлось раздобыть новую машину вместо той, что они уничтожили. Это оказалось не так просто, как казалось поначалу.

Надо было добраться до Санта-Моники — там находился единственный в округе магазин «Виллис». Джипы «виллис» были единственной маркой, с которой Роберт Нэвилль когда-либо имел дело, и в сложившейся ситуации вряд ли стоило экспериментировать.

Добраться пешком до Санта-Моники было явно нереально, так что оставалось воспользоваться одной из машин, что можно было найти неподалеку на стоянках. Но большинство из них по той или иной причине были непригодны: севшие батареи, засоренный карбюратор, отсутствие бензина, продавленные покрышки. В конце концов в гараже примерно в миле от дома одна из них завелась, и он тут же отправился

в Санта-Монику на поиски джипа. Там он подобрал себе то, что хотел. Сменив аккумулятор, заправив бак бензином, он закатил в кузов еще две полные бочки и отправился домой. Вернулся он примерно за час до сумерек, — действовал теперь только наверняка.

К счастью, генератор остался цел. Похоже, что вампиры не осознали его значения и, после нескольких ударов дубиной, которую здесь же и бросили, оставили его в покое, и за это Роберт Нэвилль был им благодарен. Поломки были невелики, и он исправил их наутро после схватки, так что еду удалось уберечь от порчи. Это было немаловажно, поскольку вряд ли в городе еще где-нибудь сохранилась доброкачественная пища: электричества не было слишком давно.

Что касается остального, пришлось немало повозиться, выправляя металлическую обшивку гаража, выметая из гаража осколки бутылей, ламп, розеток, паяльников и предохранителей, куски проводов и припоя, изувеченные автомобильные запчасти. Среди всего этого был рассыпан ящик зерна, — когда и откуда он там взялся, Нэвилль не смог даже вспомнить.

Стиральная машина была уничтожена полностью — пришлось ее заменить, это как раз было несложно. Труднее всего было избавиться от бензина, который они вылили из бочек. Должно быть, они устроили соревнования по расплескиванию бензина, — тоскливо думал он, собирая бензин половой тряпкой в ведро. Во всяком случае, здесь они нашли себе отдушину.

В доме он подправил выкрошившуюся штукатурку и, в качестве последнего штриха, чтобы сменить обстановку, заменил картину на стене, заклеив ее новой.

Однажды начав работу, он почти всегда получал от нее удовольствие. Теперь же работа давала ему возможность погрузиться, раствориться, дать выход бурлящей в нем безудержной энергии, она нарушала унылое однообразие будней: транспортировку тел,

внешний ремонт дома после налетов, развешивание чеснока.

Пил он теперь весьма умеренно. Почти весь день ему удавалось воздерживаться, лишь вечером он позволял себе выпить, — но не много, не до бесчувствия, а, скорее, в качестве профилактики, для расслабления, — пропустить стаканчик на ночь. У него появился аппетит, исчез маленький животик, и он набрал около четырех фунтов. Теперь, утомившись за день, он крепко спал по ночам, без снов.

Однажды ему пришла мысль переселиться в какой-нибудь шикарный отель. Но, размышляя в течение дня о том, что потребуется для налаживания жизни, он понял, что накрепко связан с этим домом.

Сидя в гостиной и слушая «Jupiter simphony» Моцарта, он размышлял, где и как, с чего ему начать свои исследования.

Скудный набор достоверных фактов, некоторые детали, уже известные ему, маячками обозначали область его интересов. Но где искать ответы — пока было абсолютно неясно. Возможно, он чего-то не замечал, что-то не так воспринимал или не так оценивал. Возможно, что-то очевидное до сих пор не привлекло его внимания и не вошло в общую картину, и потому картина не была цельной. Чего-то не хватало.

Но чего?

Он недвижно сидел в кресле — запотевший бокал в правой руке — и пристально рассматривал фреску.

Теперь это был канадский пейзаж: дремучий северный лес, окутанный таинством зеленых полутеней, надменный и бездвижный. Гнетущее спокойствие дикой природы. Вглядываясь в ее безмолвные темно-зеленые недра, он размышлял.

Вернуться назад. Возможно, ответ где-то там, в одном из запечатанных родников его памяти. При-

дется вернуться, — сказал он себе. Придется вернуться, — приказал он своему сердцу.

Вывернуть себя наизнанку и вырвать свое сердце — вот что означало вернуться.

В ту ночь снова бушевала пыльная буря. Сильный порывистый ветер омывал дом песчаными струями, проникал в стены через поры и трещины, и все в доме на толщину волоса было покрыто слоем тонкой песчаной пыли. Пыль висела в воздухе, оседала на кровать, оседала в волосах и на веках, оседала на руках и на губах, забивая поры. Песок был под ногтями, скрипел на зубах, пропитывал одежду.

Проснувшись среди ночи, он лежал, вслушиваясь, пытаюсь отделить от прочих звуков затрудненное дыхание Вирджинии. Но, кроме рева ветра и дробного шума скребущегося за стеной шторма, ничего не слышал. На мгновение, то ли наяву, то ли во сне, ему почудилось, что его дом, сотрясаясь, катится между огромными жерновами, которые вот-вот сотрут его в порошок...

Он так и не смог привыкнуть к пыльным бурям. От непрерывного свиста ветра и вибрирующего визга скребущегося в окна песка у него начинали болеть зубы. Эти бури были непредсказуемы, к ним нельзя было подготовиться и нельзя было привыкнуть. И каждый раз его ждала бессонная ночь, он ворочался в постели до утра и отправлялся на завод измученный, разбитый и нервный.

Теперь к этому добавлялась тревога за Вирджинию.

Около четырех часов тонкая пелена дремотного сна отступила, и он проснулся, ощущая, что буря закончилась. Его разбудила тишина, но в ушах словно продолжал шуметь песок.

Он слегка приподнялся на локте, пытаюсь расправить сбившуюся простыню, и заметил, что Вирджиния

не спит. Она лежала на спине, недвижно уставившись в потолок.

— Что-то случилось? — вяло пробормотал он.

Она не ответила.

— Лапушка??

Она медленно перевела взгляд.

— Ничего, — сказала она. — Спи.

— Как ты себя чувствуешь?

— Все так же.

— О-о.

Еще мгновение он лежал, внимательно вглядываясь в ее лицо.

— Ладно, — сказал он, поворачиваясь на другой бок, и закрыл глаза.

Будильник зазвонил в шесть тридцать. Обычно его выключала Вирджиния, но в этот раз ему пришлось перескочить через нее и сделать это самому. Поза и взгляд ее оставались прежними, без движения.

— Что с тобой? — с беспокойством спросил он.

Она взглянула на него и покачала головой.

— Не знаю, — сказала она. — Я просто не могу уснуть.

— Почему?

Словно не решаясь сказать, она прижалась щекой к подушке.

— Ты, наверное, еще не окрепла? — спросил он.

Она попыталась сесть, но не смогла.

— Не надо вставать, лап, — сказал он. — Не напрягайся.

Он положил руку ей на лоб.

— Температуры у тебя нет, — сказал он.

— Я не чувствую себя больной, — сказала она. — Я... словно устала.

— Ты выглядишь бледной.

— Я знаю: я похожа на привидение.

— Не вставай, — сказал он.

Но она была уже на ногах.

— Не надо меня баловать, — сказала она. — Иди одевайся, со мной будет все в порядке.

— Лапушка, не вставай, если тебе нездоровится.

Она погладила его руки и улыбнулась.

— Все будет хорошо, — сказала она. — Собирайся.

Бреясь, он услышал за спиной шарканье шлепанцев, приоткрыл дверь ванной и посмотрел ей вслед. Она шла через гостиную, завернувшись в халат, медленно, слегка покачиваясь. Он недовольно покачал головой.

Сегодня ей надо еще отлежаться, — подумал он, добриваясь.

Умывальник был серым от пыли. Этот песчаный абразив был вездесущ. Над кроватью Кэтти пришлось натянуть полог, чтобы пыль не летела ей в лицо. Один край полога он прибил к стене, над кроватью, а с другой стороны прибил к кровати две стойки, так что получился односкатный навес, немного свисающий по краям.

Как следует не побрившись, потому что в пене оказался песок, он ополоснул лицо, достал из стенового шкафа чистое полотенце и насухо вытерся.

По дороге в спальню он заглянул в комнату Кэтти.

Она все еще спала, светлая головка покоилась на подушке, щеки розовели от крепкого сна. Он провел пальцем по крыше полога — палец стал серым от пыли. Озабоченно покачав головой, он пошел одеваться.

— Хоть бы кончились эти проклятые бури, — говорил он через десять минут, выходя на кухню. — Я абсолютно уверен...

Он на мгновение застыл. Обычно он заставлял ее у плиты: она жарила яичницу или тосты, пирожки или бутерброды, и готовила кофе. Сегодня она сидела у стола. На плите фильтровался кофе, но больше ничего не готовилось.

— Радость моя, если ты неважно себя чувствуешь, тебе было бы лучше пойти в постель, — сказал он. — Я сам займусь завтраком.

— Ничего, ничего, — сказала она, — я просто присела отдохнуть. Извини. Сейчас встану и поджарю яичницу.

— Не надо, сиди, — сказал он. — Я и сам в состоянии все сделать.

Он подошел к холодильнику и раскрыл дверцу.

— Хотела бы я знать, что это такое происходит, — сказала она. — В нашем квартале с половиной творится то же самое. И ты говоришь, что на заводе осталось меньше половины.

— Может быть, вирус, — предположил он.

Она покачала головой.

— Не знаю.

— Когда вокруг все время бури, комар и все чем-то заболевают, жизнь быстро становится мучением, — сказал он, наливая себе из бутылки апельсиновый сок. — И разговорами о чертовщине.

Заглянув в бокал, он выудил из апельсинового сока черное тельце.

— Дьявол! Чего мне никогда не понять, — так это как они забираются в холодильник.

— Мне тоже, Боб.

— Тебе налить сока?

— Нет.

— Тебе бы полезно.

— Спасибо, моя радость, — сказала она, делая попытку улыбнуться.

Он отставил бутылку и сел напротив нее со стаканом сока.

— У тебя что-нибудь болит? — спросил он. — Голова, что-нибудь еще?

Она медленно покачала головой.

— Хотела бы я действительно знать, в чем дело, — сказала она.

— Вызови доктора Буша. Сегодня. Обязательно.

— Хорошо, — сказала она, собираясь встать.

Он взял ее руки в свои.

— Нет, радость моя, посиди здесь, — сказал он.

— Но, в самом деле, нет никакой причины... Не знаю, что происходит, — сердито сказала Вирджиния.

Она всегда так реагировала, сколько он знал ее. Когда ей нездоровилось, это доводило ее, слабость — раздражала. Всякое недомогание она воспринимала как личное оскорбление.

— Пойдем, — сказал он, поднимаясь, — я провожу тебя в постель.

— Не надо, оставь меня здесь, я просто посижу с тобой. А прилягу, когда Кэтти уйдет в школу.

— Хорошо, может, ты съешь чего-нибудь?

— Нет.

— А как насчет кофе?

Она покачала головой.

— Но если ты не будешь есть, ты *действительно* заболеешь, — сказал он.

— Я просто не голодна.

Он допил сок и встал к плите поджарить себе парочку яиц. Разбив об край, он вылил их на горячую сковороду, где уже шкворчал жирный кусок бекона. Взяв из шкафа хлеб, он направился к столу.

Давай сюда, — сказала Вирджиния. — Я суну его в тостер, а ты следи за своим... О, Господи!

— Что такое?

Она слабо помахала в воздухе рукой.

— Комар, — сказала она, поморщившись.

Он подкрался и, изготавившись, прихлопнул комара между ладонями.

— Комары, — сказала она. — Мухи и песчаные блохи.

— Наступает эра насекомых.

— Ничего хорошего, — отозвалась она. — Они разносят инфекцию. Надо бы еще натянуть сетку вокруг Кэтти.

— Знаю, знаю, — сказал он, возвращаясь к плите и покачивая сковородку так, что кипящий жир растекался поверх белка. — Все собираюсь этим заняться.

— И аэрозоль тот, похоже, тоже не действует, — сказала Вирджиния.

— Совсем не действует?.. А мне сказали, что это один из лучших.

Он стряхнул яичницу на тарелку.

— Ты в самом деле не хочешь кофе?

— Нет, спасибо.

Она протянула ему запеченный хлебец с маслом.

— Молись, чтобы на нас еще не обрушилась какая-нибудь новая порода супержуков, — сказал он. — Помнишь это нашествие гигантских кузнечиков в Колорадо? Говорят, там было что-то невиданное.

Она согласно кивнула.

— Может, эти насекомые.. Как сказать? Мутируют.

— Что это значит?

— Это значит.. Видоизменяются. Внезапно. Перескакивая десятки, сотни ступеней эволюции. Они иногда развивают при этом такие свойства, которые они, может, никогда бы и не приобрели, если бы не..

Он умолк.

— Если бы не эти бомбежки?

— Может быть, — сказал он. — Похоже, что песчаные бури — это от них. Может быть, и многое другое.

Она тяжело вздохнула.

— А говорят, что мы выиграли эту войну.

— Ее никто не выиграл.

— Комары выиграли.

Он едва заметно улыбнулся.

— Похоже, что они.

Некоторое время они сидели молча, звяканье его вилки да стук чашки о блюдце нарушали утреннюю кухонную тишину.

— Ты заходил сегодня к Кэтти? — спросила она.

— Только что заглянул. Она прекрасно выглядит.

— Хорошо.

Она изучающе посмотрела на него.

— Я все думаю, Боб, — сказала она, — может быть, отправить ее на восток, к твоей матери, пока я не поправлюсь. Это ведь может оказаться заразно.

— Можно, — с сомнением отозвался он. — Но если это заразно, то там, где живет моя мать, вряд ли будет безопаснее.

— Ты так думаешь? — она выглядела озабоченной. Он пожал плечами.

— Не знаю, лапа. По-моему, ей здесь вполне безопасно. Если обстановка вокруг будет ухудшаться, мы просто не пустим ее в школу.

Она хотела что-то сказать, но остановилась.

— Хорошо.

Он посмотрел на часы.

— Мне бы надо поторапливаться.

Она кивнула, и он быстро доел остатки завтрака. Пока он осушал чашку кофе, она спросила его про вчерашнюю газету.

— В спальне, — ответил он.

— Есть что-нибудь новенькое?

— Ничего. Все то же самое. Так по всей стране, то здесь, то там. Микроба они пока обнаружить не смогли.

Она прикусила нижнюю губу.

— И никто не знает, что это?

— Сомневаюсь. Если бы знали — если бы хоть кто-нибудь знал — они бы непременно сообщили.

— Не может этого быть — чтобы никто не имел понятия...

— Понятие у каждого свое. Да что с того толку.

— Но что-то они говорят?

Он пожал плечами.

— Все бактериологическое оружие находится под контролем...

— Ты не думаешь, что это?..

— Бактериологическое оружие?

— Да.

— Но война-то закончилась.

— Боб, — внезапно сказала она, — как ты думаешь, тебе надо идти на работу?

Он вымученно улыбнулся.

— А что еще делать? Нам же надо что-то есть.

— Знаю. Но...

Он через стол дотянулся до нее и почувствовал, как холодна ее рука.

— Лапушка, все будет хорошо, — сказал он.

— Ты думаешь, Кэтти надо отправлять в школу?

— Думаю, да. Пока не было заявления правительства о закрытии школ, я не вижу причины держать ее дома. Она абсолютно здорова.

— Но там, в школе — все дети...

— Я все-таки думаю, что так будет лучше, — сказал он.

Она тихо вздохнула.

— Хорошо. Пусть будет по-твоему.

— Что-нибудь еще, пока я не ушел? — спросил он.

Она покачала головой.

— Сегодня не выходи из дома, — сказал он. — И ляг в постель.

— Ладно, — ответила она, — как только отправлю Кэтти.

Он погладил ее по руке. На улице сигнализировал автомобиль. Глотнув остатки кофе, он забежал в ванную сполоснуть рот, достал из стенного шкафа пиджак и, на ходу натягивая его, поспешил к выходу.

— Пока, лапушка, — сказал он, целуя ее в щечку. — Все это того не стоит. Ну, будь.

— Пока, — сказала она. — Будь осторожен.

Он пересек лужайку, чувствуя на зубах остатки висящей в воздухе песчаной пыли; ее назойливый запах остро щекотал ноздри.

— Привет, — сказал он, садясь в машину и хлопывая за собой дверь.

— Приветствую, — отозвался Бен Кортман.

ГЛАВА 7

«Вытяжка из сока „Allium Sativum“, рода линейных, к которому относился чеснок, черемша, лук, шалот и лук-резанец. Светлая жидкость с резким запахом, содержащая несколько разновидностей аллил-сульфидов. Приблизительный состав:

вода 64,6,
белок 6,8,
жир 0,1,
карбогидраты 26,3,
клетчатка 0,8,
зольный остаток 1,4».

Именно это. Он встряхнул в кулаке розовый кожистый зубок — один из тех, что он тысячами развешивал на окнах своего дома. Уже семь месяцев он мастерил эти проклятые низанки и развешивал их, абсолютно не задумываясь над тем, почему они отпугивают вампиров. Теперь он знал, почему.

Он положил зубок на край раковины. Черемша, лук, шалот, лук-резанец. Будут ли они действовать так же, как и чеснок? Он будет выглядеть идиотом, если это окажется так: когда он искал, на десятки миль в округе не оказалось чеснока, в то время как лук рос повсюду.

Он положил зубок на плоскость тесака, раздавил его в кашу и принюхался к запаху выступившего каплями маслянистого сока.

Ну, и что же дальше? Ведь он не нашел в своих воспоминаниях ни разгадки, ни ключа к происходящему. Лишь разговоры о насекомых-переносчиках, о вирусах. Он был уверен, что дело не в этом.

Правда, из прошлого всплыло не только это: захлестнувшая его боль воспоминаний с каждым словом вонзалась в его плоть. Старые раны раскрылись и кровоточили воспоминаниями о Ней.

Остановиться! Пора было остановиться. Его кулаки сжались. Он закрыл глаза и долго безуспешно пы-

тался вернуться в настоящее. Былые ощущения ожили в нем, пробуждая тоску плоти по прошлому. Реальность поблекла и отступила на второй план. Помогло только виски — он пил, пока воспоминания не превратились в фарс, пока боль души и скорбь не растворились в алкоголе, пока не затянулась кровоточащая рана памяти.

Ладно, дьявол с ним, — сказал он себе, пытаюсь сосредоточиться, — надо что-то делать.

Он отыскал взглядом абзац, на котором остановился.

Так. Вода — не то? — спрашивал он себя. — Конечно, нет. Смешно. Вода содержится практически всюду. Тогда — белок? Нет. Жир? Нет. Карбогидраты? Клетчатка? Тоже нет. Но что тогда, что?

«Характерный запах и вкус чеснока определяются специфическим маслом, составляющим около 0.2 % веса, состоящим в основном из аллил-сульфида и аллил-изотицианата».

Может быть, это и был ответ.

И далее:

«Сернистый аллил может быть получен нагреванием горчичного масла с сернистым калием до температуры 100 °С».

С возгласом бессильной ненависти он откинулся на спинку кресла.

Где же взять это чертово горчичное масло? И сульфид калия? И какое оборудование понадобится для изготовления?

Умница, — пожурил он себя. — Ты сделал первый шаг. Но — увы — споткнулся и как следует расквасил себе физиономию.

Он с отвращением вскочил и направился к бару. Откупорив бутылку, он поймал себя на полудвижении, не наполнив бокала.

Нет, ради Господа, — он отставил бутылку, — ты же не выберешь этот путь слепца, скатывающегося к бездумному, бесплодному существованию в ожидании

старости или несчастного случая. Ты должен бороться. На карту должно быть поставлено все, в том числе и жизнь, и ты должен либо найти ответ — либо проиграть.

Часы показывали десять двадцать. Нормальное время. Он решительно направился в холл и раскрыл телефонный справочник.

Ингловуд — там было то, что ему нужно.

Через четыре часа, когда он вышел из-за лабораторного стола, шея у него болела и не разгибалась, но зато у него в руках был шприц с подкожной иглой, наполненный сернистым аллилом. Впервые с тех пор, как он остался в одиночестве, его переполняло чувство хорошо сделанного дела.

Слегка возбужденный, он сел в машину и быстро проехал помеченные им кварталы. Здесь не было вампиров. Все было вычищено. Конечно, сюда могли забрести и другие. Даже наверняка там кто-нибудь снова прятался. Но сейчас на поиски не было времени.

Остановившись у одного из домов, он оставил машину и направился напрямик в спальню. Там он обнаружил девушку. На ее губах темнела тонкая пленка засохшей крови.

Перевернув ее, Нэвилль задрал ей юбку, оголив мягкие, полные ягодицы, и впрыснул сернистый аллил. Вернув ее в прежнее положение, он отступил назад. Стоя над ней, он наблюдал и ждал около получаса.

Никакого эффекта.

Все равно, — убеждал его разум, — ведь я же развешиваю чеснок вокруг дома. И они не смеют подойти. А специфика чеснока — это чесночное масло, которое я ей ввел. Но — никакого эффекта.

Дьявол его побери, — никакого эффекта!

Он швырнул на пол шприц и, трясаясь от злости и разочарования, вышел вон. Оставалось только ехать домой.

На лужайке перед домом он успел до темноты соорудить некую деревянную конструкцию, которую всю увешал луковицами. После этого апатия окончательно охватила его, и лишь сознание массы все еще предстоящих дел удержало его в этот день от тяжелой пьянки.

Утром он вышел на лужайку взглянуть на свое сооружение.

Это напоминало ящик спичек, раздавленный трактором.

Крест. Он держал на ладони золотой крестик, червono играющий в лучах утреннего солнца. Крест отгоняет вампиров.

Почему? Как объяснить это, не скатываясь в зыбкую тряси́ну мистики и суеверий?

У него оставался только один выход.

Вытаскивая очередную женщину из ее постели, он упрямо отмахивался от вопроса, который сам же и задавал себе: интересно, почему ты экспериментируешь исключительно на женщинах? — Ерунда, — сам себе отвечал он, — просто она оказалась первой, на кого я наткнулся. — А как насчет того мужчины, в гостиную? — Ради всего святого, — пытался остудить он себя. — Успокойся. Я не собираюсь ее насиловать.

В самом деле, Нэвилль? Без скрещенных пальцев, а? И не забыл постучать по дереву?

Не обращай внимания, — сказал он себе. — Похоже, у тебя в мозгах обосновался враг. Он может быть опасен. Может привести тебя к безумию. Но пока что он просто занудный брюзга. В конце концов, мораль погибла вместе с цивилизацией. Иной мир — иная этика.

Э-э, да ты же мастер на оправдания — не так ли, Нэвилль?

Ох, заткнись, ради Бога.

И все-таки он не мог себе позволить просидеть весь вечер рядом с ней.

Крепко привязав ее к стулу, он удалился в гараж и занялся машиной. Ее черное платье было порвано, и потому ее глубокое дыхание демонстрировало слишком многое. А с глаз долой — из сердца вон... Он знал, что лжет себе, но никогда не признался бы в этом.

Вечер, смилостивившись, наконец наступил.

Он запер гараж, прошел в дом, запер входную дверь и заложил засов. Налив себе виски, он сел напротив нее.

Прямо перед ее лицом с потолка свисал крест.

В шесть тридцать ее глаза раскрылись. Ее пробуждение было внезапным, словно она проснулась с мыслью о том, что что-то надо сделать. Словно еще со вчерашнего дня перед ней стояла какая-то задача. Не было никакого перехода ото сна к действительности. Ее тело и сознание включились сразу и полностью, абсолютно цельно и ясно, готовые к действию.

Увидев перед собой крест, она, будто обжегшись, отвела взгляд, и отрывистый возглас ужаса всколыхнул ее грудь. Она изогнулась, пытаясь отстраниться.

— Почему ты боишься его? — спросил он.

После долгого молчания звук собственного голоса поразил его — в нем было что-то чудовищное.

Её взгляд внезапно остановился на нем, и он вздрогнул. Взгляд её пылал, она облизывала алые губы, и рот ее словно жил собственной жизнью. Выгибаясь на стуле, она словно пыталась приблизиться к нему. Она издавала какой-то глубокий гортанный рокот, как собака, стерегущая свою кость.

— Вот крест, — беспокойно сказал он. — Почему ты боишься его?

Она боролась с путами, руки ее шарили по бокам стула, она не проронила ни слова. Ее глубокое прерывистое дыхание ускорялось, она судорожно елозила на стуле, не отрывая от него горящего взгляда.

— Крест!!! — зло крикнул он, вскакивая и опрокидывая бокал. Виски растеклось по ковру.

Напряженной рукой он поднес крест ближе к ее глазам. Она откинулась с возгласом, в котором сквозили испуг, бессилие и ненависть, и словно обмякла.

— Смотри на него! — заорал он.

Парализованная ужасом, она тихо заскулила, взгляд забегал по комнате, зрачки дико расширились.

Он схватил ее за плечо, но тут же отдернул руку. Из рваного укуса тонкой струйкой потекла кровь.

Мышцы его напряглись, и он, не вполне контролируя себя, влепил ей пощечину, от которой у нее голова упала на плечо.

Десять минут спустя он приоткрыл входную дверь и вышвырнул ее тело наружу. Захлопнув дверь перед их носом, он остался стоять, тяжело дыша и прислушиваясь.

Сквозь звукоизоляцию слабо доносились звуки, словно стая шакалов дралась из-за объедков.

Очнувшись от оцепенения, он пошел в ванную и залил прокушенную руку спиртом, с неистовым наслаждением ощущая, как жгучая боль проникает в его плоть...

ГЛАВА 8

Нэвилль нагнулся и набрал в пригоршню немного земли. Разминая ее пальцами, растирая темные комочки в пыль, он задумался. Сколько же их спало в этой земле, когда все это началось?

Он покачал головой. Исключительно мало.

Где же таилась эта легенда и почему ожила?

Он закрыл глаза и наклонил руку. Тонкая струйка пыли потекла из его ладони. Кто знает. Если бы ему были известны случаи, когда людей хоронили заживо. Тогда можно было бы о чем-то рассуждать.

Но ему ничего подобного никогда слышать не приходилось. Это трудно понять. Так же, как и ответить на вопрос, пришедший ему в голову накануне.

Как реагировал бы на крест вампир-мусульманин?

Он рассмеялся. Его лающий смех встряхнул утреннюю тишину и перепугал его самого.

Боже мой, — подумал он, — я так давно не смеялся. Я забыл, как это делается. Этот звук больше похож на кашель простуженной борзой. Да, это я и есть, разве не так? — он подумал немного. — Да, больной, загнанный охотничий пес.

В тот день около четырех утра случилась пыльная буря. Длилась она недолго, но вновь пробудила воспоминания.

Вирджиния, Кэтти, и эти дни, переполненные ужасом...

Он осадил себя: нет. **НЕТ!** Опасный поворот. Сюда нельзя. Вернись! Это — то, что усаживает тебя с бутылкой в руке. Воспоминания. Не надо. Вернись. Прими настоящее. Прими его так, как оно есть.

Он снова поймал себя на мысли о том, почему он выбрал жизнь и не выбрал смерть.

Наверное, на то нет причины, — подумал он. — Я просто слишком упрям и туп, чтобы прекратить все это.

Итак, — он с деланным энтузиазмом хлопнул в ладоши, — продолжим. Что теперь? — Он огляделся, словно действительно собирался что-то увидеть на абсолютно пустынной Симаррон-стрит.

Ладно, — внезапно решил он, — посмотрим, как на них действует вода. Может быть, не лишено смысла.

Он закопал в землю шланг и вывел его в небольшое деревянное корыто. Вода текла из шланга в корыто,

а из корыта стекала в другой отрезок шланга, откуда уже уходила в землю.

Закончив с этой работой, он зашел в дом, взял чистое полотенце, побрился и снял с руки повязку. Рана была чистой и быстро заживала. Впрочем, это его абсолютно не заботило. Жизнь более чем убедила его в том, что к их заразе у него иммунитет.

В шесть двадцать он подошел к двери и глянул в глазок. Никого. Он потянулся, ворча на побаливающие мускулы, и пошел налить себе немного виски.

Вернувшись, он увидел Бена Кортмана, выходящего на лужайку.

— «Выходи, Нэвилль», — пробормотал Нэвилль, и Кортман послушно повторил, разразившись громким криком:

— Выходи, Нэвилль!

Нэвилль немного постоял у глазка, разглядывая Бена Кортмана.

Он не сильно изменился. Те же черные волосы. Полноватое — нет, скорее, склонное к полноте тело. Белое лицо. Правда, теперь у него росла борода. Пышные усы. Поменьше — на щеках и на подбородке, так же на шее. А ведь было время — Бен Кортман был всегда умопомрачительно выбрит. Каждый день. И когда он подбрасывал Нэвилля на своей машине до завода, от него пахло французской водой.

Так странно было стоять теперь и смотреть на Бена Кортмана — врага, осаждающего его цитадель. Ведь когда-то они разговаривали, вместе ездили на работу, обсуждали бейсбол и автомобили, спорили о политике. Потом — обменивались по поводу эпидемии, как поживают Вирджиния и Кэтти, как себя чувствует Фреда Кортман и как...

Нэвилль покачал головой. Нет смысла снова увязать в этом. Это — прошлое. Оно так же мертво, как и сам Кортман.

Он снова покачал головой.

Мир свихнулся, — подумал он. — Мертвые разгуливают вокруг, а мне хоть бы что. Как легко теперь воспринимается возвращение трупов. Как быстро мы приемлем невообразимое, если видим это раз за разом, своими глазами.

Нэвилль стоял, потягивая виски, и никак не мог вспомнить, кого напоминал ему Бен Кортман. Было такое ощущение, что Кортман похож на кого-то именно теперь, на кого при жизни он никогда бы и не подумал.

Нэвилль пожал плечами. Какая разница?

Поставив бокал на подоконник, он сходил в кухню, включил воду и вернулся. Выглянув в глазок, он увидел на лужайке еще двоих — мужчину и женщину. Между собой они не разговаривали. Они никогда не общались. Просто без устали расхаживали подобно волкам, не глядя друг на друга, обратив свои голодные глаза в сторону дома, в котором, они знали, скрывается добыча.

Кортман заметил текущую из корыта воду и с интересом подошел, разглядывая устройство. Спустя мгновение он обернулся в сторону дома, и Нэвилль заметил, что он ухмыляется.

Нэвилль напрягся.

Кортман вскочил на корыто, покачался, потом прыгнул. И снова туда — обратно.

— Издевается, сволочь!

Расшвыривая стулья, Нэвилль тяжело добежал до спальни и трясущимися руками вытащил из ящика стола пистолет.

Кортман уже почти втоптал корыто в землю, когда пуля ударила его в левое плечо. Он, шатаясь, попятился, со стоном рухнул на дорожку и стал дрыгать ногами. Нэвилль снова выстрелил. Пуля взметнула фонтанчик пыли в нескольких дюймах от извивающегося Кортмана. Кортман с ревом привстал, но третья пуля ударила его прямо в грудь.

Нэвилль, вдыхая едкий запах выстрелов, стоял и смотрел. Затем поле зрения ему закрыла какая-то женщина, которая, заслонив Кортмана, стала трясти перед ним своей юбкой.

Этого только не хватало.

Нэвилль отстранился и захлопнул дверцу глазка. Этого зрелища он не мог себе позволить. В первое же мгновение он ощутил, как из глубин его тела снова начинает подниматься чудовищный жар, рождающий бесконтрольную жажду плоти...

Через некоторое время он снова выглянул. Бен Кортман по-прежнему расхаживал и по-прежнему предлагал Нэвиллю выйти.

И вот тогда, глядя на освещенного луной Бена Кортмана, он, наконец понял, кого тот ему напоминал. Понял, прыснул в кулак, отошел от глазка и, не в силах больше сдерживаться, дико захохотал.

Боже мой — Оливер Харди! Герой короткометражных комиксов, которые он крутил на своем проекторе. Ай да Бен Кортман! Хоть и мертвый — а двойник коротышки-комедианта. Правда, не такой толстенький, — вот и вся разница. Даже усы на месте.

Оливер Харди — падает на спину, сраженный пистолетным огнем. Оливер Харди — снова и снова возвращается как ни в чем не бывало.

Зарезанный, застреленный, раздавленный машиной, расплюснутый обломками рухнувшего здания, в корабле, утопленный в море, перемолотый в мясорубке, — он обязательно вернется. Терпеливый, покорный и избитый.

Так вот кто был перед ним: Бен Кортман — слабоумный фигляр, избитый, многострадальный Оливер Харди.

О, Господи, — это же воистину смешно!

Он хохотал и не мог остановиться. Смех его был не просто смехом — это было избавление. Слезы текли по его щекам. Взрывы хохота сотрясали его так, что

он не мог удержать в руке бокал — облив себя, он расхохотался еще пуще, и бокал покатился на пол. Его всего буквально скрутило от смеха, от беспредельного, бесконтрольного восторга, вся комната дрожала от его захлебывающегося, нервического хохота. Пока смех его не перешел в рыдания...

Куда бы он ни вгонял колышек — результат был всегда одним и тем же. В живот или в плечо. В шею — всего один удар киянки. В руки или в ноги. И каждый раз — поток крови. Пульсирующий поток, липкое вишневое пятно, растекающееся поверх белой плоти. Он думал, что понимает механизм этой смерти: они теряют необходимую для жизни кровь. Смерть от потери крови.

Но потом была эта женщина. В маленьком зеленом домике с белыми ставнями. Когда он вогнал колышек, прямо на его глазах началось разложение. Это произошло так внезапно, что он отшатнулся и, держась за стену, оставил там свой завтрак.

Когда он снова нашел в себе силы взглянуть, то, что лежало на кровати, больше всего походило на смесь соли и перца. Слой этого порошка занимал примерно то самое место, где только что лежала женщина.

Тогда он видел это впервые.

Потрясенный этим зрелищем, он, покачиваясь, вышел из дома и около часа просидел в машине, пока не опустошил свою флягу. Но даже виски не изгладило впечатления. Картина стояла у него перед глазами.

А главное — с какой быстротой!

Он еще слышал эхо удара киянкой, когда она уже — растеклась? рассыпалась? Прямо на глазах.

Он вспомнил, как однажды болтал с каким-то Негром с завода, большим докой, профессионалом во всяких погребальных делах. Тот рассказывал о мав-

золеях, в которых человеческие тела хранятся в специальных вакуумных секциях и потому никогда не теряют своего облика.

— Нопусти туда хоть капельку воздуха, — говорил Негр, — и опа-па! Перед вами только горка соли с перцем. Да-да! Что-то вроде того, — и Негр прищелкнул пальцами.

Значит, эта женщина умерла уже давно. Может быть, — пришло ему в голову, — она и была одним из тех вампиров, с которых началась эпидемия. Когда это было? Бог знает, сколько лет назад это могло начаться. И сколько лет потом ей удавалось бегать от окончательной смерти...

Тот день доконал его. Он был так измотан, что ни в тот, ни в последующие дни оказался не в состоянии ничего делать. Он перестал выходить из дома и запил. Он пил, чтобы забыть. Дом стоял без починки, и на лужайке копились трупы.

Но, сколько бы он ни пил сколько бы он ни старался, он не мог забыть эту женщину и не мог забыть Вирджинию. Одно и то же неотступное видение вновь и вновь возвращалось к нему. Он видел склеп. Подходил. Открывал дверь. Входил внутрь и снимал крышку гроба...

Его начинала бить холодная дрожь, и он ощущал, что заболевает. Тело его холодело, парализованное недужным ознобом.

Вирджиния... Неужели и она теперь... — *вроде того?*..

ГЛАВА 9

То утро было ярким и солнечным. Лишь пение птиц в кронах деревьев нарушало прозрачную искрящуюся тишину. Ни единого дуновения ветерка. Деревья, деревца, кусты и кустарники — все было не-

движно. Облако гнетущей дневной жары медленно спускалось, постепенно окутывая Симаррон-стрит.

Сердце Вирджинии Нэвилль остановилось.

Он сидел рядом с ней на кровати и вглядывался в ее лицо. Держа ее руки в своих, он гладил и гладил ее пальцы. Он словно окаменел — сидел напрягшись, утратив способность ощущать, двигаться, думать. Он сидел выпрямившись, с застывшей маской безразличия на лице, не мигая и почти не дыша.

Что-то произошло в его мозгу.

В то мгновение, когда, нащупывая дрожащими пальцами нитку пульса, он понял, что сердце ее остановилось, его мозг словно нашел единственный выход: окаменеть. Нэвилль почувствовал в голове каменную тяжесть и медленно осел на кровать. Потеряв способность двигаться, он сидел, словно в тумане, где-то в глубине своего сознания пытаясь ухватиться за слабые ростки вспыхивающих и тут же угасающих мыслей, не в состоянии понять, как можно так сидеть и почему отчаяние еще не взорвало его, не уничтожило и не втоптало в землю. Однако он не впал в прострацию. Просто время для него остановилось, словно застряв на этом месте, не в состоянии двинуться дальше. Остановилось все. Вздрыгнув, толчком приостановилась вся жизнь — потому что мир не мог существовать без Вирджинии.

Так прошло полчаса. Час.

Медленно, словно наблюдая нечто постороннее, он заметил дрожь в своем теле. Это было не подергивание мускула, не нервическая дрожь напряженных мышц. Его всего трясло. Все тело его содрогалось. Бесконечно, бесконтрольно, произвольно, словно огромный клубок нервов, больше не подчинявшихся его воле. Единственное, что он еще сознавал, — это то, что это был он и это было его тело.

Больше часа он сидел так, глядя в ее лицо, и его трясло. Затем это внезапно отступило. Что-то сдавленно бормоча, он вскочил и выбежал из комнаты.

Расплескивая и не попадая в бокал, он попытался налить себе виски, — и то, что удалось налить, опрокинул в себя одним глотком. Тонкий ручеек просочился, обжигая внутренности вдвое сильнее обычного: он весь заоченел и все внутри пересохло. Ссутулясь, он снова налил бокал до краев и выпил его большими, судорожными глотками.

Это сон, — слабо возражал его рассудок, как будто посторонний голос вторгся в его сознание.

— Вирджиния...

Он стал оглядываться, оборачиваясь то в ту, то в другую сторону, словно отыскивая в комнате что-то, что должно было там быть, но не оказалось на месте. Словно дитя, потерявшееся в комнате ужасов. Он все еще не верил. Ему хотелось кричать, что все это — неправда. Сцепив пальцы, сжав руки, он попытался остановить их дрожь, но руки не подчинялись ему.

Руки его тряслись так, что он не различал уже их очертаний. Прерывисто вздохнув, он расцепил их, развел в разные стороны и прижал к бедрам, пытаясь остановить дрожь.

— Вирджиния...

Он сделал шаг и закричал. Страшно, надрывно. Комната вышла из равновесия и обрушилась на него... Ощувив взрыв острой игольчатой боли в колене, он снова поднялся на ноги и, причитая, доковылял до гостиной и остановился. Его качало, словно мраморную статую во время землетрясения, и взгляд его окаменевших глаз оставался прикован к дверям спальни. В его сознании вновь прокручивался этот кошмар: гигантское пламя. Ревущее, плюющееся в небо огнем и плотными, густо-грязными клубами дыма. Крохотное тельце Кэтти в его руках. Человек. Приближающийся и выхватывающий ее из его рук словно мешок тряпья. Человек, уходящий под завесу дымного облака и уносящий его ребенка. И ощущение пустоты.

Он стоял там, пока где-то вблизи не заработала свайная установка и грохот близких ударов едва не сбил его с ног.

Очнувшись, он стремительно рванулся вперед с воплем безумия:

— Кэтти!..

Чьи-то руки схватили его, люди в масках и халатах потащили его назад. Его ноги волочились по земле, чертя два неровных следа. Они волокли его прочь от того места — но мозг его уже взорвался, захлебываясь нескончаемым воплем ужаса.

Ночь и день чередовались, словно облака дыма, как вдруг он ощутил боль в скуле и жар спирта, льющегося ему в горло. Он поперхнулся, задохнулся и наконец очнулся, обнаружив, что сидит в машине Бена Кортмана. Не проронив ни слова и не шелохнувшись, он следил за остающимся позади столбом клубящегося дыма, поднимающегося над землей черным знаменем вселенской скорби.

Нахлынувшие воспоминания смяли его, раздавили своей тяжестью. Он закрыл глаза и до боли стиснул зубы.

— Нет.

Он не повезет туда Вирджинию. Даже если его убьют за это.

Движения его были медленны и скованны. Он вышел на крыльцо и, спустившись на лужайку, направился в сторону дома Бена Кортмана. Слепящее солнце заставило его сощуриться. Руки его бессмысленно болтались по сторонам.

Звонок по-прежнему играл веселенький мотивчик «Ах, какой я сухой» — абсурд! Ему захотелось сломать что-нибудь. Он вспомнил, как Бен Кортман веселился, встроив эту потешную мелодию.

Он, напрягшись, стоял перед дверью, и его сознание, словно заикливаясь, мерцало и пульсировало.

Какое мне дело, что есть закон... Какое мне дело до закона... Какое мне дело, что неповиновение карается смертью... Какое мне дело... Я не повезу ее туда!..

Он ударил кулаком в дверь.

— Бен!

Тишина в доме.

Белые занавески на окнах. Через окно видна красная тахта. Торшер с кружевным абажуром, который Фреда любила ребячливо теревить в долгие субботние вечера. Он моргнул. Какой сегодня день? Он не знал. Он потерял счет дням.

Он пожал плечами, и злость вперемешку с нетерпением желчью забурила в его венах.

— Бен!

Он побледнел и снова ударил кулаком в дверь. Щека его начала немного дергаться.

Проклятье! Куда он подевался? Нэвилль негнушится пальцем снова вдавил кнопку звонка, и органчик снова завел свой пьяненький мотивчик «Ах, какой я сухой, ах, какой я сухой, ах, какой...»

Задыхаясь от бешенства, он прислонился к двери и подергал ручку — и она распахнулась, ударившись об стену внутри дома. Дверь оказалась не заперта.

Он прошел в пустынную гостиную.

— Бен, — громко сказал он, — Бен, мне нужна твоя машина...

Они были в спальне. Они лежали тихо и недвижно, скованные дневной комой, каждый в своей постели. Бен — в пижаме. Фреда — в шелковой ночной сорочке. Они лежали поверх простыней, дыхание их было глубоким и размеренным.

На мгновение он задержался, разглядывая их. На белоснежной шее Фреды он увидел несколько ранок, покрытых корочкой засохшей крови. Он перевел взгляд на Бена. На горле Бена ран не было. словно чужой голос произнес в его мозгу: только бы мне проснуться.

Он встряхнул головой. Но нет, от этого нельзя было проснуться.

Он нашел ключи от машины на столе, взял их, развернулся и вышел. Вышел, не оборачиваясь, из этого навсегда притихшего дома. Так он в последний раз видел их живыми.

Мотор кашлянул и завелся, и он дал ему поработать вхолостую несколько минут — вытащил дроссель и сидел, глядя наружу через пыльное ветровое стекло. Жирная муха гудела у него над головой. В тесной кабине было горячо и душно. Он глядел на гнусное блестящее зеленую мушиное брюхо и вслушивался в равномерную пульсацию двигателя.

Затем он заглушил дроссель и выехал на улицу. Припарковавшись у своего гаража, заглушил мотор.

В доме было прохладно и тихо. Единственный звук — его шаги по ковру в прихожей, затем — скрип паркетных половиц в холле.

Он словно запнулся в дверях и замер, вновь разглядывая ее. Она так и лежала на спине, вытянув руки вдоль туловища, чуть подобрав побелевшие пальцы. Казалось, будто она спит.

Он отвернулся и снова вышел в гостиную. Что он собирался делать? Выбирать теперь казалось бессмысленным. Какая разница, что он сделает? Жизнь будет бесцельной и бесполезной, что бы он теперь ни предпринял.

Он стоял у окна, глядя на залитую солнцем улицу, и взгляд его был безжизненным.

Для чего я тогда взял машину? — спросил он себя и напряженно сглотнул. — Я не могу ее сжечь. И не буду.

Но что тогда оставалось? Похоронные бюро были закрыты. Те немногие могильщики, что еще оставались в живых, по закону не имели права хоронить. Абсолютно все без исключения должны были быть преданы огню немедленно после смерти. Это был единственный способ предотвратить распространение за-

разы. Бактерия, ставшая причиной этой эпидемии, могла быть уничтожена только огнем.

Он знал это. Знал, что это — закон.

Но кто соблюдает его? Стоило задуматься над этим.

Кто из мужей способен взять женщину, с которой он делил жизнь и любовь, — и бросить ее в пламя? Кто из родителей способен сжечь свое возлюбленное чадо? Кто из детей возведет своих родителей на этот костер, ста ярдов в поперечнике, ста футов глубиной?

Нет. Если осталось еще хоть что-то в этом мире, то, покуда это в его власти, тело ее не будет предано огню.

Лишь час спустя он пришел к окончательному решению.

Тогда он взял иголку с ниткой — ее иголку. Ее нитку.

И шил, пока на виду осталось только ее лицо. И тогда, скрепя сердце, трясущимися руками он зашил полотнище у ее рта. У ее носа. У ее глаз.

Закончив, вышел на кухню и влил в себя еще бокал виски, но оно не действовало.

Он едва держался на ногах. Вернувшись в спальню, он постоял немного, хрипло дыша, затем, согнувшись, подsunул руки под ее недвижимое тело и взял ее, одними губами шепча:

— Иди ко мне, детка...

Слова словно освободили что-то внутри него. Он почувствовал, что его трясет, слезы бегут по его щекам...

Через гостиную — на крыльцо — на улицу...

Он положил ее на заднее сиденье и сел в машину. Сделав глубокий вдох, потянулся к стартеру.

Стоп. Он снова вышел из машины, сходил в гараж и взял лопату.

Заметив на улице медленно приближающегося человека, он вздрогнул, сунул лопату под заднее сиденье и сел в машину.

— Пойдите!.. — глухо вскрикнув, тот человек попытался бежать, но не смог. Он был слишком слаб и еле волочил ноги.

Оставшись сидеть в машине, Нэвилль дождался, пока тот подойдет.

— Не могли бы вы.. Позвольте мне принести.. и мою мать тоже?.. — сдавленно выговорил подошедший.

— Я.. Я.. Я.. — мысли Нэвилля перемешались. Он думал, что снова разрыдается, но овладел собой и напрягся.

— Я не собираюсь.. Туда. — сказал он.

Человек тупо уставился на него.

— Но ваша..

— Я не собираюсь туда ехать, я сказал! — рявкнул Нэвилль и вдавил кнопку стартера.

— А как же ваша жена, — проговорил человек, — ведь ваша жена..

Роберт Нэвилль нажал на сцепление и покачал ручку переключения передач.

— Пожалуйста, — упрашивал человек.

— Я не собираюсь туда! — выкрикнул Нэвилль, уже не глядя на него.

— Но это же закон! — вдруг, свирепая, в ответ закричал тот.

Машина выкатилась на проезжую часть, и Нэвилль легко развернул ее в направлении Комптона-бульвара. Набирая скорость, он оглянулся на этого человека, стоявшего на тротуаре и глядевшего ему вслед.

Идиот, — кричал кто-то в его мозгу, — ты что, думаешь, что я собираюсь бросить свою жену в огонь?

Улицы были пустынные. С Комптона он свернул налево и отправился на запад. По правую руку не-вдалеке от дороги виднелся обширный пустырь. Кладбища были закрыты и охранялись. Ими запрещено было пользоваться. Если кто пытался хоронить, стреляли без предупреждения.

У следующего перекрестка он свернул направо, проехал один квартал и снова свернул направо. Это был тихий переулок, выводящий к пустырю.

Не доехав полквартала, он заглушил мотор и тихо докатил до конца, чтобы никто не услышал его. Никто не видел, как он вынес тело из машины. Никто не видел, как он нес ее через заросший густой травой пустырь. Никто не видел, как он положил ее на землю. А потом, встав на колени, он и вовсе пропал из виду.

Он копал медленно, плавно толкая лопату в мягкую землю, стараясь приноровиться к пульсирующим дуновениям раскаленного солнцем воздуха. Пот катил с него ручьями — по щекам, по лбу. Перед глазами все плыло. Каждый взмах лопатой поднимал в воздух пыль — она забивалась в глаза, в нос, во рту стоял сухой, едкий привкус.

Наконец яма была готова. Он отложил лопату и сел на колени. Пот заливал лицо, и его снова начало трясти. Наступал момент, которого он больше всего боялся.

Он знал, что ждать нельзя. Если его увидят, его тут же схватят. Его застрелят — но не в этом дело. Потому что тогда ее сожгут... Он стиснул зубы.

Нет.

Нежно, как можно аккуратнее, он опустил ее в узкую могилку, проследив, чтобы она не ударилась головой, выпрямился и посмотрел на ее зашитое в простыню навсегда успокоившееся тело.

В последний раз, — подумал он. — Никогда больше мне не разговаривать с ней, не любить ее. Одинадцать лет неповторимого счастья заканчиваются здесь, в этой узкой яме...

Дрожь снова пробежала по его телу.

Нет, — приказал он себе, — не сейчас. Теперь нет времени для этого.

Бесполезно. Бесконечный, изнуряющий поток слез застил ему свет, лишь проблесками открывая его

взгляду этот безумный мир, в котором он сталкивал и сталкивал обратно в яму рыхлую землю и нежно уплотнял ее своими утратившими чувствительность пальцами...

Он лежал на кровати не раздеваясь и глядел в потолок. Он изрядно выпил, и в темноте на фоне черного потолка в его глазах роились огненные снежинки.

Он протянул руку к столу. Задев рукой бутылку, неловко выбросил наружу пальцы, но слишком поздно. Расслабившись, он замер, слушая, как виски пробужливается через бутылочное горлышко и растекается по полу.

Его растрепанные волосы зашуршали на подушке, когда он зашевелился, чтобы взглянуть на часы. Два часа утра. Уже два дня как он похоронил ее. Двумя глазами он смотрел на часы, двумя ушами слышал их тиканье, сжав губы — тоже две. Две руки его безвольно лежали на кровати.

Он пытался избавиться от этой навязчивой идеи — но все вокруг упорно распадалось на пары, утверждая всемирный, космический принцип двойственности, все вело на алтарь двоичности. Их было у него двое — двое умерли. Две кровати в комнате, два окна. Два письменных стола, два ковра. Два сердца, которые...

Поглубже вдохнув, он задержал дыхание, подождал и затем с силой выдохнул — но опять сорвался: два дня, две руки, две ноги, два глаза...

Он сел, свесив ноги с кровати, попал ногой в лужу виски и почувствовал, что промочил носки. Прохладный ветерок слегка дребезжал ставнями. Он уставился в темноту.

Что же остается? — спросил он себя. — Что же все-таки остается?

Тяжело поднявшись, он добрел до ванной, оставляя на полу цепочку мокрых следов. Плеснул себе в лицо воды и стал шарить рукой полотенце.

Что же остается? Что же...

Он вдруг замер.

Кто-то трогал ручку входной двери.

Стоя в прохладной темноте ванной, он почувствовал, как холодный страх поднялся по его спине вверх, к шее, и зашекотал у корней волос.

Это Бен, — услышал он слабый отголосок своего сознания, — он пришел забрать ключи от машины.

Полотенце выскользнуло из его руки и, шурша, опустилось на кафельный пол. Он вздрогнул.

Стук в дверь. Удар был слабым, бессильным, так падает на стол рука нечаянно уснувшего... Он медленно прошел в гостиную, сердце его тяжело билось.

Дверь вздрогнула — снова слабый удар кулака. Его словно подбросило от этого звука.

В чем дело? — подумал он. — Ведь дверь не заперта.

Из приоткрытого окна в лицо ему дул холодный ветер, тьма притягивала ко входной двери.

— Кто... — сказал он, не в силах продолжать.

Его пальцы соскочили с дверной ручки, когда та повернулась под его рукой. Он сделал шаг назад и, оперевшись в стенку спиной, застыл, тяжело дыша, глядя в темноту широко распахнутыми глазами.

Ничего не произошло. Он стоял, напряженно выпрямившись, и ждал.

Вдруг он задержал дыхание. Кто-то мялся там, на крыльце, что-то тихо бормоча. Он попытался взять себя в руки, выдохнул и рывком распахнул дверь, впуская в дом поток лунного света.

Он не смог даже вскрикнуть. Он просто остался стоять как прикованный где стоял, тупо глядя на Вирджинию.

— Роб...ерт, — проговорила она.

ГЛАВА 10

Научные залы находились на третьем этаже. Роберт Нэвилль поднимался по мраморной лестнице Публичной библиотеки Лос-Анджелеса, и гулкое эхо его шагов медленно затухало в пустоте лестничных пролетов. Было седьмое апреля 1976 года.

После нескольких дней разочарований, пьянства и бессистемных экспериментов он понял, что попусту теряет время. Стало ясно, что из одиночного эксперимента все равно ровно ничего не следует. Если и существовало какое-то разумное объяснение происходящему (он верил, что оно существует), то добраться до него можно было только путем тщательных, методичных исследований.

Для начала, стремясь расширить свои познания, он принялся изучать то, что предполагал основой, то есть кровь. По крайней мере, это могло быть отправной точкой. Итак, первый шаг: изучить кровь.

В библиотеке царила полная тишина. Звук его шагов терялся в глубине коридоров. Третий этаж был пуст. Снаружи здания такая гнетущая тишина была бы просто невозможна. Там всегда был какой-нибудь птичий щебет, а если и не было, то все равно какие-нибудь звуки, шелест, шорох, дуновение ветра. Лишь здесь, в замкнутом пространстве пустого здания, от тишины закладывало уши.

В этом огромном здании, серокаменные стены которого охраняли книжную мудрость сгнувшего мира, было особенно тихо. Может быть, это было чисто психологическое действие замкнутого пространства, но от такой мысли не становилось легче. И больше не существовало в мире психиатров, до последнего бормотавших про неврозы и слуховые галлюцинации, так что последний человек был теперь беспросветно, безнадежно задавлен тем миром, который сам себе создавал.

Он вошел в научные залы.

Высокие потолки, обширные окна с огромными фрамугами. Напротив двери находилась стойка, где выписывали книги — в те дни, когда их еще выписывали.

Он остановился на мгновение и оглядел зал; медленно покачал головой.

Все эти книги, — подумал он, — вот все, что осталось от интеллекта планеты. Записки слабоумных. Пережитки прошлого. Сочинительство писак. Все это оказалось не в силах спасти человечество от гибели.

Он направился к полкам по левую руку, и шаги его зазвенели на темном паркете. Взгляд его скользил по табличкам между секциями. «Астрономия», — прочел он. Книги о небесах. Он двинулся дальше. Небеса — это не то, что его сейчас интересовало. Восхищение звездами умерло вместе с теми, у кого оно было. «Физика», «Химия», «Машиностроение». Он миновал эти секции и двинулся дальше. Продолжение находилось в главном читальном зале.

Остановившись, он оглядел высокий потолок. Безжизненно висели две люстры. Весь потолок был разделен на вогнутые квадраты, каждый из которых был отделан наподобие индейской мозаики. Солнце сочилось из пыльных оконных стекол, и в солнечном столбе роились пылинки.

Он взглянул на ряд длинных деревянных столов с аккуратно придвинутыми стульями. Ряды были выровнены исключительно: кто-то приложил здесь все свое старание. Должно быть, в тот день библиотека закрылась как обычно, дежурный библиотекарь расставил здесь все на свои места. Придвинул тщательно каждый стул — с точностью и аккуратностью, присущими только ему одному.

Он живо представил себе эту картину. Должно быть, это была молодая, очень педантичная леди. И больше она сюда уже не вернулась.

Погибнуть, — подумал он, — не ощутив полноты наслаждения жизнью, не познав счастья в объятиях любимого человека. Погрузиться в тяжкий коматозный сон, чтобы умереть, — или, может быть, вновь ожить, только ужасным, безумным, бесполом, бродячим существом. И никогда не познать, что значит любить и что значит быть любимым.

Это похуже, чем стать вампиром.

Он встряхнул головой.

Пожалуй, хватит, — сказал он себе. — Сейчас не время для сантиментов.

Наконец он дошел до указателя «Медицина». Это и было то, что он искал. Он проглядел заголовки на разделителях.

Книги по гигиене, по анатомии, по физиологии (общей и специальной), по здравоохранению. Ниже — по бактериологии. Он выбрал пять книг по общей физиологии и несколько книг по крови. Отнес их и поставил стопкой на один из пыльных столов. Взять ли что-нибудь по бактериологии? Он постоял немного, нерешительно разглядывая коленкоровые переплеты, и наконец пожал плечами.

Какая разница? Больше — не меньше. Не сейчас — так потом.

Он наугад вытащил еще несколько штук, и стопка на столе увеличилась. Всего девять книжек. Для начала достаточно. Вероятно, сюда придется возвращаться.

Покидая научные залы, он взглянул на часы над дверью. Красные стрелки застыли в положении четыре двадцать семь... Интересно, какого дня? Спускаясь по лестнице, он рассуждал сам с собою: а интересно, в какой момент они остановились? Был ли день, или была ночь? Дождь или солнце? И был ли тогда кто-нибудь здесь, в библиотеке?

Что за чушь. Какая разница? — он недоуменно пожал плечами.

Все возрастающая ностальгия вновь и вновь возвращающихся мыслей о прошлом начинала его раздражать. Он знал, что это — слабость. Слабость, которую вряд ли можно себе позволить, если он хочет чего-то добиться, но снова и снова ловил себя на том, что его уход в прошлое с каждым разом все глубже и глубже и размышления о прошлом все больше становятся похожи на медитацию. Погружаясь в воспоминания, он терял контроль над своим сознанием, и бессилие перед самим собой приводило его в бешенство.

Отпереть массивную входную дверь изнутри оказалось так же сложно, как и снаружи, и выбираться пришлось снова через разбитое окно. Аккуратно выкинув на асфальт книги, одну за другой, он спрыгнул следом. Собрал книги, отнес их к машине и сел за руль.

Отъезжая, он заметил, что поребрик, у которого стояла машина, окрашен в красный цвет. Кроме того, здесь было одностороннее движение, как раз навстречу. Он окинул быстрым взглядом улицу в оба конца и вдруг услышал свой собственный голос:

— Полисмен! — кричал он, — Эй, полисмен!

Что здесь смешного? Но больше мили он хохотал не переставая и не мог остановиться.

Роберт Нэвилль отложил книгу. Он снова читал о лимфатической системе, с трудом припоминая то, что было прочитано несколькими месяцами раньше. То время он теперь называл «дурной период». То, что он читал тогда, никак не откладывалось в нем, поскольку никак и ни с чем не стыковалось.

Теперь, кажется, ситуация была иной.

Тонкие стенки кровеносных сосудов позволяют плазме крови проникать в прилегающие полости, образованные красными и белыми клетками. Компоненты, покидающие таким образом кровеносную систему,

возвращаются в нее по лимфатическим сосудам, влякомые светлой водянистой жидкостью, которая называется лимфой.

Пути возвращения в кровеносную систему пролегают через лимфатические узлы, в которых происходит фильтрация шлаков, что предотвращает их возвращение в кровяное русло.

И далее.

Лимфатическая система функционирует за счет нескольких стимулирующих воздействий: (1) дыхание, посредством движения диафрагмы вызывающее разность давлений во внутренних органах, которая и вынуждает движение лимфы и крови в противовес действующей силе тяжести; (2) физическое перемещение различных частей тела, связанное с мускульными сокращениями, сдавливает лимфатические сосуды, что также приводит лимфу в движение. Сложная система клапанов не допускает обратного течения лимфы.

Но вампиры не дышат. По крайней мере те, что уже умерли. Это означает, что, грубо говоря, половина их лимфатической системы не функционирует. А это, в свою очередь, означает, что значительная часть шлаков остается в организме вампира.

Размышляя об этом, Роберт Нэвилль, конечно, имел в виду исходящий от них мерзкий запах разложения.

Он продолжал читать.

«Бактерии переносятся потоком крови...»

«...Белые кровяные тельца играют основную роль в механизме защиты организма от бактерий».

«Сильный солнечный свет быстро разрушает большинство микроорганизмов...»

«Многие заболевания, вызываемые микроорганизмами, переносятся насекомыми, такими, как мухи, комары и пр. ...»

«...Под действием болезнетворных бактерий организм вырабатывает дополнительное количество фагоцитов, которые постунают в кровь...»

Он уронил книгу на колени, и она соскользнула на ковер.

Сопротивляться становилось все труднее: чем больше он читал, тем больше видел неразрывную связь между бактериями и нарушениями кровеносной деятельности. Но все еще ему были смешны те, кто до самой своей смерти утверждал инфекционную природу эпидемии, искал микроба и глумился над «рассказнями» о вампирах.

Он встал и приготовил себе виски с содовой. Но бокал так и остался нетронутым. Оставив бокал рядом с баром, Нэвилль задумчиво уставился в стену, мерно ударяя кулаком по крышке бара.

Микробы. — Он поморщился.

Ладно. Бог с ними, — устало огрызнулся он на самого себя. — Слово как слово, без колючек. Небось, не уколешься.

Он глубоко вздохнул.

И все-таки, — убеждал он сам себя, — есть ли основания полагать, что микробы тут ни при чем?

Он резко отвернулся от бара, словно желая уйти от ответа. Но вопрос — это то, от чего не так-то легко отвернуться. Вопросы, однажды возникнув, настойчиво преследовали его.

Сидя в кухне и глядя на чашку дымящегося кофе, он пытался понять, почему его разум так противится параллелям между микробами, бактериями, вирусами, и вампирами. Тупой ли это консерватизм, или страх того, что дело окажется действительно в микробах, — и тогда задача примет совершенно для него непосильный размах?

Кто знает. Новый путь — единственный путь — требовал пойти на компромисс. Зачем же отказываться от какой-то из теорий. В самом деле, они не отрицали друг друга. В них можно было найти некоторое взаимное приятие и соответствие.

Бактерия может являться причиной для вампира, — подумал он, — тогда все идет гладко.

Все ложилось в свое русло. Он вел себя как мальчишка, который, глядя на ручеек дождевой воды, хочет повернуть его вспять, остановить, лишь бы не тек он туда, куда предписывают ему законы природы. Так и он, набычась и замкнувшись в своей твердолобой уверенности, хотел повернуть вспять естественную логику событий. Теперь же он разобрал свою игрушечную плотину и выпрямился, глядя, как хлынул, разливаясь и захватывая все большее пространство, высвобожденный поток ответов.

Эпидемия распространялась стремительно. Могло ли так получиться, если бы заразу распространяли только вампиры, совершающие свои ночные вылазки? Было ли этого достаточно?

Ответ напрашивался сам собой, и это его весьма и весьма огорчало. Очевидно, только микробы могли объяснить фантастическую скорость распространения эпидемии, геометрический рост числа ее жертв.

Он отодвинул чашку кофе. Мозг его бурлил, переполненный догадками. Похоже, в этом участвовали мухи и комары. Они-то и вызвали тотальное распространение заразы.

Да, микробами можно было объяснить многое. Например, их дневное затворничество: микроб вызывал днем коматозное состояние, чтобы уберечься от действия солнечного света.

И еще: а что, если окончательные вампиры питались за счет этих бактерий?

Легкая дрожь пробежала по его телу. Возможно ли это, чтобы микроб, убивший живого, снабжал потом энергией мертвого?

В этом следовало разобраться. Он вскочил и почти что выбежал из дома, но в последний момент остановился, схватившись за ручку входной двери, и нервно рассмеялся.

О, Господи, — подумал он, — я, кажется, схожу с ума.

Стояла глубокая ночь.

Он усмехнулся и беспокойно зашагал по комнате. Как объяснить остальное? Колышек? — мозг его яростно сражался, пытаясь войти в рамки новой бактериологической аргументации.

Ну же, ну! — подстегивал он себя.

Смерть от колышка — это был пробный камень для новой теории. До сих пор он не придумал ничего, кроме как смерть от потери крови. Но та женщина не поддавалась этому объяснению. Было ясно только, что сердце здесь абсолютно ни при чем.

В страхе, что новорожденная теория обрушится, не установившись и не развившись, он перескочил к следующему пункту.

Крест? Нет, микробы здесь ничего не объяснят. Почва? Бесполезно. Вода, чеснок, зеркало...

Он ощутил дрожь отчаяния, неодолимо разливающуюся по телу. Ему захотелось закричать во весь голос, чтобы остановить взбесившееся подсознание. Ведь он обязан был что-то понять!

Проклятье! — где-то внутри него клокотала ярость. — Я этого так не оставлю!

Он заставил себя сесть. Напряжение и дрожь не отступали, и ему долго пришлось успокаивать себя.

О, милостивый Боже! Что со мной происходит, — думал он, — ухватившись за догадку, я начинаю паниковать, когда оказывается, что она не может в ту же секунду все мне объяснить. Наверное, я схожу с ума.

Он потянулся за бокалом, который теперь оказался кстати. Держа в руке бокал, он успокаивал себя, пока рука не перестала дрожать.

— Все в порядке, мой мальчик. Будь терпелив. Скоро к тебе придет твой Санта Клаус со своими замечательными ответами. И ты перестанешь казаться себе Робинзоном, немного чокнутым мистером Крузо, брошенным в одиночестве на необитаемом острове ночи, окруженном океаном смерти.

Вволю посмеявшись, он окончательно успокоился.

А что, неплохо. Ярko, сочно. Последний в мире человек — почти что Эдгар Гест.

— Вот так-то лучше, — сказал он себе. — А теперь в кровать. Ты больше не выдержишь. Твои эмоции разорвут тебя на куски и разбросают во всех направлениях. Да, с этим у тебя неважно...

Для начала гадо раздобыть микроскоп, первым делом, — повторял он себе, раздеваясь перед сном, — надо раздобыть микроскоп. И это будет первый шаг.

Он убеждал себя, пытаясь преодолеть сосущую под ложечкой нерешительность, странно уживающуюся с безумным, беспорядочным желанием броситься в это исследование с головой, заняться им прямо сейчас.

Он знал, как НАДО действовать: спланировать один следующий шаг, и только. Жажда деятельности раздирала его настолько, что он почувствовал себя больным, но продолжал твердить про себя: «Это будет первый шаг. Первый шаг, черт бы тебя побрал. Это — первый шаг».

Он рассмеялся в темноту, возбужденный ощущением предстоящей работы.

Только одну еще задачу позволил он себе перед сном. Укусы, насекомые, передача инфекции от человека к человеку — достаточно ли всего этого для той чудовищной скорости, с которой шла эпидемия?

Он так и заснул, размышляя над этим. А около трех часов утра его разбудила бушевавшая пыльная буря. И внезапно в его подсчетах все встало на свои места.

ГЛАВА 11

Первое его приобретение, конечно, никуда не годилось.

Механика была настолько безобразной, что любое прикосновение сбивало настройку. Поддача была разболтана, так что разные детали ходили вразнобой и

наперекосяк. Зеркало слабо держалось в шарнирах и потому все время уходило из правильного положения. Кроме того, не было посадочных мест для конденсатора или поляризатора. Объектив был только один, без карусельки, и его приходилось выкручивать каждый раз, когда требовалось сменить увеличение. А прилагавшиеся объективы были отвратительного качества.

Разумеется, он ничего не понимал в микроскопах и взял первый попавшийся.

Через три дня он швырнул его в стену, замысловато выругался, растоптал то, что осталось цело, и вымел вместе с мусором.

Успокоившись, он отправился в библиотеку и взял книгу по микроскопам.

В следующий выезд он вернулся только после того, как отыскал приличный инструмент: с каруселькой на три объектива, обоймой для конденсатора и поляризатора, хорошей механикой, четкой подачей, с ирисовой диафрагмой и хорошим комплектом оптики.

— Вот еще один пример, — пояснил он себе, — как глупо выглядит недоучка, рвущийся к финишу.

— Да, да, да. Разве я возражаю...

Но с большим трудом он заставил себя потратить время на то, чтобы освоиться со всей этой механикой.

Намучившись с зеркалом, он наконец научился ловить лучик света и направлять его в нужную точку за считанные секунды. Он освоился с линзами и объективами, ловко подбирая нужную силу от одного дюйма до одной двенадцатой. Он учился наводить, поместив в поле зрения кусочек кедровой смолы, и, опуская объектив, не однажды промахивался, так что сломал таким образом полтора десятка препаратов.

За три дня кропотливого, напряженного труда он научился виртуозно манипулировать тысячей зажимов, рукояток, микровинтов, диафрагмой и конденсором так, что в кадр попадало ровно столько света, сколько надо, и изображение было почти идеальным.

Таким образом он освоил все готовые препараты, которые у него были.

Он никогда не подозревал, что у блохи такой богомерзкий вид.

Гораздо труднее, как выяснилось впоследствии, было готовить препараты самому.

Несмотря на все его ухищрения, ему не удавалось избежать попадания на образец частиц пыли. Поэтому под микроскопом всякий раз оказывалось, что он приготовил для изучения грудку валунов.

Это было особенно трудно, поскольку пыльные бури продолжались, случаясь в среднем каждые четыре дня. Пришлось соорудить над приборным столом колпак.

Экспериментируя с препаратами, он старался приучать себя к порядку и аккуратности. Он обнаружил, что поиски затерявшегося инструмента не только тратят время, но и препарат за это время покрывается пылью.

Сначала неохотно, но затем все с большим и большим восторгом он определил все по своим местам. Предметные и покровные стекла, пипетки, пробирки, пинцеты, чашки Петри, иглы, химикалии — все было систематизировано, все под рукой.

К своему удивлению, он обнаружил, что постоянное поддержание порядка доставляет ему удовольствие. Что ж, в конце концов, во мне течет кровь старого Фрица, — однажды с удовольствием отметил он.

Затем у одной из женщин он взял кровь. Не один день потребовался ему, чтобы правильно приготовить препарат. В какой-то момент он даже решил, что ничего не выйдет.

Но на следующее утро, словно между делом, как событие, ровно для него ничего не значащее, он поместил под объектив тридцать седьмой препарат крови, включил подсветку, установил зеркало и окуляр, подстроил конденсор и диафрагму. И с каждой секундой его сердце билось все сильнее и сильнее,

потому что он знал, что время пришло. Настал тот самый момент.

У него перехватило дыхание.

Следовательно, это был не вирус. Вирус нельзя увидеть в микроскоп. Там, слегка подергиваясь, зажатый в пространстве между двух стекол, шевелился микроб.

Я назову его *vampiris* — думал он, не в силах оторваться от окуляра...

Листая книги по бактериологии, он узнал, что цилиндрическая бактерия, которую он обнаружил, называется бациллой, представляет собой маленький столбик протоплазмы и передвигается в крови при помощи тоненьких жгутиков, торчащих из ее оболочки. Эти жгутики — флагеллы — энергично двигались, так что бацилла, отталкиваясь от жидкости, довольно быстро перемещалась. Долгое время он просто глядел в микроскоп, не в состоянии ни думать, ни продолжать свои эксперименты.

Он думал о том, что здесь, перед ним, теперь находится та самая причина, которая порождает вампиров. Он увидел этого микроба — и этим подрубил средневековые предрассудки, веками державшие людей в страхе.

Значит, ученые были правы. Да, дело было в бактериях. И вот он, Роберт Нэвилль, тридцати шести лет от роду, единственный оставшийся в живых, завершил исследование и обнаружил причину заболевания — микроб вампиризма.

Его захлестнула волна тягостного разочарования. Найти ответ теперь, когда он никому уже не нужен, — да, это сокрушительный удар. Он слабо сопротивлялся, но волна депрессии уже овладела им. Он был беспомощен, не знал, с чего начать. Теперь перед ним вставала новая задача, перед которой он пасовал. Мог ли он надеяться, что тех, кто еще жив, удастся вылечить? Он ведь ничего не знал о бактериях.

Значит, должен узнать, — приказал он себе.
Снова приходилось учиться.

Некоторые виды бацилл в неблагоприятных для жизни условиях способны образовывать тела, называемые спорами. При этом клеточное содержимое собирается в овальное тело с плотной стенкой. Это тело, сформировавшись, отделяется от бациллы и становится свободной спорой, обладающей высокой устойчивостью к физическим и химическим воздействиям.

Позже, когда условия становятся более благоприятными, спора вновь развивается, приобретая все свойства материнской бациллы.

Роберт Нэвилль остановился возле раковины и крепко взялся за край, зажмурив глаза. В этом что-то есть, — настойчиво повторял он, — именно в этом. Но что?

Предположим, — начал он, — вампир не нашел крови. Должно быть, тогда условия для бациллы *vampiris* оказываются неблагоприятными. С целью выживания *vampiris* должен спорулировать; вампир впадает в коматозное состояние. Когда условия снова станут благоприятными, вампир встанет на ноги и отправится дальше.

Брунда. Как же микроб может знать, найдет ли он кровь или нет? — он гневно ударил по умывальнику кулаком. — Надо снова читать. Все-таки в этом что-то есть, — он чувствовал это.

Бактерии, не находя себе подходящего пропитания, могут идти по пути патологического метаболизма и продуцировать бактериофаги — неживые самовоспроизводящиеся протеины. Эти бактериофаги разрушают бактерию.

Значит, при отсутствии поступлений крови бациллы должны производить бактериофаги, поглощать воду и раздуваться, в основном с целью порвать все клеточные мембраны.

А как же споруляция?

Итак, предположим, вампир не впадает в кому. Пусть в отсутствие крови его тело распадается. Тогда споры, образовавшиеся в это время...

Конечно! Пыльные бури!

Штормовой ветер разносит освободившиеся споры. Достаточно крохотной парашютки на коже — даже от удара песчинкой — и спора может закрепиться там. А закрепившись, она разовьется, размножится делением, проникнет в организм и уже заполонит все. Поедая ткани, бактерии производят ядовитые отходы жизнедеятельности, которые вскоре, наполняя кровеносную систему, убьют организм.

Процесс замкнулся.

Даже без душераздирающих сцен с красноглазыми вампирами, склонившимися к изголовью кровати несчастной жертвы. И без летучих мышей, бьющихся в закрытые окна, и безо всякой прочей чертовщины. Вампир — это обыденная реальность. Просто никогда о нем не была рассказана правда.

Размышляя на эту тему, Нэвилль перебрал в памяти исторические эпидемии.

Падение Афин? — очень похоже на эпидемию 1975-го. Город пал, прежде чем что-либо можно было сделать. Историки тогда констатировали бубонную чуму. Но Роберт Нэвилль скорее был склонен думать, что причиной был *vampiris*.

Нет, не вампиры. Как стало теперь ясно, эти хитрые блуждающие бестии были такими же орудиями болезни, как и те невинные, кто еще жил, но уже был инфицирован. Истинным виновником был именно микроб. Микроб, умело скрывавший свои истинные черты под вуалью легенд и суеверий. Он плодился и размножался — а люди в это время тщетно пытались разобраться в своих выдуманных и невыдуманных страхах...

А черная чума, прошедшая по Европе и унесшая жизни троих против каждого оставшегося в живых?

Vampiris?

К ночи у него разболелась голова и глаза ворочались, словно пластилиновые шары. У него вдруг пропнулся волчий аппетит. Он достал из морозильника кусок мяса и, пока мясо жарилось, быстро ополоснулся под душем.

Он слегка вздрогнул, когда в стену дома ударил камень, но тут же криво усмехнулся: поглощенный занятиями, он просидел весь день и совсем было позабыл, что к вечеру они снова начнут шастать вокруг дома.

Вытираясь, он вдруг сообразил, что не знает, какая часть вампиров, еженощно осаждающих его, живые, а какую часть уже активизирует и поддерживает микроб. Странно, — подумал он, — так сразу и не сказать. Должно быть, были оба типа, потому что некоторых ему удавалось подстрелить, а на других это не действовало. Он полагал, что тех, что уже умерли, пуля почему-то не берет. Впрочем, возникали и другие вопросы. Зачем к его дому приходят живые? И почему к его дому собираются лишь немногие, а не вся округа?

Бокал вина и бифштекс показались ему восхитительными. Вкус и аромат — это то, чего он давно уже не ощущал. Как правило, после еды во рту оставался вкус жеваной древесины.

Я заработал сегодня это, — подумал он.

Более того, он не притронулся к виски. И, что удивительно, ему и не хотелось. Он покачал головой. Обидно было сознавать, что спиртное служило ему средством обретения душевного комфорта, утешения, самоуспокоения.

Прикончив мясо, он даже попытался грызть кость. Прихватив бокал с остатками вина в гостиную, он включил проигрыватель и с усталым вздохом опустился в кресло.

Он слушал Равеля. Дафнис и Хлоя, Первая и Вторая сюиты. Он погасил весь свет, горела лишь

лампочка на панели проигрывателя, и на какое-то время ему удалось забыть о вампирах. И все же он не удержался от того, чтобы заглянуть в микроскоп еще раз.

Сволочь ты, — почти что с нежностью думал он, наблюдая шевелящийся под объективом малюсенький сгусток протоплазмы. — Сволочь ты, мелкая и подлая.

ГЛАВА 12

Следующий день был омерзителен.

Под кварцевой лампой все микробы погибли, но это ровным счетом ничего не объясняло.

Он смешал инфицированную кровь с сернистым аллилом, и ничего не произошло. Микробы продолжали жить.

Он начал нервно мерить шагами комнату.

Они боятся чеснока. Кровь — основа их существования. И все-таки: смешиваем кровь со специфической составляющей чеснока — и ничего не происходит. Он зло сжал кулаки.

Минуточку! Эта кровь была взята у живого.

Через час он привез образец иного рода. Перемешал с сернистым аллилом и поместил под микроскоп. Никакого эффекта.

Обед застревал у него в горле.

А колышки? Колышки?! Он так и не мог придумать ничего, кроме потери крови, но знал, что не в этом дело, — та проклятая женщина...

Весь вечер он пытался хоть что-нибудь придумать, хоть как-то продвинуться, на чем-то сосредоточиться. В конце концов он с рыганием опрокинул микроскоп и понуро вышел в гостиную. Уронив себя в кресло, он сидел, нервно постукивая пальцами по подлокотнику.

Великолепно, Нэвилль, — думал он, — ты невыносим. Просто все к черту — и все.

Он сидел и стучал костяшками пальцев по подлокотнику.

С этим придется смириться, — уничтоженно рассуждал он. — Я уже давно растерял свои мозги. Я не могу думать два дня подряд, я весь расползаюсь по швам. Я никчемный, бесполезный горе-неудачник.

Ладно, хватит, — он пожал плечами, — вопрос исчерпан. Вернемся к существу дела.

Кое-что удалось достоверно установить, — стал поучать он сам себя. — Имеется микроб, который передается от человека к человеку. Солнечный свет убивает его. Чеснок тоже некоторым образом действует. Некоторые вампиры спят, зарывшись в землю. Если вбить в него колышек, вампир погибает. Они не превращаются ни в волков, ни в летучих мышей, но некоторые животные также заражаются и становятся вампирами.

Неплохо.

Он разграфил лист бумаги. Один столбик он озаглавил «бациллы», а во втором поставил знак вопроса.

Приступим.

Крест. Не имеет к бациллам никакого отношения. Скорее, что-то психологическое.

Почва. Может ли что-то в почве влиять на эту заразу? Вряд ли. Иначе оно должно попасть в кровь — но как? Никак. Кроме того, в земле спят очень немногие.

Он тяжело сглотнул и добавил в колонку под знаком вопроса второй пункт.

Текущая вода. Может быть, она впитывается через поры и... Нет, глупости. Они не выходили бы во время дождя, если бы это им вредило. Его рука чуть дрогнула, когда он добавил еще один пункт в правую колонку.

Солнечный свет. С нескрываемым удовольствием он увеличил нужную колонку на один пункт.

Колышки. Нет. Кадык его дернулся. Спокойнее, — одернул он себя.

Зеркало. Да ради Господа, какое отношение зеркало имеет к микробам? В правую колонку добавилась еще одна запись.

Рука его начинала трястись, и почерк становился едва разборчивым.

Чеснок. Он заскрежетал зубами. Еще хотя бы один пункт он должен был добавить в колонку «бациллы». Хотя бы один — это дело чести. Он боролся за последний пункт. Чеснок — да, чеснок. Он надежно отпугивает вампиров. Значит, должен действовать на микроба. Но как?

Он начал писать в правую колонку, но, прежде чем он закончил, бешенство хлынуло из него, как лава из жерла вулкана.

Проклятье!

Он скомкал бумагу, отшвырнул ее прочь и встал, безумно оглядываясь. Ему хотелось что-нибудь сказать, все равно что.

Значит, ты думал, что твой «дурной период» прошел, не так ли?

Он двинулся вперед с намерением опрокинуть бар.

Спохватившись, он остановился. Нет, нет. Только не начинай, — просил он себя. Он запустил трясущиеся пальцы в свою белокурую шевелюру. Кадык его двигался, и все тело дрожало, переполнившись жаждой разрушения, которой он не давал выхода.

Пробулькивание виски через горлышко привело его в ярость. Он опрокинул бутылку вверх дном, и виски полилось потоком, с плеском обрушиваясь в бокал и выплескиваясь через край на столешницу бара.

Запрокинув голову, он одним махом заглотил виски, не обращая внимания на то, что по щекам стекло ему за шиворот.

Он торжествовал. Да, я — животное. Я — тупое, безмозглое животное! И я сейчас напьюсь.

Он швырнул бокал через комнату. Бокал отскочил от книжного стеллажа и покатился по ковру.

Ах, ты еще и не бьешься! Не бьешься!

Скрежеща зубами, он стал топтать бокал ботинками, втаптывая стеклянные брызги в ковер.

Развернувшись, он снова подошел к бару, наполнил еще один бокал и влил его в себя.

Хорошо бы иметь водопровод, наполненный виски, — подумал он. — Я бы подключил шланг прямо к крану и заливал в себя виски, пока оно не полило бы из ушей! Пока не захлебнулся бы.

Он отшвырнул бокал. — Слишком медленно. Слишком медленно, черт возьми! — Высоко подняв бутылку, он приложился прямо к горлышку и, шумно глотая, ненавидя себя, стал как наказание вливать себе в глотку обжигающее виски, едва успевая проглатывать его.

Я задушу себя, — бушевал он, — я погублю себя, я утоплю себя в алкоголе, как Кларенс в мальвазии. Я умру! Умру, умру!

Он швырнул пустую бутылку через комнату и попал во фреску. Виски брызнуло на стволы деревьев и потекло на землю. Он бросился туда, подобрал осколок стекла и сплеча располосовал картину. Иссеченная стеклом бумага лентами съехала на пол.

Вот так! — дыхание его рвалось, словно пар из котла. — Вот тебе!

Он отшвырнул осколок и, почувствовав тупую боль, взглянул на свои пальцы. В порезе просвечивало мясо.

Хорошо! — Злобно торжествуя, он надавил с обеих сторон пореза так, что кровь крупными каплями полилась на ковер. — Истечешь кровью, бестолковый, безмозглый ублюдок.

Через час он был абсолютно пьян. Распластавшись на полу, он бессмысленно улыбался.

Все пошло к дьяволу. Ни микробов, ни науки. Сверхъестественное победило. Мир сверхъестественного — смотрите каждый день — альтернатива Хар-

пера — очевидное—невероятное — субботний вечер с привидениями — вурдалаки у вас дома. А также «Молодой доктор Джекилл», «Вторая жена Дракулы», «Смерть прекрасна» и реклама набора похоронных принадлежностей «сделай сам».

Он не давал себе протрезветь в течение двух дней, собираясь пьянствовать и дальше, до самого конца света или пока не кончатся в стране запасы виски — смотря что наступит раньше.

Возможно, он так бы и поступил, если бы ему не явилось видение.

Это случилось утром третьего дня, когда он вывалился на крыльцо взглянуть, не сгинул ли окружающий мир.

И увидел на лужайке бродячего пса.

Услышав звук распахнувшейся двери, пес, суетливо обнюхивавший траву, встрепнулся, вскинув голову, и со всех своих костлявых ног стремглав рванулся прочь.

Роберт Нэвилль сперва просто застыл от изумления. Словно окаменев, он глядел вслед псу, который быстро улепетывал через улицу, поджав между ног свой хвост, похожий на обрубок веревки.

— Живой!.. Днем!..

С воплем он рванулся следом и чуть не расквасил себе нос на лужайке: ноги под ним ходили ходуном, и даже при помощи рук не удавалось поймать равновесие. Совладав наконец со своим телом, он побежал вслед за собакой.

— Эй! — хрипло кричал он на всю Симаррон-стрит. — Эй ты, иди сюда.

Он грохотал башмаками по тротуару, по мостовой, и с каждым шагом словно стенобитное орудие ударяло в его голову. Сердце тяжело билось.

— Эй, — снова позвал он, — иди сюда, малыш.

Пес перебежал улицу и припустил вдоль кромки тротуара, чуть подволакивая правую ногу и громко стуча темными когтями по дорожному покрытию.

— Иди сюда, малыш, я тебя не обижу! — звал Нэвилль, пытаясь преследовать его.

В боку у него кололо, и каждый шаг отдавался в мозгу звенящей болью. Пес на мгновение остановился, оглянулся и рванулся в проход между домами. Нэвилль увидел его сбоку: это была коричневая с белыми пятнами дворняга, вместо левого уха висели лохмотья, тощее тело рахитично болталось на бегу.

— Постой, не убегай!

Он выкрикивал слова, не замечал, что готов сорваться на визг, на грани истерики. У него переставало дыхание: пес скрылся между домами. Со стоном поражения он попытался ускорить шаг, пренебречь болезненным похмельем, забыть обо всем, с одной лишь целью: поймать пса.

Но, когда он забежал за дом, пса уже не было. Он доковылял до забора и глянул через него — никого.

Он резко обернулся, полагал, что пес может вернуться туда, где только что пробежал, но кругом было пусто.

Добрый час он блуждал по окрестностям, выкрикивая:

— Малыш, иди сюда, малыш, ко мне!

Ноги едва несли его. Поиски были тщетны.

Наконец он прилепился домой, подавленный и беспомощный. Наткнуться на живое существо, спустя столько времени найти себе компаньона — чтобы тут же потерять его. Даже если это был всего-навсего простой пес. Всего-навсего? Простой? Для Роберта Нэвилля сейчас этот пес был олицетворением вершины эволюции на планете.

Он не смог ни есть, ни пить. Он снова был болен и дрожал от одной мысли о потере и потрясении, которые пережил. Он улегся в постель, но сон не шел к нему. Его колотил горячечный озноб, и он лежал, мотая головой на подушке из стороны в сторону.

— Иди сюда, малыш, — бормотал он, не ощущая смысла собственных слов, — ко мне, малыш. Я тебя не обижу.

Ближе к вечеру он снова вышел на поиски. Два квартала в каждом направлении он обшарил метр за метром, каждый дом, каждый проулок. Но ничего не нашел.

Вернувшись домой около пяти, он выставил на улицу чашку с молоком и кусок гамбургера. Чтобы хоть как-то оградить это угощение от вампиров, он положил вокруг низанку чеснока. Позже ему пришлось в голову, что пес тоже может быть инфицирован и тогда чеснок отпугнет его. Впрочем, это было бы малопонятно: если пес заражен, то как он мог днем бегать по улицам? Разве что количество бактерий в крови у него было еще так мало, что болезнь еще не проявилась. Но как же ему удалось выжить и не пострадать от ежедневных ночных налетов?

О, Господи, — вдруг сообразил он, — а что, если пес придет вечером к этому мясу — а они убьют его? Вдруг завтра утром, выйдя на крыльцо, Нэвилль обнаружит там растерзанный собачий труп? Ведь именно он будет виноват в этом.

— Я не вынесу этого. Я расшибу свою проклятую, никчемную черепушку. Клянусь, разнесу на кусочки!

Его мысли уже в который раз вернулись к вопросу, которым он регулярно терзал себя: а зачем все это? Да, он еще планировал некоторые эксперименты, но жизнь под домашним арестом оставалась все так же бесплодна и безрадостна. У него уже было почти все, что он хотел бы или мог бы иметь, — почти все, кроме другого человеческого существа, — жизнь не сулила ему никаких улучшений, ни даже перемен. В сложившейся обстановке он мог бы жить и жить, ограничиваясь имеющимся. Сколько лет? Может, тридцать, может, сорок. Если досрочно не помереть от пьянства.

Представив себе сорок лет такой жизни, он вздрогнул.

Возвращаясь каждый раз к этой мысли, он так и не убил себя. Правда, он перестал следить за собой, его отношение к себе было более чем невнимательно. Он ел черт знает как, пил черт знает как, спал и вообще все делал черт знает как. Но, определенно, его здоровье было еще не на исходе. Пожалуй, своим отношением он срезал лишь какие-то проценты своей жизни. И пренебрежение здоровьем — это не самоубийство. Вопрос о самоубийстве как таковой никогда даже не вставал перед ним. Почему?

Это вряд ли можно было понять или объяснить. У него не было в этой жизни никаких привязанностей. Он не принял и не приспособился к тому образу жизни, который вынужден был вести. И все же он продолжал жить. Уже восемь месяцев после того, как эпидемия успешно завершилась, унеся свою последнюю жертву. Девять месяцев после того, как он последний раз разговаривал с человеком. Десять месяцев после смерти Вирджинии. И вот — без всякого будущего, в безнадежном настоящем, он продолжал барахтаться.

Инстинкт? Или просто непреодолимая тупость? Может быть, он слишком впечатлителен, чтобы разрушить себя? Почему он не сделал этого в самом начале, когда был на самом дне? Что двигало им, когда он ограждал и обшивал свой дом, устанавливал морозильник, генератор, электрическую печь, бак для воды, строил теплицу, верстак, жег прилегающие дома, собирал пластинки и книги и горы консервированных продуктов. Даже — трудно себе представить — он даже специально подобрал себе подходящую репродукцию на место фальшивой фрески в гостиной.

Жажда жизни — какая могучая, осязаемая сила, направляющая разум, скрывается за этими словами. Быть может, тем самым природа оберегала его как

последнюю искру, уцелевшую в этом смерче ее же собственной агрессии.

Он закрыл глаза. К чему решать, искать причины. Ответов нет. Он выжил — и это был случай, слепая воля рока, плюс его бычья упрямость. Он был слишком туп, чтобы покончить с собой, и этим все было сказано.

Позже он склеил изрезанную фреску и водрузил ее на место. Если не подходить слишком близко, разрезы были почти незаметны.

Пытался снова вернуться к рассуждениям о бацциллаз, он понял, что не может сосредоточиться ни на чем, кроме этого бродячего пса. К полному своему удивлению, он вдруг осознал, что уже в который раз шепчет молитву, в которой просит Господа защитить этого бродячего пса. Наступил момент, когда потребность веры в Бога стала непреодолимой, ему был необходим наставник и пастырь. Но, даже бормоча слова молитвы, он чувствовал себя неудобно: он знал, что может стать смешон себе в любую минуту.

Как-то ему все же удалось заглушить в себе голос иконоборца, и, несмотря ни на что, он продолжал молиться. Потому что он хотел этого пса, потому что нуждался в нем.

ГЛАВА 13

Утром, выйдя из дома, он не обнаружил ни молока, ни гамбургера.

Он окинул взглядом лужайку. На траве валялись две женщины — но пса не было.

Он с облегчением выдохнул. Слава тебе, Господи, — подумал он. И усмехнулся.

Будь я верующим, — подумал он, — я бы решил, что моя молитва была услышана.

И тут же начал бранить себя, что проспал момент, когда приходил пес. Наверное, это было на рассвете, когда улицы уже пусты. Чтобы так долго оставаться в живых, пес должен был иметь свой график. Но он-то, Нэвилль, должен был догадаться, проснуться и проследить.

В нем поселилась надежда, и показалось, что в этой игре, по крайней мере с едой, ему везло. Недолгое сомнение, что пищу съел не пес, а вампиры, быстро рассеялось. Приглядевшись, он заметил, что гамбургер был не вынут из чесночного ожерелья через верх, а выволочен в сторону, прямо через чеснок, на цементное крыльцо. Вокруг чашки все было в мельчайших еще не просохших капельках молока; так могла набрызгать только лакающая собака.

Прежде чем сесть завтракать, он выставил еще молока и еще кусок гамбургера, поставил их в тень, чтобы молоко не очень грелось. На мгновение задумавшись, он поставил рядом и чашку с холодной водой.

Подкрепившись, он свез женщин на огонь, а на обратной дороге захватил в магазине две дюжины банок лучшей собачьей еды, а также коробки с собачьими пирожными, собачьими конфетами, собачьим мылом, присыпкой от блох и жесткую щетку.

Господь Бог подумает, что у меня родился младенец или что-нибудь в этом роде, — думал он, с трудом волоча к машине полную охапку своих приобретений. Улыбка тронула его губы. — Зачем притворяться? Я уже год не был так счастлив, как сейчас.

То вдохновение, которое он испытал, увидев в микроскопе микроба, не шло ни в какое сравнение с тем, что он переживал в отношении к этому псу.

Он ехал домой на восьмидесяти милях в час и не мог сдерживать своего разочарования, когда увидел молоко и мясо нетронутыми.

А чего же, черт возьми, ты ждал? — саркастически осадил он себя. — Собаки не едят раз в час каждый час.

Разложив собачьи принадлежности и консервы на кухонном столе, он взглянул на часы. Десять пятнадцать. Пес придет, когда проголодается. Терпение, — сказал он себе. — Имей же по крайней мере терпение. Хотя бы это.

Разобрав консервы и коробки, он осмотрел дом и теплицу. Опять рутина: одна отошедшая доска и одна битая рама на крыше теплицы.

Собирая чесночные головки, он снова задумался над тем, почему вампиры ни разу не подпалили его дом. Это было бы весьма тактично с их стороны. Может быть, они боятся спичек? Может ли быть, что они слишком глупы для этого? Надо полагать, их мозги не способны на то, что они могли бы сделать раньше. Верно, при перемене состояния от живого к ходячему трупу в тканях происходит какой-нибудь распад.

Нет, плохая теория. Ведь среди тех, кто бродит ночью вокруг дома, есть и живые. А у них с мозгами должно быть все в порядке. Хотя кто его знает.

Он закрыл эту тему. Для таких задач он был сегодня не в настроении. Остаток утра он провел за приготовлением и развешиванием чесночных низанок. Однажды он пытался разобраться, почему чесночные зубки оказывают такое действие. Между прочим, в легендах всегда говорилось о цветущем чесноке. Он пожал плечами. Какая разница? Чеснок отгонял их — доказательство налицо. Можно поверить, что и цветы чеснока тоже действуют.

После ленча он устроился рядом с глазком, поглядывая на чашки и блюда. В доме было тихо, если не считать слабого гудения кондиционеров в спальне, ванной и кухне.

Пес появился в четыре часа. Нэвилль едва не задремал, сидя у глазка. Но вдруг вздрогнул и за-

фикси́ровал в поле зрения пса: тот, прихрамывая, пересекал улицу, не спуская с дома настороженного взгляда, с белыми очками вокруг глаз.

Интересно, что у него с лапой. Нэвиллю ужасно захотелось вылечить пса, чтобы заслужить его доверие.

Это не лев, и ты не Андрокл, — уныло подумал Нэвилль.

Затаившись, он жадно наблюдал. Совершенно невообразимое ощущение естественности и тепла охватило его при виде лакающего молоко пса. Смачно хрустя челюстями и чавкая, пес слопал гамбургер. Нэвилль, уставившись на него в глазок, улыбался с такой нежностью, о какой не мог даже и подозревать. Это был просто восхитительный пес.

Нэвилль судорожно сглотнул, увидев, что пес уже доел и собрался уходить.

Вскочив с табуретки, он хотел броситься на улицу, вслед за псом, но остановил себя. Нет, так не выйдет, — смирился он, — так ты только спугнешь его. Оставь его в покое, просто оставь.

Снова прильнув к глазку, он увидел, как пес, перебежав улицу, скрылся между теми же двумя домами. Он почувствовал ком в горле, когда пес пропал из виду. Ничего, — успокоил себя Нэвилль, — он еще вернется.

Оставив свой наблюдательный пост, Нэвилль смешал себе некрепкий напиток. Потягивая из бокала свой коктейль, он рассуждал, где этот пес может прятаться ночью. Сначала он беспокоился, что не может взять пса под защиту своего дома, но потом решил, что если уж пес прожил так долго, то он должен быть истинным мастером в смысле прятаться.

Возможно, — рассуждал он, — это одно из тех редких исключений, которые не следуют законам статистики. Каким-то образом, должно быть благодаря везению, совпадению, а может быть, и некоторому

искусству, этому псу удалось избежать эпидемии и прочих, уже пострадавших от нее...

Все это наводило на размышления. Если пес, со своим ограниченным умишком, смог пройти через все это, то разве человек, с его способностью логически мыслить, не обладал лучшими шансами на выживание?

Он постарался переключиться: слишком опасно, слишком тяжело надеяться на что-либо — это уже давно стало для него истиной.

Пес снова пришел на следующее утро.

На этот раз Роберт Нэвилль открыл входную дверь и вышел. Пес мгновенно метнулся прочь от тарелки и чашек, прижал правое ухо и сломя голову драпанул через улицу. Нэвилля так и подмывало броситься следом, но он подавил в себе инстинкт преследования и, как мог непринужденно, уселся на краешек крыльца.

Перебежав улицу, пес направился промеж домов и скрылся. Посидев минут пятнадцать, Нэвилль зашел в дом.

После завтрака на скорую руку он вышел и добавил псу в тарелку еще немного еды.

Пес вернулся в четыре часа. Нэвилль снова вышел, но на этот раз дождавшись, пока пес поест. Тот снова сбежал, но, видя, что его не преследуют, на мгновение остановился на другой стороне улицы и оглянулся.

— Все в порядке, малыш, — крикнул ему Нэвилль, но, услышав голос, пес поспешил скрыться.

Нэвилль опустил на крыльцо и, не в силах сдержать себя, заскрежетал зубами.

— Вот ведь чертова тварь, — бормотал он, — проклятая шавка.

Он представил себе, через что должен был пройти этот пес — бесконечные ночи в каких-нибудь тесных потайных убежищах, куда он заползал Бог знает как

и сдерживал дыхание, чтобы уберечься от рыскающих вокруг вампиров. Он должен был отыскивать себе еду и питье, вести борьбу за жизнь в одиночку, без хозяев, давших ему такое неприспособленное к самостоятельной жизни тело.

Бедное существо, — подумал он, — когда ты придешь ко мне и будешь жить у меня, я буду ласков с тобой.

Быть может, у собак больше шансов выжить, чем у людей. Собаки мельче, они могут прятаться там, куда вампир не пролезет. Они могут учуять врага среди своих — у них же прекрасное обоняние.

Но от этих рассуждений ему не стало легче. Он по-прежнему, несмотря ни на что, тепил себя надеждой, что однажды он найдет подобного себе, — все равно, мужчину, или женщину, или ребенка. Теперь, когда стинуло человечество, секс терял свое значение в сравнении с одиночеством. Иногда он даже днем позволял себе немного грезить о том, как он встретит кого-нибудь, но обычно старался убедить себя в том, что искренне считал неизбежностью — что он был единственным в этом мире. По крайней мере в той части мира, которая была ему доступна.

Погрузившись в эти размышления, он едва не забыл о приближении сумерек. Стряхнув с себя задумчивость, он бросил взгляд — и увидел бегущего к нему через улицу Бена Кортмана.

— Нэвилль!

Вскочив с крыльца, он, спотыкаясь, вбежал в дом, захлопнул за собой дверь и дрожащими руками заложил засов.

Какое-то время он выходил на крыльцо, как только пес заканчивал свою трапезу. И всякий раз, едва он выходил, пес спасался бегством. Но с каждым днем его бегство становилось все менее и менее стремительным, и вскоре пес уже останавливался посреди улицы,

оборачивался и огрызался хриплым лаем. Нэвилль никогда не преследовал его, но усаживался на крыльце и наблюдал. Таковы были правила игры.

Но однажды Нэвилль занял свое место на крыльце до прихода пса и остался сидеть там, когда пес уже появился на другой стороне улицы.

Минут пятнадцать пес подозрительно крутился на улице, не решаясь приблизиться к пище. Нэвилль отодвинулся от мисок как можно дальше, стараясь неподвижностью внушить псу свои добрые намеренья. Но, задумавшись, он закинул ногу на ногу, и пес, испуганный резким движением, метнулся прочь.

Нэвилль перестал шевелиться, и пес снова стал медленно приближаться, неустанно перемещаясь по улице взад-вперед и переводя взгляд то на миску с едой, то на Нэвилля, и обратно.

— Ну, иди, малыш, — сказал Нэвилль, — поешь. Это для тебя, малыш. Ты же хороший песик.

Прошло еще минут десять.

Пес был уже на лужайке и двигался концентрическими дугами, длина которых все сокращалась. Он остановился. И медленно, очень медленно, переставляя лапу на лапу, стал приближаться к чашкам, ни на мгновение не спуская глаз с Нэвилля.

Ну вот, малыш, — тихо сказал Нэвилль.

На этот раз от звука его голоса пес не вздрогнул и не сбежал. Но Нэвилль все же сидел неподвижно, следя, чтобы не спугнуть пса малейшим неожиданным жестом.

Пес крадучись приближался к тарелкам. Тело его было напряжено как пружина, малейшее движение Нэвилля готово взорвать его.

— Вот и хорошо, — сказал Нэвилль псу.

Вдруг пес метнулся к мясу, схватил его и рванулся прочь, через улицу. И вслед хромотому псу, изо всех сил спасающемуся бегством, неся довольный смех Нэвилля.

— Ах ты, сукин сын, — с любовью проговорил он.

Он сидел и наблюдал, как пес ест. Улегшись на пожухлую траву на другой стороне улицы, пес, не сводя глаз с Нэвилля, налегал на гамбургер.

Вкушай, — думал Нэвилль, глядя на пса, — теперь тебе придется обходиться собачьими консервами, я больше не могу себе позволить кормить тебя свежим мясом.

Прикончив мясо, пес снова перешел улицу, но уже не так опасно. Нэвилль продолжал сидеть неподвижно, ощущая внезапно учатившийся пульс и чувствуя, что волнуется. Пес начинал верить ему, и это повергало его в какой-то трепет. Он сидел, не сводя глаз с пса.

— Вот и хорошо, малыш, — услышал он собственный голос. — Запей теперь. Здесь твоя вода. Хороший песик.

Счастливая улыбка неожиданно озарила его лицо, когда он заметил, как пес приподнял свое здоровое ухо. Он слушает! — восхищенно подумал он. — Он слышит и слушает меня, этот маленький сукин сын!

— Ну, иди, малыш, — он рад был продолжать этот разговор, — попей теперь водички, молочка. Ты хороший песик, я не трону тебя. Вот, молодец.

Пес приблизился к воде и стал осторожно лакать, вдруг поднимая голову, чтобы оглянуться на Нэвилля, и снова склоняясь к чашке.

— Я ничего не делаю, — сказал псу Нэвилль.

Он никак не мог привыкнуть к странному звучанию собственного голоса. Не слыша своего голоса почти год, к нему трудно было привыкнуть. Год в молчании — это много.

Ничего, когда ты поселишься у меня, — думал Нэвилль, — я, наверное, напрочь заговорю твое пока еще здоровое ухо.

Пес допил воду.

— Иди сюда, — сказал Нэвилль, призывно похлопав себя по ляжке, — ну, иди.

Пес удивленно посмотрел на него, снова поводя своим здоровым ухом.

Что за глаза, — подумал Нэвилль, — что за необъятное море чувств в этих глазах. Недоверие, страх, надежда, одиночество, — все в этих огромных карих глазах. Бедный малыш.

— Ну, иди же, малыш, я не обижу тебя, — ласково сказал он.

Нэвилль поднялся — и пес сбегал. Постояв, глядя вслед убегающему псу, Нэвилль медленно покачал головой.

Дни шли. Каждый день Нэвилль сидел на крыльце, дожидаясь, пока пес поест, ласково. И пес уже почти без опаски, уже почти смело приближался к своей тарелке и чашкам, уже с уверенностью, с видом пса, сознающего свою победу над человеком.

И каждый раз Нэвилль беседовал с ним.

— Ты хороший малыш. Кушай свою еду, кушай. Ну что, вкусно? Конечно, вкусно. Это я кормлю тебя, я твой друг. Билл, малыш, все в порядке. Ты хороший пес. — Он бесконечно говорил, подбабривал и наставлял, стараясь заполнить перепуганное сознание пса своими ласковыми речами.

И великий раз Нэвилль садился чуть-чуть ближе к мискам, пока не настал день, когда он мог бы протянуть руку и дотронуться до пса, если бы чуть-чуть наклонился. Но он не сделал этого.

Я не должен рисковать, — сказал он себе. — Я не могу, не хочу, не должен спугнуть его.

Но как трудно было удержаться. Он буквально чувствовал зуд, руки его горели желанием дотянуться до пса и погладить его по голове. Желание любить и ласкать пыталось овладеть его разумом, а этот пес, — о, это был такой пес! — восхитительный до безобразия! В ходе длительных бесед пес привык к звуку

голоса и теперь даже не оглядывался, когда Нэвилль начинал говорить.

Пес теперь появлялся и уходил неторопливо, изредка свидетельствуя свое почтение с другой стороны улицы хриплым кашляющим лаем.

Теперь уже скоро, — сказал себе Нэвилль. — Скоро я смогу погладить его.

Дни шли, становясь неделями, и каждый час означал для Нэвилля сближение с его новым приятелем.

Но вот однажды пес не пришел.

Нэвилль чуть не свихнулся. Он так привык к этим визитам, что вокруг них теперь строился весь его распорядок. Все было ориентировано на ожидание пса и его кормежку. Исследования были заброшены и все отставлено в сторону в угоду желанию иметь в доме пса.

В тот день он измотал себе все нервы, обыскивая окрестности, громко окликая пса, но, сколько он ни искал, все было бесполезно, и он вернулся домой лишь к ужину и снова не смог есть.

А пес не пришел в тот день ужинать и наутро не пришел завтракать. И снова Нэвилль провел день в бесполезных попытках отыскать его.

Они добрались до него, — слышал он стучащие в мозг слова, предвестники паники, — эти грязные ублюдки добрались до него.

И все же он не мог в это поверить. Не мог позволить, не мог заставить себя поверить.

Вечером третьего дня он был в гараже, когда вдруг услышал снаружи металлический стук чашки. Он на вдохе рванулся наружу, навстречу дневному свету с воплем:

— Ты вернулся!

Пес нервно отскочил от чашки, с его морды капала вода.

У Нэвилля заколотилось сердце. Глаза у пса блестящие, и дыхание было тяжелым. Темный язык свисал на сторону.

— Нет, — пробормотал Нэвилль срывающимся голосом, — о, нет!

Пес все еще пятился в сторону улицы, и было видно, как дрожат его лапы. Нэвилль быстро уселся на ступеньку, заняв свое обычное место на крыльце, и тревожно замер.

О, нет, — мучительно соображал он, — о, Боже, нет!

Он сидел, глядя, как пес, конвульсивно подрагивая, жадными глотками лакает воду.

Нет, нет, это неправда!

Неправда! — бессознательно произнес он и протянул руку.

Пес немного отстранился и, оскалившись, глухо зарычал.

— Все в порядке, малыш, — примирительно сказал Нэвилль. — Я тебя не трону.

На самом деле он не создавал того, что говорит.

Пес ушел, и его не удалось остановить. Нэвилль попытался преследовать его, но тот скрылся прежде, чем можно было угадать, где он прячется. Должно быть, где-нибудь под домом, — решил Нэвилль, но от этого ему было мало проку.

В ту ночь он не смог заснуть. Он без усталости мерил шагами комнату, пил кофе чашку за чашкой и проклинал отвратительно замедлившееся время. Надо, надо забрать этого пса. И как можно скорее. Его необходимо вылечить.

Но как? — Он тяжело вздохнул.

Должен же быть какой-то способ. Даже при том малом знании, которым он обладал, способ должен был найтись.

Утром, когда появился пес, Нэвилль сидел рядом с чашкой и ждал. Слезы навернулись ему на глаза и губы дрогнули, когда он увидел, как тот, слабо прихрамывая, перешел улицу, подошел к мискам, но ничего не стал есть. Пес глядел еще печальнее, чем накануне.

Нэвиллю хотелось вскочить и схватить его, затащить в дом, лечить, нянчить.

Но он понимал, что если он сейчас прыгнет и промахнется, то все потеряно. Пес может уже никогда не вернуться.

Пока пес утолял жажду, Нэвилль несколько раз порывался погладить его, но всякий раз пес с рычанием отстранялся. Нэвилль попытался настоять:

— Ну-ка, прекрати, — сказал он твердо и жестко, но лишь перепугал пса, и тот отбежал прочь. Нэвиллю пришлось пятнадцать минут уговаривать его, чтобы он вернулся к чашке. Нэвилль с трудом выдерживал в голосе ласку и спокойствие.

На этот раз пес передвигался так медленно, что Нэвиллю удалось заметить дом, под который тот проскользнул. Рядом оказалась небольшая металлическая решетка, которой можно было бы перекрыть лаз, но он не хотел спугнуть пса. Кроме того, тогда пса было бы уже не достать, разве что через пол — а это потребовало бы много времени. Пса надо было заполучить как можно скорее.

Вечером пес не пришел, и Нэвилль отнес к тому дому тарелку с молоком и поставил внутрь лаза. Наутро тарелка была пуста. Он уже собирался вновь наполнить ее, но сообразил, что так пес, быть может, уже никогда и не выйдет. Он поставил тарелку перед своим крыльцом, моля Господа, чтобы у пса хватило сил до нее доползти. Неуместность такой молитвы нисколько не тронула его, так он был озабочен здоровьем пса.

В тот день пес так и не появился. К вечеру Нэвилль пошел заглянуть под дом, долго ходил взад, вперед и уже почти что оставил у лаза тарелку с молоком. Но — нет, так нельзя: так он никогда уже не выйдет.

Прошла еще одна бессонная ночь. И утром пес не появился. Нэвилль снова пошел к тому дому. Он

прикладывался ухом к отверстию лаза и слушал. Ни звука. Не слышно даже дыхания. Или он забрался куда-то вглубь, что его не слышно, или...

Нэвилль вернулся к своему дому и присел на крыльцо. Он не завтракал в этот день. Не обедал. Так и сидел.

Поздно вечером, медленно хромая и тяжело переставляя костлявые ноги, между домов появился пес. Нэвилль заставил себя сидеть смирно, не шевелясь, пока пес не подошел к еде, и затем, быстро соскочив с крыльца, схватил его.

Тот попытался цапнуть его, но Нэвилль правой рукой схватил его за морду и сжал челюсти вместе. Тощее тело, почти без шерсти, слабо пыталось вырваться, и в горле у пса рождались жалкие сдавленные и отрывистые стоны ужаса.

— Все хорошо, — повторял Нэвилль, — все будет хорошо, малыш.

Он торопливо отнес пса в свою комнату, где уже была приготовлена подстилка из одеял. Едва Нэвилль отпустил песью морду, как тот лязгнул на него зубами и, рванувшись всеми четырьмя, бросился к двери. Нэвилль прыгнул и успел преградить ему путь. Пес поскользнулся на гладком полу, но, восстановив равновесие, шмыгнул под кровать.

Нэвилль опустился на колени и заглянул под кровать. Из темноты на него глядела светящимися угольками пара перепуганных глаз и доносилось тяжелое срывающееся дыхание.

— Иди сюда, малыш, — в голосе Нэвилля не было радости. — Я не трону тебя. Ты же нездоров, тебе нужна помощь.

Но пес не собирался реагировать. Нэвилль в конце концов со стоном поднялся и вышел, закрыв за собой дверь. Он сходил за чашками, налил молока и воды и поставил их рядом с собачьей подстилкой.

На мгновение остановившись рядом со своей кроватью, он прислушался к горячему дыханию пса, и мучительная боль овладела им.

— Но почему, — жалобно пробормотал он, — почему же ты мне не веришь?

Собравшись ужинать, Нэвилль вдруг услышал ужасающие вопли и вой, доносящиеся из комнаты. Он вскочил и сломя голову бросился туда, распахнул дверь и щелкнул выключателем. В углу рядом с верстаком пес пытался вырыть в полу яму. Но линолеум не поддавался, пес в бессилии неистово когтил гладкую поверхность, и тело его содрогалось от горестного воя.

— Все в порядке, малыш, — торопливо проговорил Нэвилль.

Пес развернулся и забился в угол, шерсть дыбом, обнажив в оскале двойной ряд желтовато-белых зубов и предостерегая Нэвилля полубезумно kloкочущим гортанным рыком.

Нэвилль вдруг понял, в чем дело. Настала ночь, и перепуганный пес пытался закопаться в землю, чтобы спрятаться. Беспомощно наблюдая, как пес пытается забиться под верстак, он с трудом соображал, что же делать, и наконец стащил со своей кровати одеяло, подошел к верстаку и, наклонившись, заглянул под него.

Пес распластался вдоль стены, тяжело дрожа и захлебываясь булькающим хрипом.

— Все хорошо, малыш, — сказал Нэвилль, — все хорошо. — Он комом пропихнул одеяло под верстак, и пес вжался в стену еще сильнее. Нэвилль встал, отошел к двери и постоял минуту, беспомощно размышляя.

О, если бы я мог что-нибудь сделать. Но мне даже не приблизиться к нему.

Если пес скоро не смирится, — подумал он, — придется попробовать хлороформ. Тогда, по крайней

мере, можно будет осмотреть его лапу и, может быть, подлечить его.

Он вернулся на кухню, но есть не смог. В конце концов он вывалил содержимое своей тарелки в мусор, а кофе слил обратно в кофейник. В гостиной он приготовил себе коктейль и пригубил его. Вкус показался ему отвратительно пошлым. Отставив бокал, он мрачно отправился в спальню.

Пес закопался в складки одеяла и жался там, дрожа и беспомощно скуля.

Нет смысла сейчас пытаться что-то сделать с ним, — подумал Нэвилль, — он слишком перепуган.

Нэвилль отошел к своей кровати и сел, запустив пальцы в свои густые волосы, затем закрыл ладонями лицо.

— Вылечить его, вылечить, — повторял он, и руки его сжались в кулаки. Он внезапно встал, погасил свет и, не раздеваясь, лег в постель. Скинув сандалии, он услышал, как они шлепнулись на пол, и прислушался.

Тишина. Он лежал с открытыми глазами, глядя вверх.

Что же я лежу? — думал он. — Почему не пытаюсь ничего сделать?

Он перевернулся на бок. Надо немного поспать. Эти слова явились как-то сами собой. Но он знал, что не будет спать.

Лежа в полной темноте, он вслушивался в тихий песий скулеж.

Умрет, — думал он, — все равно умрет. Околеет. И я ничем его уже не спасу. Я ничего не могу.

Не в силах больше переносить эти звуки, он потянулся к выключателю, зажег лампочку над кроватью, встал и, в носках, не обуваясь, направился к псу. Сделав несколько шагов, он услышал, как пес вдруг стал вырываться, пытаясь освободиться от одеяла, но запутался. Оказавшийся крепко спеленутым,

пес в ужасе начал вопить, молотить лапами и извиваться, но шерстяная ткань крепко удерживала его.

Нэвилль опустился на колени и положил руку сверху на одеяло. Оттуда донесся сдавленный рык, и пес щелкнул зубами, пытаясь укусить его сквозь одеяло.

— Вот и хорошо, — сказал Нэвилль, — ну, перестань.

Но пес продолжал сопротивляться. Он кричал и визжал не переставая, тощее его тело извивалось невообразимо и без остановки.

Нэвилль твердо положил свои руки, аккуратно сдерживая беснующегося пса, и тихо, ласково стал разговаривать с ним:

— Все хорошо, приятель. Теперь все будет хорошо. Никто тебя не обидит. Полегче, полегче. Ну, давай, отдохни немного, отдохни, малыш. Успокойся. Расслабься. Вот хорошо, расслабься. Вот так. Утихомирься. Никто тебя не собирается обижать. Мы о тебе теперь позаботимся.

Он говорил и говорил, время от времени замолкая, и его низкий голос гипнотизирующим бормотанием заполнял тишину комнаты. Прошло около часа, и постепенно, нерешительно, конвульсивная дрожь пса стала отступать.

Улыбка тронула губы Нэвилля, но он продолжал и продолжал говорить.

— Вот и хорошо. Ты это полегче, полегче, приятель. Мы теперь о тебе будем заботиться.

Вскоре пес успокоился, и сильные руки Нэвилля радостно ощущали его жесткое жилистое тело, и лишь отрывистое дыхание доносилось из-под одеяла. Нэвилль стал гладить его голову, проводя затем рукой вдоль всего тела, поглаживая, похлопывая и успокаивая.

— Ты хороший пес, — нежно твердил он, — хороший пес. Теперь я за тобой буду ухаживать. Теперь никто тебя не обидит. Ты меня понимаешь? Эй, па-

рень? Конечно, понимаешь. А как же иначе. Ведь ты мой пес. Мой. Верно?

Он аккуратно сел на прохладный линолеум, продолжая оглаживать пса.

— Ты у меня хороший пес. Хороший.

Его тихий мягкий голос был полон нежности, самоотречения и преданности.

Примерно через час Нэвилль взял пса на руки. Тот сначала вырывался и стал вопить, но тихий и ласковый разговор снова успокоил его.

Нэвилль сидел на своей кровати, держа спеленутого в одежде пса на коленях, и гладил его. Он сидел так час за часом, поглаживая и лаская пса, беседуя с ним. Пес затих на его коленях и стал дышать как будто ровнее.

Было уже далеко за полночь, когда Нэвилль медленно, аккуратно отвернув край одеяла, высвободил псу голову.

Некоторое время пес еще не давал погладить себя, отдергивал голову и слабо огрызался. Но Нэвилль продолжал тихо и спокойно беседовать, и через некоторое время его руке было дозволено ощутить тепло собачьей шен. Он нежно тормозил пса, ласково запуская пальцы в редкую шерсть, прочесывая и нежно перебирая ее.

Он улыбался псу, проглатывая душившие его слезы радости.

— Тебе скоро станет лучше, — шептал он. — Теперь скоро. Совсем скоро.

Пес глядел мутноватым, больным взглядом и вдруг, целиком вывалив свой бурый язык, коротко и влажно лизнул ему ладонь.

Что-то высвободилось внутри Нэвилля, и он рыдался. Он сидел молча, сотрясаемый беззвучным рыданием, и слезы катились по его щекам...

На шестой день пес издох.

ГЛАВА 14

На этот раз Нэвилль не запил. Наоборот. Он вдруг заметил, что пить стал меньше. Что-то переменялось. Пытаясь разобраться в этом, он пришел к заключению, что последний запой привел его на самое дно, в самый надир отчаяния, разочарования и безысходности. Отсюда не было пути вниз — разве что зарыться в землю, — теперь был единственный путь: вверх.

После нескольких недель надежд и хлопот, связанных с этим псом, находясь в сумерках энтузиазма, он вновь ощутил, что великая мечта никогда не давала и не даст никакого полезного выхода, и в особенности здесь, в этом мире перманентного, непроходящего ужаса, где действительность не давала возможности даже раствориться и утонуть в своих счастливых грезах. К ужасу можно было привыкнуть, но его монотонное однообразие не давало расслабиться, и именно это и было главным препятствием. Только теперь он отчетливо осознал это. Впрочем, осознав, он стал спокойнее относиться: теперь в игре все козыри оказались раскрыты, и, оценив расклад, он мог просчитывать варианты и принимать решения.

Он схоронил пса, и отчаяние не скрутило его, вопреки ожиданиям. Он хоронил лишь свои надежды, которые, ясно, были шиты белыми нитками. Он хоронил свои неискренние восторги и несбыточные мечты. И так он принял законы заточения, ставшие законом его жизни, и перестал искать спасения в безрассудных вылазках и биться головой в стены, оставляя на них кровавые следы. И так он смирился.

И, отрекшись от своих иллюзий, вернулся к работе.

Это случилось год назад, через несколько дней после того, как он во второй и последний раз навсегда простился с Вирджинией.

Он был опустошен. Мрачно переживая свою потерю, он, безвольно сутулясь, бесцельно бродил по улицам.

Близились сумерки. Он шел, едва волоча ноги, и в его походке без труда читалось отчаяние. Лицо его не выражало ничего, хотя душа молила о помощи и звала... Кого? В глазах его зияла пустота.

Он бродил по улицам уже не первый день с тех пор, как понял, что не может возвращаться в свой опустевший, осиротелый дом, и ему было все равно куда идти, лишь бы не видеть этих пустых комнат и этих вещей — таких обычных и таких знакомых. Еще недавно они вместе трогали и изучали их... Он не мог видеть кроватку Кэтти и ее одежду, все еще висевшую в стенном шкафу.

Он не мог смотреть на постель, в которой они спали с Вирджинией, на ее платья, духи и столик. Он был не в состоянии даже просто приблизиться к своему дому.

Он бродил и бродил, не зная, куда идет, как вдруг оказался внутри какой-то толпы, огромной, спешащей. Какие-то люди обступили его. Один из них схватил его за руку идохнул чесночным духом прямо в лицо.

— Пойдем, брат, пойдем с нами, — сказал незнакомец громким шепотом, хрипя словно простуженный или сорвавший голос от крика. У него дергался каждый, и Нэвилль заметил тощую и потную индюшачью шею, горячий румянец на щеках, нездоровый блеск глаз. Черное одеяние было испачкано и измято.

— Пойдем с нами, брат, и ты будешь спасен! Спасен!!

Роберт Нэвилль, ничего не понимая, уставился на него, а человек тащил его за собой, намертво вцепившись рукой в его запястье.

— Еще не поздно, — говорил он. — О, брат, спасти себя никогда не поздно. Спасение придет к тому...

Последние его слова потонули в гуле толпы, роившейся под навесом, к которому они приближались, — словно гул моря, заточенного в брезент и шумящего, норовя вырваться на свободу. Роберт Нэвилль сделал попытку освободиться.

— Но я не хочу...

Ревущее море толпы поглотило их. Толпа заполняла под навесом все пространство. Топот, крики, рукоплесканья захлестывали и лишали ориентации.

Ему вдруг стало дурно. Он почувствовал сердцебиение, закружилась голова, он остушился, и все поплыло перед глазами. Кругом него текла людская толпа — сотни, тысячи. Вздываясь и опадая, людской поток хлестал вокруг него, и Роберт Нэвилль понял, что тонет, — он не разбирал ни одного слова из того, что кричали вокруг. Он вообще не понимал, что происходит.

Вопли утихли, и он услышал голос, врезающийся в полусумрачное сознание толпы словно трубный глас, слегка искаженный усиливающей аппаратурой, с подвизгиваньем рвущийся из мощных динамиков.

— Хотите ли вы устраситься Святого Креста Господня? Хотите ли вы заглянуть в зеркало и не увидеть там лика своего, которым всемогущий Господь надарил вас? Хотите ли вы, уподобясь тварям адовым, раскопать могилу свою, дабы выйти проклятыми вновь на свет Божий?

Голос лился, вещал, приказывал, наставлял, иногда срываясь на хрип.

— Хотите ли вы превратиться в черных тварей богомерзких? Хотите ли вы, уподобясь тем тварям, что плодятся в преисподней, подобно летучим мышам, кощунственно пошлить вечернее небо своими гадкими крыльями? Я спрашиваю вас, хотите ли вы стать богомерзкими тварями, облеченными вечным проклятием ночи и вечным изгнанием Господним?

— Нет! — в ужасе вопила толпа.

— Нет! Спаси нас!!

Роберт Нэвилль попятился. Он наткнулся на кого-то; это были прихожане, и вид их рисовал картину искренней веры: они простирали пред собой руки, лица их были бледны, губы обескровлены, и крик их, вероятно, должен был вызвать манну небесную из низкой брезентовой тверди небесной.

— Да, говорю я вам, воистину говорю я вам, слушайте же слова Господни. Воистину, распространится зло, и пойдет оно от народа к народу, и будет жатва Господня в тот день на всей земле, от края до края. Скажите же, разве я обманываю вас? Разве я лгу?

— Нет, нет!!!

— И далее, говорю я вам, лишь одно спасет нас. Только одно. Когда же не будем мы чисты и безгрешны, как дети, в глазах Господа, когда не встанем мы всем миром и не пропоем славу Господу Всемогущему и его единственному сыну Иисусу Христу — когда не падем мы на колени и не раскаемся в грехах наших тяжких и страшных, — то будем же мы прокляты! Слушайте же люди, что говорю вам я, — слушайте! Будем же мы прокляты! Прокляты! Прокляты!

— Аминь!!!

— Спаси нас!

Толпа смешалась, со всех сторон неслись вопли, люди, выкатив глаза, визжали от страха. Вопли безумия смешивались со славословиями.

Роберт Нэвилль был потерян, затоптан. Он задыхался в этой мясорубке людских надежд, в этом угаре страстей, сжигаемых на костре преклонения пред тем, кто сулил спасение.

— Бог наказал нас за наши прегрешения великие, Бог лишил нас своей благодати и обрушил на нас свой великий гнев, он наслал на нас второй потоп — пожравшее весь мир нашествие созданий адовых, изшедших из своих могил. Господь отпер гробницы.

Отвратил умерших от своих надгробий — и напустил их на нас. Изошли умершие от ада и смерти, и это было слово Господне. О, Боже, ты наказал нас, увидев страшный лик прегрешений наших. И обрушил на нас силу гнева своего всемогущего. О, Боже!

Рукоплескания, подобные беспорядочной стрельбе, потные тела, колыхающиеся, словно трава на ветру, вой тех, кто одной ногой стоял уже в могиле, и крики тех, что были еще живы и пытались сопротивляться. Роберт Извилль протискивался сквозь плотные ряды, сторонясь этих блеклых лиц и простертых рук, словно сквозь толпу слепых, ошупью отыскивающих свое убежище.

Наконец он выбрался оттуда, весь взмокший, дрожащий нервной дрожью, и, спотыкаясь, побрел прочь. Там, под навесом, продолжали кричать люди — а на улицу уже спускалась ночь.

Он вспоминал это, сидя в гостиной, потягивая мягкий коктейль, с книгой по психологии на коленях.

Полет мысли, унесшей его в прошлое, в тот день, когда он был втянут в это дикое бесноватое сборище, был вызван только что прочитанной фразой.

«Это состояние, известное под названием истерической слепоты, может быть частичным или полным и может охватывать одного, несколько или целую группу индивидов».

Вот такая цитата отправила его в прошлое и заставила размышлять.

Вызревало нечто новое. Раньше он пытался приписать все атрибуты и свойства вампира проявлениям бациллы, и, если что-нибудь не сходилось, и когда привлечение бацилл казалось бессмысленным, он всякий раз старался все свалить на предрассудки.

Но психология вносила в его построения нечто новое. Признаться, он вряд ли смог бы дать чему-либо

адекватное психологическое объяснение, поскольку сам не вполне доверял таким объяснениям. Но, по-немногу освобождаясь от своих предубеждений, он находил в этих объяснениях все больше и больше смысла.

Он теперь действительно понимал, что отнюдь не все может быть объяснено с чисто физических или даже физиологических позиций. Есть область, где правит психология. Теперь, сформулировав и приняв это как факт, можно было лишь удивляться, как он упустил из виду этот патентованный ответ на многие тревожившие его вопросы. Надо было быть просто слепым, чтобы пройти мимо.

Что же, я всегда был слеповат, — думал он. Но все-таки он был доволен.

Стоит поразмышлять над тем, какой шок перенесли люди, ставшие жертвами этой заразы.

Жуткий страх перед вампирами был распространен желтой прессой по всему свету, во все уголки. Он вспоминал кипы псевдонаучных статей, раскручивавших кампанию нагнетания страха, за которыми не стояло ничего, кроме дешевого расчета на увеличение тиража и ходкую торговлю.

В этом был какой-то восхитительный гротеск: шизофренические попытки поднять тираж в те дни, когда мир умирал. Правда, не все газеты пошли этим путем. Те, что жили с честью и достоинством, так же и умирали.

Желтая пресса, надо сказать, в последние дни расцвела. Она распространялась с небывалым успехом. Очень популярны стали также разговоры о воскрешении из мертвых. Примитивное, как всегда, побеждало, потому что было легко понятно и общедоступно. Но что толку? Верующие умирали наравне с остальными — вера не спасала их. Зато дикий страх перед грядущей участью холодил их жилы и пропи-

тивал все их существование безумным предсмертным ужасом.

Верно, — рассуждал Роберт Нэвилль, — и все их потайные, глубинные страхи потом подтверждались. И притом самым жутким образом: очнуться вдруг в душевной темноте гроба или просто придавленным горячей тяжестью еще рыхлой земли и осознать, что смерть уже наступила, но не принесла избавления. Осознать себя выкапывающимся из могилы и ощутить в себе это новое, трижды проклятое настойчивое и страшное желание...

От такой встряски могли пострадать всякие остатки разума. Это был воистину смертельный шок — и этим можно было многое объяснить.

В первую очередь, крест.

Получив неопровержимые доказательства своего перерождения, они были прокляты, и разум их бежал прочь от центрального объекта их прошлой веры, главного символа — креста, и этот страх навсегда оказывался запечатлен в их мозгу. Так разворачивалась крестобоязнь.

Должно быть, внушенные при жизни страхи сохранялись у вампира где-то в сознании или в подсознании, и, так как он продолжал существовать, ненавидя себя, эта глубинная ненависть могла блокировать его разум настолько, что он оказывался слеп к своему собственному изображению — и потому мог действительно не видеть самого себя в зеркале. Ненависть к себе могла также объяснить тот факт, что они в массе своей боятся подходить друг к другу и в результате превращаются в этих одиноких ночных странников, нигде не находящих себе покоя. Они жаждут общения с кем-нибудь, с чем-нибудь, но находят успокоение лишь в полном одиночестве — порою просто закапываясь в землю, ставшую им теперь второй матерью.

А вода? Должно быть, все-таки предрассудок. Реминисценции народных сказок, где ведьмы не могли найти ручеек, — так, кажется, было написано у Тэм О'Шантера.

Ведьмы, вампиры, — у всех этих существ, наводящих легендарный страх, конечно, должно было появиться что-то общее, какое-то перекрестное сходство. Предания и предрассудки, как й следовало ожидать, перемешивались между собой, так же как и с действительностью.

А живые вампиры? Это тоже было просто.

В обычной жизни их следовало бы назвать ненормальными. Сумасшедшими. Теперь они надежно спрятались под маской вампиризма. Нэвилль теперь был абсолютно уверен, что все живые, собирающиеся ночью у его дома, — просто сумасшедшие, воображающие себя вампирами. Конечно, они тоже были жертвами, но жертвами иного плача — всего лишь умалишенными. Это объясняло, например, то, что дом его еще ни разу не пытались поджечь, что было бы очевидным шагом с их стороны. Но они были просто неспособны к логическому мышлению.

Он вспомнил человека, который однажды среди ночи забрался на фонарный столб перед домом и спрыгнул, безумно размахивая руками, — Нэвилль наблюдал это через глазок.

Тогда это показалось просто нелепо — теперь же объяснение было очевидно: тот человек возомнил себя летучей мышью.

Нэвилль сидел, глядя на свой бокал, и тонкая улыбка играла на его губах.

Вот так, — думал он, — медленно, но верно мы кое-что узнаём о них. Рухнул миф о непобедимости. Напротив! Они весьма чутки, чувствительны к условиям. Они — покинутые Господом твари — с большим трудом влачат свое тяжелое существование.

Он поставил бокал на край стола.

Мне это больше не нужно, — подумал он, — мои чувства и эмоции не нуждаются больше в этой подкормке. Мне теперь не нужно это питье — мне не от чего бежать. Я больше не хочу забывать, я хочу помнить, — и впервые с тех пор, как околел его пес, он улыбнулся и ощутил в себе тихое и уверенное удовлетворение. Многого предстояло еще понять, но значительно меньше, чем прежде. Странно, но осознание этого делало жизнь сносной, переносимой. Все глубже влезая в одежды схимника, он чувствовал, что готов нести их покорно, без крика, без стога, без жалоб.

Проигрыватель одобрял его решимость неторопливыми и торжественными аккордами... А снаружи, за стенами дома, его дожидались вампиры.

ЧАСТЬ III

июнь 1978

ГЛАВА 15

В тот день он разыскивал Кортмана. Это стало чем-то вроде хобби: свободное время он посвящал поискам Кортмана. Это было одно из немногих более или менее постоянных развлечений, одно из тех редких занятий, которые можно было считать отдыхом. Он занимался поисками Кортмана всякий раз, когда в доме не было срочной работы и не было особой нужды ехать куда-либо. Он заглядывал под машины, шарил в кустах, искал в очагах домов и клозетах, под кроватями и в холодильниках, короче, всюду, куда можно было бы втиснуть полноватого мужчину среднего роста и среднего телосложения.

Всякий раз Бен Кортман мог оказаться в любом из этих мест. Он наверняка постоянно менял свое укрытие.

Несомненно было, что Кортман знал, кого день за днем разыскивает Нэвилль — его, только его одного, и больше никого.

С другой стороны, Нэвиллю казалось, что Кортман, чувствуя опасность, словно смакует ее. Если бы не анахроничность формулировки, Нэвилль сказал бы, что у Бена Кортмана был особый вкус к жизни. Порой даже казалось, что Кортман теперь счастлив, так, как никогда в жизни.

Нэвилль медленно брел по Комптон-бульвару к следующему дому. Утро прошло без неожиданностей. Кортмана найти не удалось, хотя Нэвилль знал, что тот всегда прячется где-то поблизости. Это было абсолютно ясно, поскольку вечером он всегда появлялся первым. Остальные, как правило, были приبلудными. Текучесть среди них была велика, потому что утром большинство из них забирались в дома где-нибудь неподалеку, Нэвилль отыскивал их и уничтожал. Но только не Кортмана.

Нэвилль бродил от дома к дому и вновь размышлял о Кортмане: что же с ним делать, если наконец удастся отыскать. Правда, его планы на этот счет никогда не менялись: немедленно уничтожить. Но это был, конечно, поверхностный взгляд на вещи. На самом деле Нэвилль понимал, что сделать это будет нелегко. И дело не в том, что он сохранил к Кортману какие-то чувства, и даже не в том, что Кортман олицетворял что-то от той жизни, которая канула в небытие. Нет, прошлое погибло без возврата, и Нэвилль уже давно смирился с этим.

Это было что-то другое. Может быть, — решил Нэвилль, — просто не хотелось лишиться своего любимого занятия. Прочие казались такими скучными, глупыми, роботоподобными, а Бен, по крайней мере, обладал некоторым чувством юмора. По всей видимости, он почему-то не так оскудел умом, как остальные.

Иногда Нэвилль даже рассуждал о том, что Бен, возможно, был создан для того, чтобы быть мертвым. Воскреснуть, чтобы быть. Понятия как-то плохо стыковались между собой, и собственные фразы заставляли Нэвилля криво усмехаться.

Ему не приходилось опасаться, что Кортман убьет его, вероятность этого была ничтожно мала.

Нэвилль добрался до следующего крыльца и опустился на него с тяжелым вздохом. Задумчиво, не попадая рукой в карман, он наконец вытащил свою трубку. Лениво набил ее крупно резанным табаком и

утрамбовал большим пальцем. Через несколько мгновений вокруг его головы уже вились ленивые облачка дыма, медленно плывшие в неподвижном разогретом дневном воздухе.

Этот Нэвилль, лениво поглядывающий через огромный пустырь на другую сторону Комптон-бульвара, был гораздо толще и спокойней прежнего Нэвилля. Ведя размеренную отшельническую жизнь, он поправился и весил теперь двести тридцать фунтов. Располневшее лицо, раздобревшее, но по-прежнему мускулистое тело под свободно свисавшей одеждой, которую он предпочитал. Он уже давным-давно не брился, лишь изредка приводя в порядок свою густую русую бороду: два-три дюйма — вот та длина, которой он придерживался. Волосы на голове поредели и свисали длинными прядями. Спокойный и невыразительный взгляд голубых глаз резко контрастировал с глубоким устоявшимся загаром.

Он прислонился к кирпичной заваленке, медленно выпуская клубы дыма. Далеко, там, на другом краю поля, он знал, еще сохранилась в земле выемка, в которой была похоронена Вирджиния. Затем она выкопалась.

Мысль об этом не тронула его взгляд ни болью, ни горечью утраты. Он научился, не страдая, просто перелистывать страницы памяти. Время утратило для него прежнюю многомерность и многоплановость. Для Роберта Нэвилля теперь существовало только настоящее. А настоящее состояло из ежедневного планомерного выживания, и не было больше ни вершин счастья, ни долин разочарования.

Я уподобляюсь растению, — иногда думал он про себя, и это было то, чего ему хотелось.

Уже несколько минут Роберт Нэвилль наблюдал за маленьким белым пятнышком в поле, как вдруг осознал, что оно перемещается.

Моргнув, он напряг свой взгляд, и кожа на его лице натянулась. Словно вопрошая, он выдохнул и

стал медленно подниматься, левой рукой прикрывая глаза от солнца.

Он едва не прокусил мундштук.

Женщина.

Челюсть у него так и отвисла, и он даже не попытался поймать вывалившуюся под ноги трубку. Затаив дыхание, он застыл на ступеньке и вглядывался.

Он закрыл глаза и снова открыл их. Она не исчезла. Глядя на женщину, Нэвилль почувствовал все нарастающее сердцебиение.

Она не видела его. Она шла через поле, склонив голову, глядя себе под ноги. Он видел ее рыжеватые волосы, развеваемые на ходу теплыми волнами разогретого воздуха, руки ее были свободны, платье с короткими рукавами...

Кадык его дернулся: спустя три года в это трудно было поверить, разум не мог принять этого.

Он так и стоял, не двинувшись с места, в тени дома, уставившись на нее и изумленно моргая.

Женщина. Живая. И днем, на солнце. Он стоял, раскрыв рот, и пялился на нее.

Она была молода. Теперь она подошла ближе, и он мог ее рассмотреть. Лет двадцати, может быть, с небольшим. На ней было мятое и испачканное белое платье. Она была сильно загорелой. Рыжеволосой. Нэвилль уже различал в слепополуденной тишине хруст травы под ее сандалиями.

Я сошел с ума, — промелькнуло в его мозгу.

Пожалуй, к этому он отнесся бы спокойней, чем к тому, что она оказалась бы настоящей. В самом деле, он уже давно осторожно подготавливал себя к возможности таких галлюцинаций. Это было бы закономерно. Умирающие от жажды нередко видят миражи — озера, реки, полные воды, море. А почему бы мужчине, двинувшемуся от одиночества, не галлюцинировать женщину, прогуливающуюся солнечным днем по полю?

Он переключился внезапно: нет, это не мираж. Если только слух не обманывал его вместе со зрением, теперь он отчетливо слышал звук ее шагов, шелест травы и понял, что это все не галлюцинация — движение ее волос, движение рук... Она все еще глядела себе под ноги. Кто она? Куда идет? Где она была?

И тут его прорвало. Внезапно, мгновенно. Он не успел ничего понять, как инстинкт взял верх, в одно мгновение преодолев преграды, выстроенные в его сознании за эти годы. Левая рука его взлетела в воздух.

— Эй, — закричал он, соскакивая с крыльца на мостовую. — Эй, вы, там!

Последовала внезапная пауза. Абсолютная тишина. Она вскинула голову, и их взгляды встретились. Живая, — подумал он. — Живая.

Ему хотелось крикнуть еще что-то, но он вдруг почувствовал удушье, язык одеревенел и мозг застыл, отказываясь действовать.

Живая, — это слово, заиклившись, раз за разом повторялось в его сознании. — Живая. Живая, живая...

И вдруг, развернувшись, девушка обратилась в бегство — что было сил рванулась прочь от него, через поле.

Повилль неуверенно замялся на месте, не зная, что предпринять, но через мгновение рванулся за ней, словно что-то взорвалось у него внутри. Он грохотал ботинками по мостовой и вместе с топотом слышал свой собственный крик:

— Подожди!!!

Но девушка не остановилась. Он видел мелькание ее загорелых ног, она неслась по неровному полю как ветер, и он понял, что словами ее не остановить. Его кольнула мысль: насколько он был ошарашен, увидев ее, — настолько, и даже много сильнее, ее должен был испугать внезапный окрик, прервавший полуден-

ную тишину, а затем — огромный бородач, размахивающий руками.

Поги перенесли его через пешеходную дорожку, через канаву и понесли его в поле, вслед за ней. Сердце стучало словно огромный молот.

Она живая, — эта мысль занимала теперь все его сознание. — Живая. Живая женщина!

Она, конечно, бежала медленнее. Почти сразу Нэвилль заметил, что расстояние между ними сокращается. Она оглянулась через плечо, и он прочел в ее глазах ужас.

— Я не трону тебя, — крикнул он, но она не остановилась.

Вдруг она оступилась и упала на одно колено, вновь обернулась, и он опять увидел ее лицо, искаженное страхом.

— Я не трону тебя, — снова крикнул он.

Собрав силы, она отчаянно рванулась и снова кинулась бежать.

Теперь тишину нарушали только звук ее туфель и его ботинок, приминавших густую травяную поросль. Он выбирал проплешины и участки голой земли, куда нога ступала тверже, стараясь избегать густой травы, мешавшей бегу. Подол ее платья хлестал и хлестал по траве, и она теряла скорость.

— Стой! — снова крикнул он, но уже скорее инстинктивно, нежели надеясь остановить ее.

Она не остановилась, но, наоборот, прибавила скорость, и Нэвиллю, стиснув зубы, пришлось собрать силы и окончательно выложиться, чтобы продолжить эту гонку.

Нэвилль преследовал ее по прямой, а девчонка все время виляла, и расстояние быстро сокращалось. Ее рыжая шевелюра служила отличным маяком. Она уже была так близко, что он слышал ее сбившееся дыхание. Он не хотел напугать ее, но уже не мог остановиться. Он уже не видел ничего вокруг, кроме нее. Он должен был ее поймать. Ноги его, длинные,

в тяжелых кожаных ботинках, работали сами собой, земля гудела от его бега. И снова полоса травяной поросли. Оба уже запыхались, но продолжали бежать. Она снова глянула назад, чтобы оценить дистанцию, — он не представлял, как страшен был его вид: в этих ботинках он был шесть футов три дюйма ростом, огромный бородач с весьма решительными намерениями.

Выбросив вперед руку, он схватил ее за правое плечо.

У девушки вырвался вопль ужаса, и она, извернувшись, рванулась в сторону, но оступилась, не удержала равновесие и упала бедром прямо на острые камни. Нэвилль прыгнул к ней, собираясь помочь ей подняться, но она отпрянула и, пытаясь встать, неловко поскользнулась, и снова упала, на этот раз на спину. Юбка задралась у нее выше колен; едва слышно всхлипывая, она пыталась встать, в ее темных глазах застыл ужас.

— Ну, — выдохнул он, протягивая ей руку.

Она, тихо вскрикнув, отбросила его руку и вскочила на ноги. Он схватил ее за локоть, но она свободной рукой с разворота расплосковала ему длинными ногтями лоб и правую щеку. Он вскрикнул и выпустил ее, и она, воспользовавшись его замешательством, снова пустилась бежать.

Но Нэвилль одним прыжком настиг ее и схватил за плечи.

— Чего ты боишься.

Но он не успел закончить. Жгучая боль остановила его — удар пришелся прямо по лицу. Завязалась драка. Их тяжелое дыхание перемешалось с шумом борьбы — они катались по земле, подминая жесткую травяную стернь.

— Ну, остановись же ты, — кричал он, но она продолжала сопротивляться.

Она снова рванулась, и под его пальцами треснула ткань. Платье не выдержало и разошлось до пояса,

обнажая загорелое плечо и белоснежную чашечку лифчика.

Она снова попыталась вцепиться в него ногтями, но он перехватил ее запястья. Теперь он держал ее железной хваткой. Она ударила ему правой ногой под коленку так, что кость едва выдержала.

— Проклятье!

С яростным возгласом он вlepил ей с правой руки пощечину.

Она закачалась, затем посмотрела на него — в глазах ее стоял туман — и вдруг зашлась беспомощным рыданьем. Она осела перед ним на колени, прикрывая голову руками, словно пытаясь защититься от следующего удара.

Нэвилль стоял, тяжело дыша, глядя на это жалкое дрожащее существо, съежившееся от страха. Он моргнул. Тяжело вздохнул.

— Вставай, — сказал он, — я не причиню тебе вреда.

Она не шелохнулась, не подняла головы. Он стоял в замешательстве, глядя на нее и не зная, что сказать.

— Ты слышишь, я не трону тебя, — повторил он.

Она подняла глаза, но тут же отпрянула, словно испугавшись его лица. Она пресмыкалась перед ним, затравленно глядя вверх...

— Чего ты боишься? — спросил он, не сознавая, что в его голосе звучит сталь, ни капли тепла, ни капли доброты. Это был резкий, стерильный голос человека, уже давно уживавшегося с бесчеловечностью.

Он шагнул к ней, и она в испуге отпрянула. Он протянул ей руку.

— Ну, — сказал он, — вставай.

Она медленно поднялась, без его помощи. Вдруг заметив ее обнаженную грудь, он протянул руку и приподнял лоскут разорванного платья.

Они стояли, отрывисто дыша и с опаской глядя друг на друга. Теперь первое потрясение прошло, и

Нэвилль не знал, что сказать. Это был момент, о котором он мечтал уже не один год, во снах и наяву, но в мечтах его не случалось ничего подобного.

— Как... Как тебя зовут? — спросил он.

Она не ответила. Взгляд ее был прикован к его лицу, губы дрожали.

— Ну? — громко спросил он, и она вздрогнула.

— Р-руфь, — запинаясь, пролепетала она.

Звук ее голоса вскрыл что-то, до поры запертое в тайниках его тела, и с головы до пят его охватила дрожь. Сомнения отступили. Он ощутил биение своего сердца и понял, что готов расплакаться. Его рука поднялась почти бессознательно, и он почувствовал дрожь ее плеча под своей ладонью.

— Руфь, — сказал он. Голос его звучал пусто и безжизненно.

Он долго глядел на нее, потом сглотнул.

— Руфь, — снова сказал он.

Так они и стояли, двое, глядя друг на друга, мужчина и женщина, посреди огромного поля, разогретого солнцем.

ГЛАВА 16

Она спала в его кровати. Была половина пятого, и день клонился к закату. Раз двадцать по крайней мере Нэвилль заглядывал в спальню, чтобы посмотреть и проверить, не проснулась ли она. Сидя в кухне с чашкой кофе, он нервничал.

— А что, если она все-таки больна? — спорил он сам с собой.

Эта тревога пришла несколько часов назад, когда она не проспала в положенное время, а продолжала спать. И теперь он не мог избавиться от опасений. Как он ни уговаривал себя, ничего не помогало. Тревога, словно заноза, накрепко засела в нем. Да, она

была загорелой и ходила днем. Но пес тоже ходил днем.

Нэвилль нервно барабанил пальцами по столу.

Простота испарилась. Мечты угасли, обернувшись тревожной реальностью. Не было чарующих объятий, и не было волшебных речей. Кроме имени, он ничего от нее не добился. Скольких усилий ему стоило дотащить ее до дома. А заставить войти — и того хуже. Она плакала и умоляла его сжалиться и не убивать ее. Что бы он ни говорил ей, она лишь плакала, рыдала и просила пощадить.

Этот эпизод раньше представлялся ему в духе продукции Голливуда: с влажным блеском в глазах, нежно обнявшись, они входят в дом — и кадр постепенно меркнет. Вместо этого ему пришлось тянуть и уговаривать, браниться, убеждать и упрашивать, а она — ни в какую. О романтике оставалось только мечтать. В конце концов пришлось затащить ее силой.

Оказавшись в доме, она дичилась ничуть не меньше, и, как он ни старался ей угодить, она забилась в угол, съезжившись точь-в-точь как тот пес, и больше от нее было ничего не добиться. Она не стала ни есть, ни пить то, что он предлагал ей. В конце концов ему пришлось загнать ее в спальню и там запереть. И теперь она спала.

Он тяжело вздохнул и поправил на блюде чашку с кофе.

Все эти годы, — думал он, — мечтать о напарнике, и теперь — встретить и сразу подозревать ее... Так жестоко и бесцеремонно обходиться...

И все же ничего другого ему не оставалось. Слишком долго он жил, полагая, что он — последний человек, оставшийся на земле. Последний из обычных, настоящих людей. И то, что она выглядела настоящей, не имело значения. Слишком много видал он таких, как она, здоровых на вид, сморенных дневной комой. Но все они были больны, он знал это. Одного только факта, что она прогуливалась ярким солнеч-

ным днем по полю, было недостаточно, чтобы перевесить в сторону безоговорочного приятия и искреннего доверия: на другой чаше весов были три года, в течение которых он убеждал себя в невозможности этого. Его представления о мире окрепли и выкристаллизовались. Существование других таких, подобных ему, казалось невозможным. И после того, как поутихло первое потрясение, все его догматы, выдержанные и апробированные за эти годы, вновь заняли свои позиции.

С тяжелым вздохом он встал и снова отправился в спальню. Она была все там же, в той же позе. Может быть, она снова впала в кому.

Он стоял и глядел на нее, раскинувшуюся перед ним на кровати.

Руфь. Ах, как много он хотел бы знать про нее — но эта возможность вселяла в него панический страх. Ведь если она была такой же, как и остальные, — выход был только один. А если убивать, то лучше уж не знать ничего.

Он стоял, впившись взглядом в ее лицо — голубые глаза широко раскрыты, руки свисают вдоль туловища, кисти нервно подергиваются.

А что, если это была случайность? Может быть, она чисто случайно выпала из своего коматозного дневного сна и отправилась бродить? Вполне возможно. И все же, насколько ему было известно, дневной свет был тем единственным фактором, который этот микроб не переносил. Почему же это не убеждало его в том, что с ней все в порядке?

Что ж, был только один способ удостовериться.

Он нагнулся над ней и потряс за плечо.

— Проснись, — сказал он.

Она не реагировала.

Его лицо окаменело и пальцы крепко впились в ее расслабленное плечо.

Вдруг он заметил тонкую золотую цепочку, ниткой выщущуюся вокруг шеи. Дотянувшись своими грубыми

неуклюжими пальцами, он вытащил цепочку из разреза ее платья и увидел крохотный золотой крестик — и в этот момент она проснулась и отпрянула от него, вжавшись в подушки.

Это не кома, — единственное, что промелькнуло в его мозгу.

— Ч-что... тебе надо? — едва слышно прошептала она.

Когда она заговорила, сомневаться стало значительно труднее. Звук человеческого голоса был так непривычен, что подчинял его себе как никогда ранее.

— Я... Ничего, — сказал он.

Неловко попятившись, он прислонился спиной к стене. Продолжая глядеть на нее, он, после минутного молчания, спросил:

— Ты откуда?

Она лежала, глядя на него абсолютно пустым взглядом.

— Я спрашиваю, откуда ты, — повторил он.

Она промолчала.

Не отрывая взгляда от ее лица, он отделился от стены и сделал шаг вперед...

— Ин... Инглвуд, — неотчетливо проговорила она.

Мгновение он разглядывал ее — взгляд его был холоден, как лезвие бритвы, — затем снова прислонился к стене.

— Понятно, — отозвался он. — Ты... Ты жила одна?

— Я была замужем.

— Где твой муж?

Она напряженно сглотнула.

— Он умер.

— Давно?

— На прошлой неделе.

— И что ты делала с тех пор?

— Я убежала. — Она прикусила нижнюю губу. — Я убежала прочь оттуда...

— Не хочешь ли ты сказать... Что с тех пор ты бродила — все это время?..

— Д-да.

Он разглядывал ее молча. Затем вдруг, не говоря ни слова, развернулся и вышел в кухню, тяжело грохоча своими огромными башмаками. Он зачерпнул в кладовке пригоршню чеснока, всыпал зубки на тарелку, поломал их на кусочки и раздавил в кашу — резкий запах защекотал в носу. Когда он вернулся, она полулежала, приподнявшись на локте. Он беспардонно сунул тарелку ей прямо в лицо, и она отвернулась со слабым возгласом.

— Что ты делаешь? — спросила она и кашлянула.

— Почему ты отворачиваешься?

— Пожалуйста...

— Почему ты отворачиваешься?!

— Оно так пахнет, — ее голос сорвался на всхлипывания, — не надо, мне плохо от этого.

Он еще ближе придвинул тарелку. Всклипывая, словно задыхаясь, она отодвинулась, прижавшись спиной к стене, и из-под одеяла показались ее обнаженные ноги.

Пожалуйста, перестань, — попросила она.

Он забрал тарелку, продолжая наблюдать за ней. Она была вся напряжена, мышцы подрагивали, живот конвульсивно дергался.

— Ты — одна из них, — злобно сказал он. Голос его звучал глухо и бесцветно.

Вдруг выпрямившись, она села на кровати, вскочила и мимо него пробежала в ванную. Дверь захлопнулась за ней, но он все равно слышал, как ее рвало. Долго и мучительно.

Напряженно сглотнув, он поставил тарелку на столик рядом с кроватью. Он был бледен.

Инфицирована. Это было совершенно ясно. Еще год назад, и даже раньше, он установил, что чеснок является сильным аллергеном для любого организма, инфицированного микробом *vampiris*. Под действием

чеснока клетки любых тканей приобретали свойство аномальной реакции на чеснок при любом последующем воздействии. Именно поэтому внутренняя инъекция действовала слабо: специфические вещества не достигали тканей. А действие запаха было весьма эффективно.

Он тяжело опустился на кровать. Реакция этой женщины была явно не нормальной.

Новая мысль заставила Нэвилля задуматься. Если она говорила правду, она бродила уже около недели. В таком случае — усталость и истощение — в ее состоянии такое количество чеснока могло вызвать рвоту.

Он сжал кулаки и медленно, с силой, вдавил их в матрас. Значит, он ничего не мог сказать наверняка. И, кроме того, он знал, что даже то, что кажется очевидным, не всегда оказывается правдой, если тому нет адекватных доказательств. Эта истина далась ему трудом и кровью, и он верил в нее больше, нежели в самого себя.

Он все еще сидел, когда она открыла дверь ванной и вышла. Мгновение она задержалась в холле, глядя на него, и прошла в гостиную. Он поднялся и последовал за ней. Когда он вошел, она сидела в кресле.

— Ты доволен? — спросила она.

— Не твое дело, — ответил он, — здесь спрашиваю я, а не ты.

Она зло взглянула на него, словно собираясь сказать что-то, но вдруг сникла и покачала головой. На какое-то мгновение прилив симпатии захлестнул его: так беспомощно она выглядела, сложив тонкие руки на исцарапанных коленках. Похоже, что рваное платье ее вовсе не заботило. Он смотрел, как вздымается ее грудь, в такт дыханию. Она была стройной, худой, линии ее тела были почти прямыми. Никакого сходства с теми женщинами, которых он грезил себе иногда...

Не бери в голову, — сказал он себе. — Теперь это не имеет никакого значения.

Он сел в кресло напротив и посмотрел на нее. Она не встретила его взгляда.

— Послушай, — сказал он, — у меня есть все основания считать, что ты больна. Особенно после того, как ты реагировала на чеснок.

Она не ответила.

— Ты можешь сказать что-нибудь? — спросил он.

Она подняла взгляд на него.

— Ты считаешь, что я — одна из них, — сказала она.

— Я предполагаю это.

— А как насчет этого? — спросила она, приподнимая свой крестик

Это ничего не значит, — сказал он.

— День, а я не сплю, — сказала она, — не впадаю в кому.

Он промолчал. Возразить было нечего. Это было так, хоть и не утешало его сомнений.

— Я часто бывал в Ингвуде, — наконец проговорил он, — ты ни разу не слышала шум мотора?

— Ингвуд не такой узк маленький, — сказала она.

Он внимательно посмотрел на нее, отстукивая пальцами по подлокотнику.

— Хотелось бы... Хотелось бы верить, — сказал он.

— В самом деле? — спросила она.

Живот ее снова схватило судорогой, она застонала и, скрипнув зубами, сложилась пополам.

Роберт Нэвилль сидел, пытаясь понять, почему его больше нисколько не влечет к ней. Чувство — это такая штука, которая, однажды умерев, навряд ли воскреснет, — подумал он, не ощущая в себе ничего, кроме пустоты. Все прошло, и ничего, абсолютно ничего не осталось, только пустота.

Когда она вновь взглянула на него, ее взгляд было трудно выдержать.

— У меня с животом всю жизнь были неприятности, — проговорила она. — Неделю назад убили моего мужа. Прямо на моих глазах. Его разорвали на куски. Двое моих детей погибли во время эпидемии. А последнюю неделю я скиталась, приходилось прятаться по ночам, мне едва удалось несколько раз подкрепиться. Я так переболялась, что не могла спать, и просыпалась каждый раз, не проспав и часа. И вдруг этот страшный крик — а потом ты преследовал меня, бил. Затащил к себе в дом. И теперь ты суешь мне в лицо эту вонючую тарелку с чесноком, мне становится дурно, и ты заявляешь, что я больна!

Она обхватила руками колени.

— Как ты думаешь, что будет дальше? — зло спросила она.

Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Нервным движением попыталась поправить болтающийся лоскут платья, приладить его на место, но он не держался, и она сердито всхлипнула.

Он наклонился вперед. Чувство вины овладело им, безотносительно всех его сомнений и подозрений. С этим невозможно было бороться. Но женские всхлипывания ничуть не трогали его. Он поднял руку и стал сконфуженно приглаживать свою бороду, не сводя с нее глаз.

— Позволь, — начал он, но замолчал, сглотнул. — Позволь мне взять твою кровь для анализа. Я бы...

Она внезапно встала и направилась к двери. Он вскочил следом.

— Что ты хочешь сделать? — спросил он.

Она не отвечала. Ее руки беспорядочно пытались совладать с замком.

— Тебе нельзя туда, — сказал он удивленно, — еще немного, и они заполонят все улицы.

— Я не останусь, — всхлипнула она, — какая разница. Пусть лучше они убьют меня...

Он крепко взял ее за руку. Она попыталась освободиться.

— Оставь меня, — закричала она, — я не просила тебя затаскивать меня в этот дом. Отпусти меня. Оставь меня в покое. Чего тебе надо?..

Он растерянно стоял, не зная, что ответить.

— Тебе нельзя туда, — повторил он. Он отвел ее в кресло, затем сходил к бару и налил ей рюмочку виски.

Выбрось из головы, — приказал он себе, — инфицированная она или нет, — выбрось из головы.

Он протянул ей виски. Она отрицательно покачала головой.

— Выпей, — сказал он, — тебе станет легче.

Она сердито взглянула на него.

— ...И ты снова сможешь сунуть мне в лицо чеснок?!

Он покачал головой.

— Выпей это, — сказал он.

После короткой паузы она взяла рюмку и пригубила виски, закашлялась. Она отставила виски на подлокотник и, чуть вздрогнув, глубоко вздохнула.

— Зачем ты меня не отпустишь? — горько спросила она.

Он наглядывался в ее лицо и долго не мог ничего ответить. Затем сказал:

Даже если ты и больна, я не могу тебя отпустить. Ты не представляешь, что они с тобой сделают.

Она закрыла глаза.

— Какая разница, — сказала она.

ГЛАВА 17

— Вот чего я не могу понять, — говорил он ей за ужином. — Прошло уже почти три года, а они всё еще живы. Не все, конечно. Некоторые. Запасы продовольствия кончились. И, насколько я знаю, днем они по-прежнему впадают в кому, — он покачал

головой, — но они не вымирают. Вот уже три года — они не вымерли. Что-то их поддерживает, но что?

Она была в его банном халате. Около пяти часов пополудни она смягчилась, приняла душ и словно переменилась. Ее худенькая фигурка терялась в объемистых складках тяжелой махровой ткани. Она взяла его гребень, зачесала волосы назад и стянула их бечевкой, так что получился лошадиный хвост.

Руфь задумчиво поворачивала на блюдечке чашку с кофе.

— Мы иногда подглядывали за ними, — сказала она. — Правда, мы боялись подойти близко. Мы думали, что к ним опасно прикасаться.

— А вы знали, что после смерти они возвращаются?

Она покачала головой.

— Нет.

— И вас ни разу не заинтересовали эти люди, атаковавшие ваш дом по ночам?

— Нам никогда не приходило в голову, что они... — она медленно покачала головой. — Трудно в это поверить.

— Разумеется, — сказал он.

Они ели молча, и он время от времени поглядывал на нее. Так же трудно было поверить в то, что перед ним — настоящая, живая женщина; трудно было поверить, что после всего, что было за эти годы, у него появился напарник.

Он сомневался, пожалуй, даже не в ней самой: сомнительно было, что в этом потерянном, забытом богом мире могло произойти нечто подобное, воистину замечательное.

— Расскажи мне о них еще что-нибудь, — попросила Руфь.

Он поднялся, снял с плиты кофейник, подлил в чашку сначала ей, потом себе, оставил кофейник и снова сел.

— Как ты себя чувствуешь?

— Лучше, спасибо.

Он удовлетворенно кивнул и потянулся за сахарницей. Размешивая сахар, он почувствовал на себе ее взгляд. О чем она думает? Он глубоко вздохнул, пытаясь понять, почему он так скован. В какой-то момент он решил, что ей можно доверять, но теперь он снова сомневался.

— И все же, ты мне не веришь, — сказала она, словно читая его мысли.

Он быстро взглянул на нее и пожал плечами.

— Да нет... Не в этом дело.

— Конечно, в этом, — спокойно сказала она и вздохнула. — Что ж, хорошо. Если тебе надо проверить мою кровь — проверь.

Он подозрительно посмотрел на нее, недоумевая. Что это? Уловка? Он едва не поперхнулся кофе. Глупо, — подумал он, — быть таким подозрительным.

Он оставил чашку.

— Хорошо, — сказал он. — Это хорошо.

Он глядел на нее, а она — в свою чашку.

— Если ты все-таки заражена, — сказал он, — я сделаю все, что смогу, чтобы вылечить тебя.

Она встретилась с ним взглядом.

— А если не сможешь? — спросила она.

Он замешкался с ответом.

— Там видно будет, — наконец сказал он.

Некоторое время они пили кофе молча. Наконец он спросил:

— Так как, сделаем это сейчас?

— Пожалуй, — сказала она, — лучше утром. А то... Я себя все еще неважно чувствую.

— Ладно, утром, — кивнул он.

Трапеза закончилась в полном молчании. Нэвилль лишь отчасти был удовлетворен тем, что она согласилась позволить ему проверить кровь. Больше всего его пугала возможность обнаружить, что она действительно инфицирована. Теперь ему предстояло про-

вести с ней вечер и ночь и, может быть, узнать ее жизнь, увлечься ею, а утром ему придется...

Затем они сидели в гостиной, разглядывали фальшивую фреску, пили понемногу портвейн и слушали Шуберта. Четвертую симфонию.

— Я бы ни за что не поверила, — она, похоже, совсем пришла в себя и выглядела вполне веселой, — никогда бы не подумала, что снова буду слушать музыку. Пить вино.

Она оглядела комнату.

— Да, ты неплохо потрудился, — сказала она.

— А как было у вас? — спросил он.

— Совсем по-другому, — сказала она, — у нас не было...

— Как вы защищали свой дом? — прервал он.

— О! — Она на мгновение задумалась. — Мы обшили его, разумеется. И полагались на кресты.

— Это не всегда действует, — спокойно сказал он, некоторое время понаблюдав за ее лицом.

Это озадачило ее.

— Не действует?

— Отчего же иудею бояться креста? — сказал он. — Почему же вампир, при жизни бывший иудеем, должен бояться креста? Дело здесь в том, что большинство людей боялись превращения в вампиров. Поэтому большинство из них страдали истерической слепотой к собственному отражению в зеркале. Но крест — лишь постольку, поскольку — в общем, ни иудей, ни индуист, ни магометанин, ни атеист не подвержены действию креста.

Она сидела с бокалом в руке, глядя на него без всякого выражения.

— Поэтому крест действует отнюдь не всегда, — сказал он.

— Ты не дал мне закончить, — сказала она, — мы еще использовали чеснок.

— Я полагал, что тебе от него дурно.

— Просто я нездорова. Раньше я весила сто двадцать, а теперь только девяносто восемь фунтов.

Он согласно кивнул. Но, выходя в кухню за новой бутылкой вина, он подумал, что за это время она должна была привыкнуть — все-таки три года.

И все же могла не привыкнуть. Что толку сейчас сомневаться или не сомневаться — она же согласилась проверить кровь. Есть ли смысл ее опасаться? Ерунда, это просто мои заскоки, — подумал он, — я слишком долго оставался наедине сам с собой. Мне никогда уже ни во что не поверить, если это нельзя разглядеть в микроскоп. Снова торжествует наследственность, и снова я только лишь сын своего отца, еди его черви!

Стоя в темной кухне, Роберт Нэвилль пытался подколупнуть ногтем обертку на горлышке бутылки — и подглядывал в гостиную, где сидела Руфь.

Он внимательно разглядывал ее — складки ткани, спадающие вдоль тела, чуть намеченную выпуклость груди, икры и лодыжки, бронзовые от загара, и торчащие из-под халата узенькие гладкие коленки. Ее девичье тело определенно отрицало наличие двух детей. И что самое странное, подумал он, что он не чувствовал к ней никакого физического влечения. Если бы она пришла два года назад или немного позже, возможно, что он изнасиловал бы ее. Были такие ужасные дни. Были у него такие моменты, когда он в попытках найти выход своей жажде решался на невообразимое, и жил с этим в себе, доходя почти до безумия. Но затем он взялся за эксперименты. Бросил курить, перестал срываться в запой. Медленно и вдумчиво он занял себя исследованиями, и результат оказался поразительным: сексуальность безумствующей плоти утихла, почти что растворилась. Исцеление монаха, — думал он. Так и должно быть, иначе никакой нормальный человек не смог бы исключить секс из своей жизни — а были занятия, которые требовали этого.

И теперь, почти ничего не ощущая, он был счастлив. Разве что где-то в глубине, под каменным гнетом многолетнего воздержания, рождалось едва заметное, непривычное волнение. Он был даже доволен, что мог оставить его без внимания. В особенности потому, что не было уверенности в том, что Руфь — тот напарник, о котором он мечтал. Как не было уверенности в том, что ей можно будет сохранить жизнь дольше завтрашнего утра. Лечить?

Вылечить — маловероятно.

Он вернулся в гостиную с откупоренной бутылкой. Она сдержанно улыбнулась ему, когда он добавил ей в бокал вина.

— Восхитительная фреска, — сказала она, — она мне нравится все больше и больше. Если пристально взглядеться в нее, то словно оказываешься в лесу.

Он хмыкнул.

— Должно быть, это стоило большого труда, так наладить все в доме, — сказала она.

— Что говорить, — сказал он, — да вы и сами через все это прошли.

— У нас не было ничего подобного, — сказала она. — Наш дом был совсем маленьким. И морозильник у нас был раза в два меньше.

— У вас должны были кончиться продукты, — сказал он, внимательно разглядывая ее.

— Замороженные, — поправила она, — мы питались в основном консервами.

Он кивнул. Логично, нечего возразить. Но что-то не удовлетворяло его. Это было чисто интуитивное чувство, но что-то ему не нравилось.

— А как с водой? — наконец спросил он.

Она молча изучала его некоторое время.

— Ты ведь не веришь ни единому моему слову, правда? — спросила она.

— Не в этом дело, — сказал он, — просто мне интересно, как вы жили.

— Твой голос тебя выдает, — сказала она. — Ты так долго жил один, что утратил всякую способность притворяться.

Он хмыкнул. Было такое ощущение, что она играет с ним, и он почувствовал себя неудобно. Но это же забавно, — возразил он себе. — Все может быть. Она — женщина, у нее свой взгляд на вещи. Может быть, она и права. Наверное, он и есть грубый, ненадежно испорченный отшельничеством брюзга. Ну и что?

— Расскажи мне про своего мужа, — резко сказал он.

Что-то промелькнуло в ее лице, словно тень воспоминания. Она подняла к губам бокал, наполненный темным вином.

— Не сейчас, — сказала она, — пожалуйста.

Он откинулся на спинку кресла, пытаясь проанализировать владевшее им неясное чувство неудовлетворенности. Все, что она говорила и делала, могло быть следствием того, через что она прошла; а могло быть и ложью.

Но зачем ей лгать? — спрашивал он себя. — Ведь утром он проверит ее кровь. Какой может быть прок с того, что она солжет ему сейчас, если утром, всего через несколько часов, он все равно узнает правду?

— Знаешь, — сказал он, пытаясь смягчить паузу, — вот о чем я подумал. Если эту эпидемию пережили трое, то, может быть, где-то есть и еще?

— Ты полагаешь, это возможно? — спросила она.

— А почему нет? Наверное, по той или иной причине у людей мог сформироваться иммунитет, и тогда...

— Расскажи мне еще про этих микробов, — сказала она.

Он на мгновение задумался, аккуратно поставил бокал. Рассказать ей все? Или не стоит? А что, если она сбежит? И после смерти вернется, обладая всем тем знанием, которым он теперь обладал?

— Неохота пускаться в подробности, — сказал он. — Чертовски много всего.

— Ты перед этим что-то говорил про крест, — напомнила она, — как ты до этого дошел? Ты уверен?

— Помнишь, я говорил тебе про Бена Кортмана? — он обрадовался возможности пересказать то, что она уже знала, не вскрывая новых пластов информации.

— Это тот человек, который...

Он кивнул.

— Ага. Пойдем, — сказал он, поднимаясь, — я сейчас его тебе покажу.

Она глядела в глазок, и он, стоя за ее спиной, почувствовал запах ее тела, запах ее волос — и чуть-чуть отстранился. В этом что-то есть, — подумал он. — Мне не нравится этот запах. Как Гулливеру, вернувшемуся из страны ученых лошадей, этот человеческий запах мне отвратителен.

— Тот, что стоит у фонарного столба, — сказал он.

Определив, о ком идет речь, она утвердительно кивнула. Затем сказала:

— Их здесь совсем мало. С чего бы это?

— Я их истребляю, — сказал он, — но они не дают расслабиться. И всех никак не одолеть.

— Откуда там лампочка? — спросила она. — Я полагала, что вся электросеть разрушена.

— Она подключена к моему генератору специально для того, чтобы можно было за ними наблюдать.

— И они до сих пор не разбили ее?

— Там поставлен очень крепкий колпак.

— Они не пытались взобраться на столб и разбить?..

— Весь столб увешан чесноком.

Она покачала головой.

— У тебя все продумано до мелочей.

Отступив на шаг, он снова оглядел ее. Как она могла так мягко говорить и смотреть на них, — недоумевал он, — задавать вопросы, обсуждать, если

всего неделю назад такие же существа разорвали в клочья ее мужа.

Опять сомнения, — одернул он себя, — может, хватит?

Он знал, что конец этому теперь может положить только абсолютная уверенность.

Она прикрыла окошечко и обернулась.

— Прошу меня извинить, я на минуточку, — сказала она и проскользнула в ванную.

Он глядел ей вслед — дверь закрылась за ней, и щелкнула задвижка. Он аккуратно запер дверцу глазка и отправился к своему креслу. Ироничная усмешка играла на его губах. Он заглянул в глубину бокала, таинственную глубину темного коричневатого вина, и стал растерянно теревить свою бороду.

В ее последней фразе было что-то чарующее. Слова ее казались гротескным пережитком прошлой жизни, эпохи, которая давно закончилась. Он представил себе Эмили Пост, чопорно семенящую по кладбищенской дорожке. Следующая книга — «Правила этикета для молодых вампиров».

Улыбка сошла с его лица.

И что теперь? Что уготовило ему будущее? Что будет через неделю? Будет ли она все еще здесь, или же будет сожжена на вечном погребальном костре?

Он понимал, что если она инфицирована, то он должен будет сделать все возможное, чтобы вылечить ее, вне зависимости от результата. А что, если этих бацилл у нее не окажется? Эта возможность, пожалуй, сулила не меньшую нервотрепку. Так бы он жил себе и жил, следуя своему обычному распорядку... Но если она останется... Если придется устанавливать с ней какие-то отношения... Может быть, стать мужем и женой, рожать детей...

Такая возможность, пожалуй, пугала его гораздо больше. Он вдруг ощутил в себе болезненно раздражительного, косного мещанина, упрямого холостяка. Он и думать уже позабыл про жену и ребенка,

оставшихся в прошлой его жизни, и настоящего ему было вполне достаточно. Он испугался, что ему снова придется жертвовать и нести ответственность, и не хотел, боялся разделить свое сердце — с кем бы то ни было, не хотел снимать с себя те оковы одиночества, к которым он вполне привык. Уж лучше оставаться узником, чем снова полюбить и стать рабом женщины...

Когда она вышла из ванной, он все еще сидел в задумчивости. Он даже не заметил, что на проигрывателе крутилась отыгравшая пластинка и игла с легким треском скоблила ее.

Руфь сняла пластинку с диска, перевернула и вновь поставила ее — третью часть симфонии.

— Ну, так что про Кортмана? — спросила она, усаживаясь.

Он озадаченно посмотрел на нее.

— Кортман?

— Ты собирался рассказать что-то про него. И про крест.

— О, конечно. Видишь ли, однажды мне удалось заманить его сюда и показать ему крест.

— И что же случилось?

Убить ее сейчас? Может быть, не проверять, а просто убить и сжечь? — его кадык натужно дернулся. Эти мысли были данью его внутреннему миру — тому миру, который он для себя принял, миру, в котором было легче убить, чем надеяться.

Нет, все не так уж скверно, — подумал он. — Я все же человек, а не палач.

— Что-то случилось? — нервно спросила она.

— Что?

— Ты так смотрел на меня.

— Извини, — холодно сказал он. — Я... Я просто задумался.

Она ничего не сказала. Просто пила вино, но он видел, как дрожит в ее руке бокал. Он не хотел,

чтобы она разгадала его мысли, и попытался вернуть разговор в прежнее русло.

— Когда я показал ему крест, он просто рассмеялся мне в лицо.

Она кивнула.

— Но когда я показал ему Тору, реакция была такая, как я и ожидал.

— Что-что показал?

— Тору. Пятикнижие. Свод законов, Талмуд.

— И что? Подействовало?

— Да. Он был связан, но при виде Торы он взбесился, перегрыз веревку и напал на меня.

— И что дальше? — похоже, ее страх снова прошел.

— Он чем-то ударил меня по голове, не помню даже чем, и я почти что выключился, но не выпустил из рук Тору, и благодаря этому мне удалось оттеснить его к двери и выгнать.

— О-о.

— Так что крест вовсе не обладает той силой, что приписывает ему легенда. Моя версия такова: поскольку легенда как таковая циркулировала в основном в Европе, а Европа в основном заселена католиками, то именно крест оказался в ней символом защиты от нечистой силы, от всякого мракобесия.

— Ты не пытался пристрелить его, Кортмана?

— Откуда ты знаешь, что у меня есть оружие?

— Я... Я просто так подумала. — сказала она. — У нас были пистолеты.

— Тогда ты должна знать, что пули на вампиров не действуют.

— Мы... Мы не были в этом уверены, — сказала она и поспешно продолжала: — А ты не знаешь, почему? Почему пули не действуют?

Он покачал головой.

— Я не знаю, — сказал он.

В наступившем молчании они сидели, словно сосредоточенно слушая музыку.

Он знал, но сомнения снова взяли верх, и он не стал говорить ей.

Экспериментируя на мертвых вампирах, он обнаружил, что одним из факторов жизнедеятельности бактерий является великолепный физиологический клей, который практически моментально заклеивает пулевое отверстие. Рана мгновенно затягивается, и пуля обволакивается этим клеем, так что организм, уже поддерживаемый в основном бактериями, почти не замечает этого. Число пуль в организме могло быть практически неограниченным; стрелять в вампира было все равно что кидать камешки в бочку с дегтем.

Он молча сидел и разглядывал ее. Она поправила фалды халата, так что на мгновение обнажилось загорелое бедро. Не то чтобы очень взволновав его, внезапно открывшийся ему вид вызвал у него раздражение. Типично женский ход, — подумал он. — Хорошо отработанный жест. Демонстрация.

С каждой минутой он чувствовал, что все более удаляется от нее. Он был уже близок к тому, чтобы пожалеть, что подобрал ее. Столько лет он боролся за свое умиротворение, привыкал к одиночеству, свыкался с необходимым. Все оказалось не так уж плохо. И теперь... Все насмарку.

Пытаясь заполнить паузу, он потянулся за трубкой и достал кисет. Набил трубку и прикурил. Лишь мельком он задумался, должен ли он спросить ее разрешения, — и не спросил.

Музыка умолкла. Она стала перебирать пластинки, и он снова получил возможность понаблюдать за ней. Худая и стройная, она казалась совсем молодой девочкой. Кто она? — думал он. — Кто она на самом деле?

— Может быть, поставить вот это? — она показала ему альбом.

Он даже не взглянул.

— Как хочешь, — сказал он.

Она поставила пластинку и села. Это оказался Второй фортепьянный концерт Рахманинова. Не очень изысканные у нее вкусы, — подумал он, глядя на нее безо всякого выражения на лице.

— Расскажи мне о себе, — попросила она.

Опять стандартный женский вопрос, — подумал он, но одернул себя — перестань цепляться к каждому слову. Сидеть и изводить себя сомнениями — что толку.

— Нечего рассказывать, — сказал он.

Она снова улыбнулась.

Что во мне смешного? — раздраженно подумал он.

— У меня просто душа ушла в пятки, когда я увидела твою лохматую бороду. И этот дикий взгляд.

Он выпустил струю дыма. Дикий взгляд? Забавно. Чего она добивается? Хочет взять его остроумием?

— Скажи, а как ты выглядишь, когда бритый? — спросила она.

Он хотел улыбнуться ее вопросу, но у него ничего не вышло.

— Ничего особенного, — сказал он. — Самое обычное лицо.

— Сколько тебе, Роберт?

От неожиданности он чуть не поперхнулся. Она первый раз назвала его по имени. Странное, беспокойное ощущение овладело им. Он так давно уже не слышал своего имени из уст женщины, что чуть было не сказал ей: не зови меня так. Он не хотел, чтобы дистанция между ними сокращалась. Если она инфицирована и если ее не удастся вылечить, — то пусть лучше она останется чужой. Так от нее легче будет избавиться.

— Если ты не хочешь разговаривать со мной — не надо, — спокойно сказала она. — Не хочу тебе досаждать. Завтра я уйду.

Он весь напрягся.

— Но...

— Не хочу портить твою жизнь, — сказала она. — Пожалуйста, не думай, что ты мне чем-то обязан только потому... что нас осталось всего двое.

Он мрачно посмотрел на нее долгим, холодным взглядом, и где-то в глубине его души шевельнулось чувство вины. Почему я подозреваю ее? Почему не доверяю? Почему сомневаюсь? Если она инфицирована — ей все равно живой отсюда не выйти. Тогда чего опасаться?

— Извини, — сказал он, — я слишком долго жил один.

Но она не ответила. Даже не взглянула.

— Если хочешь поговорить, — продолжал он, — я буду рад... Расскажу тебе... Что могу.

Она, видимо, сомневалась. Потом взглянула на него. В глазах ее не было ни капли доверия.

— Конечно, мне интересно знать про эту болезнь, — сказала она. — От этого у меня погибли две дочери, и из-за нее же погиб мой муж.

Он некоторое время смотрел на нее. Потом заговорил.

— Это бацилла. — сказал он. — Цилиндрическая бактерия. Она образует в крови изотонический раствор. Циркуляция крови несколько замедляется, однако физиологические процессы продолжают. Бактерия питается чистой кровью и снабжает организм энергией. В отсутствие крови производит бактериофагов, или же спорулирует.

Она тупо уставилась на него. Он сообразил, что говорит непонятно. Слова, которые стали для него абсолютно привычными, для нее могли звучать абракадаброй.

— М-м-да, — сказал он, — в общем, все это не так уж важно. Спорулировать — это значит образовывать такое продолговатое тельце, в котором, однако, содержатся все необходимые компоненты для возрождения бактерии. Микроб поступает таким образом, если в пределах досягаемости не оказывается живой

крови. Тогда, как только тело-хозяин, как раз и являющееся вампиром, погибает и разлагается, эти споры разлетаются в поисках нового хозяина. А когда находят — то вирулируют. Таким образом и распространяется инфекция.

Она недоверчиво покачала головой.

— А бактериофаги — это неживые протенны. Белковые макромолекулы, которые тоже могут производиться при отсутствии крови. В отличие от спор, их появление способствует аномальному метаболизму, в результате чего происходит быстрый распад тканей.

Он вкратце рассказал ей о нарушении функций лимфатической системы, о том, что чеснок, являясь аллергеном, вызывает анафилаксию, и о различных симптомах заболевания.

— А как объяснить наш иммунитет? — спросила она.

Он довольно долго глядел на нее, воздерживаясь от ответа. Потом пожал плечами и сказал:

— Про тебя я не знаю, а что касается меня, то я был в Панаме во время войны. И там на меня однажды напала летучая мышь. Я не могу этого ни доказать, ни проверить, но я подозреваю, что эта летучая мышь где-то подхватила этого микроба, *vampiria*, тогда можно объяснить, почему она напала на человека, обычно они этого не делают. Однако микроб почему-то оказался ослабленным в ее организме, и произошло нечто вроде вакцинации. Я, правда, тяжело болел, меня едва выносили. Но в результате получил иммунитет. Во всяком случае, это моя версия. Лучшего объяснения мне найти не удалось.

— А как... Как остальные, кто там был с тобой? С ними тоже такое случилось?

— Не знаю, — медленно проговорил он. — Я убил эту летучую мышь, — он пожал плечами, — возможно, я был первым, на кого она напала.

Она молча глядела на него. Ее внимание подхлестнуло в Нэвилле какое-то упрямство, и, сознавая

краешком разума, что его уже понесло, он продолжал и продолжал говорить.

Он коротко обрисовал главный камень преткновения его исследований.

— Сначала я думал, что колышек должен пронзить сердце, — говорил он. — Я верил в легенду. Но потом я убедился, что это не так. Я вколачивал колышек в любые части тела — и они все равно погибали. Так я пришел к выводу, что они умирают просто от кровотечения, от потери крови. Но однажды...

И он рассказал ей о той женщине, распавшейся у него прямо на глазах.

— Я понял тогда, что есть что-то еще, вовсе не потеря крови, — он продолжал, словно наслаждаясь, декламируя свои открытия. — Я долгое время не знал, что делать. Буквально не находил себе места. Но потом до меня дошло.

— Что? — спросила она.

— Я раздобыл мертвого вампира и поместил его руку в искусственный вакуум. И под вакуумом вскрыл ему вены. И оттуда брызнула кровь. — Он замолчал на время. — Вот и все.

Она уставилась на него.

— Не понимаешь, — сказал он.

— Я... Нет, — призналась она.

— А когда я впустил туда воздух, все мгновенно распалось.

Она продолжала смотреть на него.

— Видишь ли, — пояснил он, — этот микроб является факультативным сапрофитом. Он может существовать как при наличии кислорода, так и без него. Но есть большая разница. Внутри организма он является анаэробом, и в этой форме он поддерживает симбиоз с организмом. Вампир-хозяин поставляет бактериям кровь, а они снабжают организм энергией и стимулируют жизнедеятельность. Могу, кстати, доба-

вить, что именно благодаря этой инфекции начинают расти клыки, похожие на волчьи.

— О?!

— А когда попадает воздух, — продолжал он, — ситуация изменяется стремительно. Микроб переходит в аэробную форму. И тогда, вместо симбиотического поведения, резко переходит к вирулентному паразитированию. — Он сделал паузу и добавил — Он просто съедает хозяина.

— Значит, колышек... — начала она...

— Просто проделывает отверстие для воздуха. Разумеется. Впускает воздух и не дает клею возможности залатать отверстие — дырка должна быть достаточно большой. В общем, сердце тут ни при чем. Теперь я просто вскрываю им запястья достаточно глубоко, чтобы клей не сработал, или отрубая кисть. — Он усмехнулся. — Страшно даже вспомнить, сколько времени я тратил на то, чтобы настрогать этих колышков!..

Она кивнула и, заметив в своей руке пустой бокал, поставила его на стол.

Вот почему та женщина так стремительно распалась, — сказал он, — она была мертва уже задолго до того. И, как только воздух проник в организм, микроб мгновенно пожрал все останки.

Она тяжело сглотнула, и ее словно передернуло.

— Это ужасно, — сказала она.

Он удивленно взглянул на нее. Ужасно? Какое странное слово. Он не слышал его уже несколько лет. Слово «ужас» давно уже стало для него бесцветным пережитком прошлого. Избыток ужаса, постоянный ужас — все это стало привычно, и на этом фоне мало что поднималось выше среднего уровня. Роберт Нэвилль принимал сложившуюся ситуацию как непреложный факт. Дополнительные определения, прилагательные утратили свой смысл.

— А как же... Как же те, что еще живы?..

— Видишь ли, у них то же самое. Когда отрубает кисть, микроб становится паразитным. Но они в основном умирают просто от кровотечения.

— Просто...

Она отвернулась, но он успел заметить, как сжались и побледнели ее губы.

— Что-то случилось? — спросил он.

— Н-ничего. Ничего, — сказала она.

Он усмехнулся.

— К этому привыкаешь со временем, — сказал он. — Приходится.

Ее опять передернуло, и словно что-то застряло у нее в горле.

— Тебе не по душе мои заповеди, — сказал он. — Законы Роберта — это законы джунглей. Поверь мне, я делаю только то, что могу, ничего другого не остается. Что толку — оставлять их больными, пока они не умрут и не возродятся — в новом, чудовищном обличе?

Она сцепила руки.

— Но ты говорил, что очень многие из них все еще живы, — нервно проговорила она, — почему ты считаешь, что они умрут? Может быть, им удастся выжить?

— Я знаю наверняка, — сказал он. — Я знаю этого микроба. Знаю, как он размножается. Неважно, как долго организм будет сопротивляться, микроб все равно победит. Я готовил антибиотики и колот их дюжинами. Но это не действует. Не может действовать. Вакцины бесполезны, потому что заболевание уже идет полным ходом. Их организм уже не может производить антитела, потому что его жизнедеятельность уже поддерживает сам микроб. Это невозможно, поверь мне. Это засада. Если я не убью их, то рано или поздно они умрут — и придут к моему дому. У меня нет выбора. Никакого выбора.

Оба молчали, и только треск умолкшей пластинки, продолжавшей крутиться на диске проигрывателя, нарушал тягостную тишину.

Она не глядела на него, внимательно уставившись в пол, и взгляд ее был пуст и холоден. Она явно не хотела встретиться с его взглядом. Как странно, — думал он, — мне приходится искать аргументы в защиту того, что еще вчера было необходимостью и казалось единственно возможным. За прошедшие годы он ни разу не усомнился в своей правоте. И только теперь, под ее давлением, такие мысли закопошились в его сознании. И мысли эти казались чужими, странными и враждебными.

— Ты в самом деле полагаешь, что я не прав? — недоверчиво переспросил он.

Она прикусила нижнюю губу.

— Руфь? — спросил он.

— Не мне это решать, — ответила она.

ГЛАВА 18

— Вирджи!

Темная фигура отпрянула к стене, словно отброшенная хриплым воплем Нэвилля, рассекшим ночную тишину. Он вскочил с кресла и уставился в темноту. Глаза его еще не расклеились ото сна, но сердце колотилось в груди как маньяк, который лупит в стены своей темницы, требуя свободы.

Вскочив на ноги, он судорожно пытался понять, где он и что с ним происходит. В мозгах царила полная неразбериха.

— Вирджи? — снова осторожно спросил он, — Вирджи?..

— Это... Это я... — произнес в темноте срывающийся голос.

Он неуверенно шагнул в сторону тонкого луча света, пробивающегося через открытый дверной глазок. Он тупо моргал, медленно вникая в происходящее.

Она вздрогнула, когда он положил руку ей на плечо и крепко сжал.

— Это Руфь. Руфь, — сказала она перепуганным шепотом.

Он стоял, медленно покачиваясь в темноте, абсолютно не понимая, что это за тень маячит перед ним.

— Это Руфь, — сказала она чуть громче.

Пробуждение обрушилось на него словно поток ледяной воды из брандспойта. Его мгновенно скрутило всего, словно от холода, в животе и в груди заняло, мышцы болезненно напряглись. Это была не Вирджи. Он помотал головой и протер глаза. Руки еще плохо слушались его.

Взвешенное состояние, подобное неожиданной глубокой депрессии, охватило его, и он стоял на месте, глядя перед собой и слабо бормоча. Он чувствовал, что его слегка покачивает, вокруг царил темнота, и туман медленно освобождал его сознание.

Он перевел взгляд на открытый глазок, затем снова на нее.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он. В голосе его слышны были остатки сна.

— Н-ничего, — сказала она. — Я... просто мне не спалось.

Лампочка зажглась неожиданно, и он на мгновение зажмурился. Затем снял руку с выключателя и обернулся. Она все еще стояла, прижавшись к стене и моргая от внезапного яркого света. Руки ее были опущены вдоль туловища и сжаты в кулаки.

— Почему ты одета? — удивленно спросил он.

Она напряженно глядела на него. Дыхание было тяжелым. Он снова протер глаза и откинул назад длинные волосы, спутавшиеся с бакенбардами.

— Я... просто смотрела, что там делается, — она кивнула в сторону входной двери.

— Но почему ты одета?..

— Мне не спалось. Я никак не могла заснуть.

Он стоял, глядя на нее, все еще чуть покачиваясь, чувствуя, как постепенно успокаивается сердцебиение. Через открытый глазок снаружи доносились крики, и он различил привычный вопль Кортмана:

— Выходи, Нэвилль!

Подойдя к глазку, он захлопнул его и обернулся.

— Я хочу знать, почему ты одета, — снова сказал он.

— Нипочему.

— Ты собиралась уйти, пока я сплю?

— Да нет, я...

— Я тебя спрашиваю! — он схватил ее за запястье, и она вскрикнула.

— Нет, нет, что ты, — торопливо проговорила она, — как можно, когда они все там?

Он стоял и, тяжело дыша, вглядывался в ее испуганное лицо. Он чуть вздрогнул, вспомнив свое пробуждение — состояние шока, когда ему показалось, что это Вирджи.

Он отбросил ее руку и отвернулся. Он полагал, что прошлое уже давно умерло, — но нет. Сколько же времени для этого нужно?

Он молча налил себе рюмку виски и торопливо, судорожно заглотил. Вирджи, Вирджи, — горестно звучало в его мозгу, — ты все еще со мной. Он закрыл глаза и с силой стиснул зубы.

— Ее так звали? — услышал он голос Руфи.

Мышцы его напряглись, но лишь на мгновение; он чувствовал себя разбитым.

— Все в порядке, — голос его звучал глухо и потерянно, — иди спать.

Она сделала шаг в сторону.

— Извини, — проговорила она, — я не хотела...

Внезапно он почувствовал, что не хочет отпускать ее. Он хотел, чтобы она осталась. Без всякой причины, только бы снова не остаться в одиночестве.

— Мне показалось, что ты — моя жена, — услышал он собственный голос. — Я проснулся и решил...

Он как следует хлебнул виски и, поперхнувшись, закашлялся. Руфь терпеливо ждала продолжения, лицо ее находилось в тени.

— ...Решил, что она вернулась, понимаешь ли... — медленно продолжал он, с трудом отыскивая слова. — Я похоронил ее, но однажды ночью она вернулась. И я тогда увидел — тень, силуэт — это было похоже на тебя. Да. Она вернулась. Мертвая. И я хотел ее оставить с собой. Да, хотел. Но она уже была не той, что была прежде. Видишь ли, она хотела только одного...

Он подавил спазм в горле.

— Моя собственная жена, — голос его задрожал, — вернулась, чтобы пить мою кровь...

Он швырнул свой бокал о крышку бара, развернулся и зашагал: дошел до входной двери, развернулся, снова вернулся к бару и устоял в одну точку. Руфь молчала. Она стояла все там же, прислонившись к стене, и слушала.

— Я избавился от нее, — наконец сказал он. — Мне пришлось сделать с ней то же самое, что и с остальными. С моей собственной женой. — Какое-то клокотанье в горле мешало ему говорить. — Колышек. — Его голос был ужасен. — Я вколотил в нее... А что еще я мог сделать. Я ничего больше не мог. Я...

Он не мог продолжать. Его трясло. Он долго стоял так, плотно закрыв глаза...

Потом снова заговорил:

— Это было почти три года назад. И до сих пор я помню... Это сидит во мне, и я ничего не могу с этим поделать. Что делать. Что делать?! — Боль воспоминаний снова захлестнула его и он обрушил свой кулак на крышку бара. — Как ты ни старайся, этого не забыть. Никогда не забыть... И не загладить — и не избавиться от этого! — Он запустил трясущиеся пальцы в свою шевелюру... — Я знаю, что

ты думаешь. Я знаю. Я не верил. Я сначала не верил тебе. Мне было тихо и спокойно в своем маленьком и крепком панцире. А теперь, — он медленно помотал головой, и в его жесте сквозило поражение, — в одно мгновение исчезло все... Уверенность, покой, безопасность. Все пропало...

— Роберт...

В ее голосе что-то надломилось.

— За что нам это наказание? — спросила она.

— Не знаю, — с горечью сказал он. — Нет причины. Нет объяснения. — Он с трудом подбирал слова. — Просто так все устроено... Так все и есть.

Она приблизилась к нему. И вдруг — он не отстранился и, не колеблясь, привлек ее к себе. И они остались вдвоем — два человека в объятиях друг друга, песчинкой затерянные среди безмерной, бескрайней темноты ночи...

— Роберт, Роберт.

Она гладила его по спине, руки ее были ласковыми и родными, и он крепко обнимал ее, закрыв глаза и уткнувшись в ее теплые, мягкие волосы. Их губы нашли друг друга и долго не расставались, и она, отчаянно боясь выпустить его, крепко обняла его за шею...

Потом они сидели в темноте, плотно прижавшись друг к другу, словно им теперь принадлежало последнее, ускользающее тепло этого угасающего мира, и они щедро делились им друг с другом.

Он чувствовал ее горячее дыхание, как вздымалась и опадала ее грудь; она спрятала лицо у него на плече, там, куда скрипач прячет свою скрипку, он чувствовал запах ее волос, гладил и ласкал шелковистые пряди, а она все крепче обнимала его.

— Прости меня, Руфь.

— Простить? За что?

— Я был резок с тобой. Не верил, подозревал.

Она промолчала, не выпуская его из объятий.

— Ох, Роберт, — наконец сказала она, — как это несправедливо. Как несправедливо. Почему мы еще живы? Почему не умерли, как все? Это было бы лучше — умереть вместе со всеми.

— Тсс-с, тс-с, — сказал он, чувствуя, как какое-то новое чувство разливается в нем: и сердце и разум его источали любовь, проникающую во все поры и невидимым сиянием исходящую из него, — все будет хорошо.

Он почувствовал, что она слабо покачала головой.

— Будет. Будет, — сказал он.

— Разве это возможно?

— Будет, — сказал он, хотя чувствовал, что ему самому трудно поверить в это, хотя понимал, что в нем говорит сейчас не разум, а это новое, освободенное, всепроникающее чувство.

— Нет, — сказала она. — Нет.

— Будет, Руфь, обязательно будет.

Сколько они просидели так, обнявшись и прижавшись друг к другу? Он потерял счет времени. Все вокруг потеряло значение, их было только двое, и они были нужны друг другу — и поэтому они выжили и встретились, чтобы сплести свои руки и на мгновение забыть об ужасной гибели всего бывшего мира...

Он отчаянно хотел сделать что-нибудь для нее, помочь ей...

— Пойдем, — сказал он, — проверим твою кровь.

Она сразу стала чужой, их объятия распались.

— Нет, нет, — торопливо сказал он, — не бойся. Я уверен, что там ничего нет. А если и есть, то я вылечу тебя. Клянусь, я тебя вылечу, Руфь.

Она молчала. Она глядела на него, но в темноте не было видно ее глаз. Он встал и повлек ее за собой. Возбуждение, какого он не чувствовал все эти годы, овладело им: вылечить ее, помочь ей — он был словно в горячке.

— Позволь, — сказал он, — я не причиню тебе вреда. Клянусь тебе. Ведь надо знать, надо выяснить наверняка. Тогда будет ясно, что и как делать, и я займусь этим — я спасу тебя, Руфь, спасу. Или умру сам.

Но она не повиновалась, не хотела идти за ним, тянула назад.

— Пойдем со мной, Руфь.

Он исчерпал все запасы своего резонёрства, все барьеры в нем рухнули, нервы были на пределе, он трясся словно эпилептик.

В спальне он зажег свет и увидел, как она перепугана. Он привлек ее к себе и погладил по волосам.

— Все хорошо, — сказал он, — все хорошо, Руфь. Неважно, что там будет, все будет хорошо. Ты мне веришь?

Он усадил ее на табуретку. Ее лицо побледнело, когда он зажег горелку и стал прокалывать перышко. Она начала дрожать. Он нагнулся к ней и поцеловал в щеку.

— Все хорошо, — ласково сказал он, — все будет хорошо.

Он проколол ей палец — она закрыла глаза, чтобы не смотреть, — и выдавил капельку крови. Он чувствовал боль, словно брал не ее, а свою кровь. Руки его дрожали.

— Вот так. Так, — заботливо сказал он, прижимая к проколу на ее пальце кусочек ваты. Его колотила неумная дрожь, он боялся, что препарат не получится, руки не повиновались ему. Он старался смотреть на Руфь и улыбаться ей, ему хотелось согнать маску испуга с ее лица.

— Не бойся, — сказал он, — прошу тебя, не бойся. Я вылечу тебя, если ты больна. Вылечу, Руфь, вылечу.

Она сидела, не проронив ни слова, безразлично наблюдая за его возней. Только руки ее, не находившие себе покоя, выдавали ее волнение.

— Что ты будешь делать, если... Если найдешь?..
— Точно не знаю, — сказал он. — Пока не знаю.
Но мы обязательно что-нибудь придумаем.

— Что?

— Ну, например, можно вакцины...

— Ты же говорил, что вакцины не действуют, — сказала она, и голос ее дрогнул.

— Да. Но, видишь ли, — он умолк, положив стеклышко на столик, прижав его зажимом и склоняясь к окуляру.

— Что ты сможешь сделать, Роберт?

Он наводил на резкость.

Она соскользнула с табурета и вдруг взмолилась:

— Роберт, не смотри!

Но он уже увидел. Он побледнел и, не отдавая себе отчета в том, что перестал дышать, медленно повернулся к ней.

— Руфь... — в ужасе прошептал он, задыхаясь...

...Удар киянкой пришелся ему чуть выше лба, сознание его взорвалось болью, и Роберт Нэвилль почувствовал, что половина тела отказала ему. Он упал набок, роняя за собой микроскоп, — упал на одно колено, с изумлением глядя на нее, на ее лицо, искаженное ужасом, попытался встать, но она ударила его еще раз, и он закричал, снова упал на колени, пытаясь упереться руками в пол — но руки были чужими, и он растянулся ничком. Где-то за тысячи миль от него слышались ее всхлипывания: рыдания душили ее.

— Руфь, — пробормотал он.

— Я же говорила тебе, не смотри! — кричала она, размазывая по лицу слезы.

Он дотянулся до ее ног и вцепился в нее. Она ударила в третий раз — и киянка едва не проломила ему затылок.

— Руфы!..

Руки его ослабли и соскользнули с ее лодыжек, соскребая загар и оставляя на обнажившейся белесой

коже неглубокие ссадины. Он уткнулся лицом в пол и конвульсивно дернулся — ночь поглотила его разум, и мир померк...

ГЛАВА 19

Когда он пришел в себя, в доме стояла полная тишина. Ни звука.

Он открыл глаза и сначала не мог понять, где он и что с ним. Затем со стоном оторвал лицо от пола, тяжело приподнялся и сел. Боль в его голове взорвалась миллионом горячих игл, и он снова повалился на пол, обхватив голову руками: казалось, она раскалывается на куски. Булькающий стон вырвался из его груди, и он замер, то ли снова потеряв сознание, то ли пытаясь уговорить свою боль.

Через некоторое время он снова шевельнулся. Медленно перехватывая руками, добрался до края верстака и помог себе встать. Казалось, что пол вздыбливается под его ногами. Он закрыл глаза и попытался зафиксироваться, держась за верстак обеими руками, но ноги все равно ходили ходуном.

С минуту постояв, решил дойти до ванной. Там он плеснул себе в лицо водой и присел на край ванной, прижимая ко лбу мокрое полотенце.

Что произошло? Он недоуменно уставился в белые кафельные плитки пола.

Тяжело поднявшись, он прошел в гостиную. Никого. Входная дверь была приоткрыта, и за ней просматривалась серая утренняя мгла.

— Сбежала, — вспомнил он.

Он взялся за стену и, придерживаясь, медленно добрался до спальни.

На верстаке рядом с перевернутым микроскопом лежала записка. Он с трудом взял в руки этот листок бумаги — пальцы плохо слушались, движения были

неуклюжими — и дошел до кровати. Со стоном опустившись на край кровати, он устался в письмо, но читать не смог. Буквы прыгали и расплывались. Он покачал головой и закрыл глаза. Посидев так с минуту, снова попытался читать:

«Роберт!

Теперь ты все знаешь. Знаешь, что я была подслана к тебе, чтобы шпионить. Знаешь, что я все время лгала тебе.

Но я пишу эту записку только потому, что хочу тебя спасти, если только это окажется в моих силах.

Сначала, когда мне поручили это задание, меня твоя жизнь абсолютно не тревожила. Потому что, Роберт, у меня действительно был муж. И ты убил его.

Но теперь что-то переменилось. Теперь я понимаю, что твое положение такое же вынужденное, как и наше. Ты знаешь, что мы все инфицированы. Да, это так. Но ты не знаешь, что мы не собираемся умирать. Мы уже нашли способ и собираемся понемногу восстанавливать и налаживать жизнь в стране. Собираемся устранить всех тех, кто уже мертв. Они действительно жалкие существа. И, хотя я молюсь, чтобы этого не случилось, вероятно, будет решено уничтожить тебя и всех тебе подобных».

Подобных мне? — эти слова странным образом откликнулись в его мозгу, но он продолжал читать.

«Но я попытаюсь спасти тебя. Я скажу, что ты слишком хорошо вооружен, что нападать на тебя опасно. Тогда у тебя будет некоторое время, чтобы бежать.

Роберт, прошу тебя, уходи из своего дома в горы. Там ты сможешь спастись. Нас пока еще совсем немного. Но рано или поздно эта организация окрепнет, и мои слова уже не будут играть никакой роли. Они уничтожат тебя.

Ради Бога, Роберт, беги теперь, пока это возможно.

Я знаю, что ты можешь мне не поверить. Можешь не поверить, что мы можем некоторое время находиться на солнце. Можешь не поверить, что мой загар был не настоящим, это была косметика. Ты можешь не поверить, что мы приспособились жить с микробом внутри.

Поэтому я оставляю тебе одну таблетку. Я все время принимаю их и принимала, пока жила у тебя. Они хранятся у меня в поясе. Ты можешь проверить: это смесь очищенной крови с каким-то наркотиком. Я точно не знаю, может быть, что-то еще. Эта таблетка подкармливает микроба и останавливает его размножение. Теперь у нас есть шанс выжить и возродить страну.

Верь мне, Роберт, это правда. Тебе надо бежать.

Прости меня за то, что я с тобой сделала. Я не хотела этого, я сама чуть не умерла. Но я была до смерти напугана тем, что ты мог бы сделать со мной, когда узнал.

Прости меня, что пришлось так много лгать тебе. Прошу тебя, поверь лишь в одно: когда мы были вдвоем в темноте, когда мы были вместе, это не было моим заданием. Я любила тебя.

Руфь».

Он еще раз перечитал письмо.

Руки его безвольно опустились, и он долго разглядывал паркет. Взгляд его был пуст. Он никак не мог стряхнуть с себя оцепенение. Не мог свыкнуться, понять и принять все произошедшее. Сомнения не давали ему покоя.

Он подошел к верстаку, взял там маленькую таблетку и положил ее себе на ладонь. Таблетка была янтарного цвета. Он понюхал ее, попробовал на вкус. Он почувствовал, что храм его логических построений начинает рушиться. Его мотивировки оказались зыбкими, и он словно потерял опору. Смысл, которым он наполнил свою жизнь, вмиг растворился в утренней дымке. Его мир начинал коллапсировать. Он вдруг испугался.

Но нельзя же отрицать очевидное.

Таблетка. Загар, сходящий слоем с ее лодыжки. Ее устойчивость к солнцу. Ее реакция на чеснок.

Он опустился на табурет и заметил валяющуюся на полу киянку.

Медленно, болезненно он перебирал в голове события предыдущего дня, и все постепенно вставало на свои места.

Когда он впервые увидел ее, она бросилась бежать прочь. Что это? Ловкая игра? Нет. Она действительно была смертельно перепугана. Она испугалась его внезапного окрика, хотя и ждала его. Она сорвалась и бросилась наутек, напроць позабыв про свое задание. Но потом она взяла себя в руки. Она ловко надула его, объяснив реакцию на чеснок слабостью желудка. Она с улыбкой лгала ему, разыгрывая смирение и беспомощность, и понемногу выудила из него все, что ей поручили. А когда она хотела сбежать, ей помешали. Кортман и прочие. И тогда он проснулся.

И они обнимались. Они...

Он ударил кулаком по верстаку. Костяшки его побелели.

«Я любила тебя». Ложь. Ложь! Он скомкал письмо и с досадой отшвырнул его прочь.

Ярость разжигала в голове пульсирующую боль, он со стоном схватился за виски и закрыл глаза. Наконец боль немного отошла. Он соскользнул с табурета и задумчиво поставил на место микроскоп.

Он понимал, что все остальное в этом письме было правдой.

Даже без таблетки, и без тех доказательств, что доставляла ему память, и без всяких прочих объяснений он знал это. Он знал, пожалуй, даже то, чего не знали ни Руфь, ни кто-либо из тех, кто ее послал.

Он надолго принял к окуляру. Да, он определенно знал. И признание того, что он сейчас видел, переворачивало весь его мир. О, каким глупым и бездарным он себя чувствовал! Ни разу — до сих пор — не догадаться. А ведь это можно было предвидеть. Ведь он читал эту фразу десятки, а может быть, сотни раз. Но — увы — ее значение он мог полностью осознать только теперь. Так коротка была эта фраза и так много она значила.

Бактерии легко мутируют.

ЧАСТЬ IV

январь 1979

ГЛАВА 20

Они появились ночью. В черных автомобилях с прожекторами, с ружьями и автоматами, с пиками и топорами. Ночную тишину разорвал рев моторов, из-за угла словно длинные белые руки показались лучи прожекторов и сомкнулись на Симаррон-стрит.

Услышав шум, Роберт Нэвилль отложил книгу и присел к глазку. Он безучастно наблюдал мятущуюся толпу вампиров перед домом — лучи вырвали из темноты их бледные бескровные лица, и они заголосили, ослепленные прожекторами, тупо уставясь своим темным животным взглядом навстречу слепящему свету.

Вдруг Нэвилля словно подбросило, и он отскочил от глазка. Сердце бешено заколотилось, и по телу пробежала паническая дрожь. Он застыл посреди комнаты, не зная, что предпринять. Горло перехватило спазмом, и рев моторов, проникающий даже через звукоизоляцию, парализовал его разум. Мелькнула мысль о пистолетах в ящике стола, о полуавтоматическом ружье, лежащем на верстаке, о том, как он будет оборонять дом.

Он сжал руки в кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Нет. Он уже сделал свой выбор. Он все тщательно обдумал за последние месяцы. Он не будет сопротивляться.

С тяжелым ощущением пустоты, словно что-то оборвалось в нем, он снова приблизился к глазку и выглянул на улицу.

Перед ним развернулась сцена побоища. Массовка. Жестокая бойня, освещенная бесстрастными лучами прожекторов. Люди преследовали людей. По мостовой тяжело грохотали сапоги. Ударил выстрел. Еще не затихло его глуховатое эхо, как выстрелы захлопали один за другим.

Два вампира-мужчины упали и принялись кататься по земле. Четверо подбежали к ним, схватили и скрутили, заломив руки за спину. Еще двое вонзили им в грудь свои острые, как скальпель, пики — отточенные стальные наконечники ярко блестели в свете прожекторов. Ночная тьма наполнилась жутким воплем. Нэвилль поморщился. Он продолжал наблюдать, но почувствовал, что все тело его напряглось и дышать стало тяжело.

Эти люди в черных одеяниях, безусловно, знали свое дело.

Нэвилль увидел еще семерых вампиров — шесть мужчин и одну женщину. Люди окружили этих семерых и, выкручивая им руки, глубоко, как бритвой, вспарывали их тела своими остроконечными пиками — кровь хлестала на мостовую, и один за другим эта семерка была уничтожена.

Нэвилль почувствовал холодный озноб, охвативший его. Это и есть новый порядок? — промелькнуло в его мозгу. Хотелось верить, что эти люди делали то, что они делали, лишь в силу необходимости. Но потрясающее зрелище, разворачивающееся перед ним, рождало чудовищные сомнения. Неужели то, как они это делают, эта страшная и жестокая резня были всего лишь данью необходимости? Зачем этот рев, грохот, прожекторы и ночная пальба, если днем вампиров можно было тихо и мирно отправлять на тот свет поштучно?

Роберт Нэвилль почувствовал, что его кулаки налились ненавистью. Эти люди в черном не нравились ему, как не нравилась и эта методичная кровавая резня, похожая на инсценировку. Эти люди, якобы исполнявшие свой долг, больше походили на гангстеров. В жестах сквозило торжество расправы. Казавшиеся в свете прожекторов бледными и плоскими, их лица были бесчувственны и жестоки.

Нэвилль вздрогнул, неожиданно вспомнив про Бена Кортмана. Где он?

Улица хорошо просматривалась, но Кортмана нигде не было видно. Нэвилль прильнул к глазку, пытаясь проглядеть улицу в оба конца. Он не хотел, чтобы с Кортманом расправились сейчас как и с прочими, не хотел, чтобы его уничтожили. Не в состоянии сразу разобраться в себе, он вдруг ощутил глубокую симпатию к вампирам, рожденную явной антипатией к тем, кто их сейчас истреблял. Эта экзекуция была ему не по нутру.

Те семеро вампиров остались лежать на мостовой, скрючившись в лужах собственной крови. Лучи фонарей забегали по окрестностям, вспарывая и прощупывая ночную тьму. Нэвилль отстранился, когда мощный слепящий поток света ударил в сторону его дома, — луч двинулся дальше, и Нэвилль снова припал к глазку.

Прожектор поворачивался. Вдруг — крик. Нэвилль глянул туда, куда метнулись прожекторы, и оцепенел прямо на крыше дома напротив он увидел Кортмана. Тот, распластавшись по черепице, тяжело подтягивал свое тело вверх, к трубе на вершине конька.

Черт возьми, — промелькнуло в мозгу Нэвилля: мгновенно стало ясно, что именно в этой трубе, забираясь в вентиляционный ход, большую часть времени и скрывался Бен Кортман. Эта догадка огорчила и разочаровала его. Он плотно сжал губы и покачал головой: как же он проворонил? Но самым болезнен-

ным оказалось чувство — и он не мог этому противиться — что Бена Кортмана сейчас прикончат. Прикончат эти жестокие, незванные пришельцы. Объективно говоря, это ощущение было беспредметно, но тем более бесконтрольно и неотвязно. Кортман им не принадлежал и не должен был достаться им, равно как и право отправить его в небытие.

Но теперь уже ничего нельзя было сделать.

Тяжело и мучительно было видеть Бена Кортмана, извивающегося в перекрестье лучей прожекторов. Видно было, как он медленно нащупывает на крыше зацепки. Лез он медленно, так медленно, словно в его распоряжении еще оставалась целая жизнь.

Скорей же, скорей! — Нэвилль почувствовал, что беззвучно шевелит губами, подгоняя его, словно повторяя своим телом каждое телодвижение Кортмана. Время почти остановилось.

Люди в черном действовали молча, без команды. Нэвилль заметил поднятые вверх стволы, и ночную тьму разорвал беспорядочный ружейный залп. Нэвилль своим телом почти что ощущал удары пуль и болезненно дергался, видя, как подергивается под ударами пуль тело Кортмана.

Кортман продолжал лезть, и Нэвиллю захотелось в последний раз увидеть его лицо. Бедный Оливер Харди, — думал он, — пришел тебе конец. Ты умрешь, последний комик, такой нелепый и смешной, хранитель последних остатков юмора. Он уже не слышал стрельбы, слившейся в единый грохочущий звук ружейной канонады, не чувствовал слез, бежавших по его щекам, и не мог отвести взгляда от неуклюжего тела своего бывшего приятеля, дюйм за дюймом взбирающегося по ярко освещенной крыше дома напротив.

Вот Кортман уже встал на колени и вцепился в край трубы. Пули вновь и вновь попадали в него, и его тело слегка дергалось. Он беззвучно оскалился,

взглянув в лицо слепящим прожекторам, и глаза его сверкнули.

Кортман уже стоял рядом с трубой и стал заносить правую ногу — Нэвилль весь напрягся, и кровь отхлынула от его лица — как вдруг застучал крупнокалиберный пулемет. Длинная очередь в момент наспиговала тело Кортмана свинцом, и он стоял еще мгновение, его трясло под градом свинца, руки его отпустились, и выражение ненависти и презрения исказило черты его лица.

— Бен, — едва слышно прошептал Нэвилль.

Тело Кортмана сложилось пополам, соскользнуло с конька и покатилося. Оно скользило и перекатывалось по черепичному скату, пока наконец не рухнуло вниз — и в неожиданно наступившей тишине Нэвилль расслышал глухой удар тела о землю. Нэвилль, стиснув зубы, смотрел, как к шевелящемуся на земле телу побежали люди с пиками... — он закрыл глаза и сжал кулаки так, что ногти глубоко вонзились в ладони.

Нэвилль отступил от глазка назад, в темноту. Топот людей в тяжелых башмаках, хозяйничавших на Симаррон, как будто понемногу приближался. Нэвилль замер посреди комнаты в ожидании момента, когда его позовут — окликнут, потребуют выйти, предложат сдаться. Весь напрягшись, он ждал.

Я не должен сопротивляться, — снова диктовал он себе, несмотря на то, что ему хотелось защищаться до последнего. Несмотря на то, что он ненавидел этих непрощенных гостей в черном с их ружьями, пистолетами и длинными пиками, уже обсохшими кровавой ржавчиной.

Но он знал, что сопротивляться не будет. Он долго вырабатывал это решение. Он не мог их винить: они просто выполняли свой долг. А то, что они были излишне жестоки и словно получали от этого удовольствие, — могло ему показаться. Он сам убил многих из них, и потому они должны были его обез-

вредить, схватить для собственной безопасности. Но он не должен сопротивляться. Он отдастся в руки правосудия, предоставит свою судьбу на суд этого нового общества. Он выйдет и сдастся, как только его окликнут. Так он решил.

Но никто его не звал. Нэвилль вздрогнул от неожиданности: во входную дверь ударили топоры. Его охватила нервная дрожь. Что они делают? Почему ему не предложили сдаться? Ведь он — не вампир, он такой же человек, как и они. Что же они делают?

Он засуетился, забежал и вдруг замер: они начали рубиться и в заколоченную заднюю дверь. Он неуверенно остановился в холле, панически озираясь на стук топоров то в одну сторону, то в другую. Он ничего не понимал. Ничего, ничего не понимал.

У входной двери ударил мощный выстрел, и он с возгласом удивления отскочил к стене; весь дом гудел словно от взрыва. Похоже, они хотели выбить дверной замок. Еще один выстрел — у Нэвилля зазвенело в ушах, и весь дом вздрогнул.

И вдруг он понял: они не собираются вести его в суд, не собираются вершить правосудие. Они его просто уничтожат. Бормоча себе под нос, он побежал в спальню и стал шарить в ящике стола.

Он выпрямился и обернулся, поудобнее перехватывая пистолеты, коленки его немного дрожали. Но что, если они все-таки хотят арестовать его? Как это угадать? Мало ли что ему не предложили сдаться, ведь в доме не было света, они могли подумать, что он сбежал. Он в нерешительности замер посреди темной спальни, не зная, что предпринять. Его бил озноб, и бессвязные звуки ужаса рождались в его груди. Болван, почему он не сбежал? Почему не послушался ее и не сбежал? Идиот!

Он с трудом воспринимал происходящее. Его пальцы потеряли чувствительность, и, когда нападающие вышибли входную дверь, один из пистолетов просто выпал из его руки на пол. В прихожей и в гостиной

загрохотали шаги. Шаркая и подволакивая ноги, Роберт Нэвилль попятился, держа перед собой оставшийся пистолет. Рука онемела, обескровленные пальцы как будто не существовали.

Но нет, им не удастся прикончить его за просто так. Он тихо охнул, ударившись об угол верстака, и застыл без движения. В соседней комнате люди обменялись какими-то фразами, которые он не расслышал, и в холле вспыхнули фонарики. Нэвилль перестал дышать и почувствовал, как комната закружилась и пол стал уходить из-под ног. Это был конец — единственная мысль пульсировала в его мозгу: это конец.

В холле снова загремели тяжелые шаги. Нэвилль крепче сжал рукоять пистолета и, не отрываясь глядя в дверной проем, ждал. В его безумном взгляде мерцал страх загнанного дикого зверя.

Двое с фонариками подошли к двери. Луч света побежал по комнате, второй плеснул ему в лицо — те двое резко отпрянули.

— У него пистолет, — крикнул один из них и выстрелил.

Нэвилль услышал, как пуля ударилась в стену у него над головой. Пистолет в его руке затрясся, запрыгал, выплевывая сгустки огня, вспышками освещая комнату и его перекошенное лицо. Он не целился ни в кого из них, просто раз за разом нажимал на курок. Один из них закричал.

Затем Нэвилль ощутил мощный удар в грудь, отступил и почувствовал, как по телу разлилась жгучая, дергающая боль, — он еще раз выстрелил и, падая на колени, выронил пистолет.

— Ты задел его, — услышал он чей-то крик и упал на пол ничком. Рука его потянулась к пистолету — но ее переломил жестокий удар ноги в тяжелом ботинке. В глазах у него помутнело, он подтянул руку к груди и, уставившись в пол, тяжело всхлипнул.

Его грубо схватили под руки и поставили на ноги. Он уже ничего не видел и не чувствовал, только ждал следующего выстрела.

Вирджи, — думал он, — Вирджи, теперь я иду к тебе. Теперь уже скоро.

Боль в груди стучала так, словно туда с высоты капал расплавленный свинец. Его тащили к выходу — он слышал, как скребут, волочась по полу, носки его ботинок, — и ждал смерти. Я хочу умереть здесь, в своем доме, — мелькнула мысль. Он слабо попробовал сопротивляться, но его волокли дальше. Боль в груди стала зубастой, как стая акул.

— Нет, — застонал он, когда его выволакивали на крыльцо, — нет!..

Боль пронзила грудную клетку и вырвалась вверх, проникая в мозг, страшным ударом поражая остатки его сознания. Мир завертелся, перемещиваясь с темнотой.

— Вирджи, — глухо прошептал он..

И люди в черном выволокли на улицу его безжизненное тело — в ночь, в мир, который ему больше не принадлежал. Этот мир принадлежал им.

ГЛАВА 21

Неуловимый звук: шепот или шорох. Роберт Нэвилль слабо кашлянул и поморщился: грудь наполнилась болью. Из глубины его тела вырвался булькающий стон, и голова чуть покачнулась на плоской больничной подушке. Звук стал громче — смесь разнородных приглушенных шумов. Медленно возвращалось ощущение рук, лежащих вдоль туловища.

Жжение в груди — огонь. Они забыли погасить огонь. В его груди. Все горело. Маленькие горячие угольки прожигали плоть и выкатывались наружу... И снова слабый, агонизирующий стон разомкнул его

пересохшие голубоватые губы. Веки дрогнули, и он раскрыл глаза.

Его взору предстал грубый серый потолок — нештукатуренная бетонная плита перекрытия. Около минуты, не мигая, он глядел прямо перед собой. Боль в груди пульсировала, то прибывая, то убывая, словно прибой перекачивал гальку по его обнаженным нервам. Все его сознание концентрировалось только на этом: выдержать эту боль, сдержать ее в себе, не дать ей победить. Расслабся он хоть на мгновение — и она вырвется, вберет весь его разум, охватит все его тело, и теперь, очнувшись, он не должен был этого допустить. Теперь он должен был сопротивляться.

Несколько минут он был сосредоточен на этой борьбе с болью, он буквально перестал видеть и оглох, пытаясь локализовать в себе эту жестокую кинжальную пульсацию. Наконец сознание стало понемногу возвращаться к нему.

Мозги работали медленно, как плохо отлаженный механизм, остановившийся и теперь понемногу набирающий обороты, неуверенно, толчками, словно пере-скакивая с одного режима на другой.

Где я? — была его первая мысль.

И снова — чудовищная боль. Он покосился вниз, стараясь разглядеть свою грудь. То, что он увидел, была широкая повязка с огромным влажным растекающимся пятном красного цвета в середине, которое толчками пульсировало, вздымаясь и опадая. Он закрыл глаза и сглотнул.

Я ранен, — пронеслось в его мозгу. — Как следует, тяжело ранен.

В горле и во рту было сухо, словно он наглотался песчаной пыли.

Где я? Кто, что? Зачем?..

Наконец он вспомнил: люди в темном штурмовали его дом. И теперь... — он догадался, где он теперь. Даже не оглядываясь по сторонам. Но он все-таки повернул голову — тяжело, медленно, болезненно, и

увидел маленькую палату и зарешеченные окна. Он долго разглядывал эти окна, лицо его было напряжено, губы плотно сжаты. Оттуда, из-за окон, с улицы доносился этот слабый звук, означавший, по всей видимости, суету и возню, а также некоторое замешательство.

Он расслабился, и голова его заняла прежнее положение, так что снова пришлось разглядывать потолок. Очень трудно было разобраться в этой ситуации и понять, что происходит, слишком все было неправдоподобно. Трудно было поверить, что все это — не бред и не ночной кошмар. Три года одиночества, в заточении, в собственном доме, а теперь — это.

Но в груди его пульсировала острая, жгучая боль, и в этом он не мог усомниться. Так же неоспоримо было и мокрое красное пятно, становившееся все больше и больше. Он снова закрыл глаза.

Наверное, я скоро умру, — предположил он и попытался как-нибудь осознать это, но разум сопротивлялся, и мысль соскользнула в пустоту.

Несмотря на то, что все эти годы он жил бок о бок со смертью, ходил по проволоке над пропастью, в которой его поджидала смерть, зубами выцарапывал себе право на жизнь, то и дело лишь по воле случая избегая неминуемой гибели, несмотря на это, разум его был не готов. Он не был готов принять смерть.

Где-то позади отворилась дверь — но он продолжал лежать на спине, глядя в потолок, не в силах повернуться. Боль была слишком мучительной. Не шелохнувшись, он слышал, как шаги приблизились к его койке и остановились недалеко от изголовья. Он поднял взгляд, но этого оказалось недостаточно: тот, кто стоял рядом с ним, все еще не попадал в поле зрения.

Палач, — подумал он, — рука правосудия нового общества. Он закрыл глаза. Ему было все равно.

Шаги снова ожили, и он понял, что их владелец обошел койку и встал рядом. Нэвилль хотел сглотнуть, но в горле все пересохло. Он провел языком по губам.

— Ты хочешь пить?

Ничего не понимая, он мутно взглянул на нее, и сердце его бешено заколотилось. Под напором крови боль захлестнула все его существо, он едва не потерял сознание и не смог удержаться от болезненного, агонизирующего стога. Голова его мотнулась на подушке из стороны в сторону, и он закусил губу, судорожно комкая рукой простыню. Красное пятно увеличивалось.

Она встала на колени и вытерла у него со лба пот, прохладной влажной тряпицей промокнула губы. Боль чуть-чуть отхлынула, и он снова смог сфокусировать взгляд на ее лице. Он лежал, даже не пытаясь пошевелиться, и глядел на нее, и во взгляде его была только боль.

— Вот, — наконец сумел выговорить он.

Она промолчала. Встала с колен и присела на краешек кровати. Снова промокнула ему пот со лба. Затем потянулась куда-то за изголовье, и он услышал звук льющейся в стакан воды.

Она чуть приподняла ему голову, чтобы он смог пить, и боль снова кинжалом вспорола ему внутренности. Наверное, именно такое ощущение, когда в тебя вонзают эту пику, — подумал он, — вот такая же кинжальная резь. И затем — пульсация толчками истекающей, еще живой, теплой крови...

Голова его снова откинулась на подушку.

— Спасибо, — пробормотал он.

Она сидела и разглядывала его. Выражение ее лица было необычным: в нем соединялись симпатия и отчуждение.

Ее рыжеватые волосы были стянуты на затылке в тугую узел и тщательно заколоты. Весь вид ее —

ухоженный и аккуратный — говорил о том, что она устроена и независима.

— Ты не поверил мне, — спросила она, — не поверил, да?

Он едва заметно вдохнул — столько, сколько нужно было, чтобы ответить.

— Я... поверил.

— Но почему тогда ты не ушел, не сбежал?

Он попытался говорить, но слова путались, стелкаясь, словно кегли, фразы распадалась.

— Я... Не мог, — пробормотал он. — Я едва не ушел... Несколько раз... Однажды... Я собрался и пошел... Но не смог... Я не смог уйти... Я слишком привык... К этому дому. Это была привычка. Больше, чем привычка... Это была моя жизнь. Я так... Так привык...

Она окинула взглядом его лицо, на котором крупным бисером выступил пот, сжала губы и промокнула ему лоб влажной тряпичей.

— Теперь уже слишком поздно, — сказала она. — Поздно. Ты и сам понимаешь это.

Он тяжело сглотнул.

— Да, — сказал он, — понимаю.

Он хотел улыбнуться, но получилась только кривая гримаса.

— Зачем ты начал сопротивляться? — спросила она. — У них был приказ брать тебя живым. Если бы ты не стрелял в них, они не причинили бы тебе вреда.

Что-то сухое в гортани мешало ему говорить.

— Какая разница, — прохрипел он.

Он закрыл глаза и до скрипа сжал зубы, пытаясь превозмочь боль, выходящую из-под его контроля.

Открыв глаза, он снова увидел ее. Она была все еще здесь, выражение ее лица не изменилось.

Он слабо, вымученно улыбнулся.

— Ваша страна... Ваше общество... Очаровательны. — Его хватало только на хриплый сипящий ше-

пот. — Кто были эти... Эти бандиты... Которые пришли за мной? Это... Слуги закона?..

Ее взгляд оставался бесстрастным.

Она стала другой, — внезапно подумал он.

— Всякое новое государство в начале своем бывает примитивно, — сказала она. — Ты и сам должен понимать это. Мы в каком-то смысле подобны революционерам. Мы — группа людей, насильственно овладевшая властью. Но другого пути нет. А насилие — оно и для тебя не чуждо: тебе тоже случалось убивать, и не однажды.

— Только... чтобы выжить...

— И мы убиваем исключительно по той же причине, — спокойно сказала она, — чтобы выжить. Мы не можем существовать бок о бок с мертвецами. Мозги у них не в порядке, и ими руководит единственная цель — ты знаешь, они больше ни на что не способны. Поэтому они должны быть истреблены. Равно как и тот, кто убивает без разбору и живых и мертвых, — я знаю, ты поймешь меня.

Невольный глубокий вздох, долгий и прерывистый, перевернул ему все внутренности, и боль пробуравивала его, добираясь до самых отдаленных уголков тела. Его передернуло, взгляд затуманился, глаза заволокло болью. Туман застил его сознание.

Это скоро кончится, — мелькнула мысль, — должно скоро кончиться. Все равно так долго не протянуть.

Смерть не пугала его. Конечно, он по-прежнему не мог принять мысль о смерти как неизбежность, но страха перед ней не было.

Боль, до краев наводнив его сознание, медленно отхлынула, и туман рассеялся. Он снова взглянул: ее лицо было абсолютно спокойным.

— Может быть, и так, — сказал он. — Хотелось бы верить. Но... Ты бы видела их лица... Когда... Когда они убивают. — Он судорожно сглотнул. — Это наслаждение, — прошептал он, — они наслаждаются.

Она улыбнулась — сдержанно, отчужденно. Да, она изменилась, — подумал он, — совсем изменилась.

— Видел ли ты когда-нибудь свое лицо, — спросила она, — когда убивал?

Наступила пауза. Она промокнула ему пот со лба и продолжала:

— А я видела. Это было ужасно. Впрочем, ты даже не убивал меня. Ты просто гнался за мной.

Он закрыл глаза. Что толку ее слушать, — подумал он. — Она обязана служить этому новому строю и будет покрывать его жестокость, раз уж присягнула ему.

— Да, возможно, ты видел наслаждение на их лицах, — сказала она, — и это не удивительно. Они еще молоды. И это их работа — убивать. Это их функция. Их призвание. Они признаны законом, они делают свое дело — и их уважают и славят за это. Можно ли их осуждать? Они всего-навсего люди — да, да. И люди могут заблуждаться. И людей можно приучить убивать и наслаждаться этим. Все это давным-давно известно, и ты это прекрасно понимаешь.

Он поднял взгляд. Ее улыбка была принужденной, неестественной. Она улыбалась так, как улыбается женщина, пытающаяся переступить в себе *женщину* в угоду своему новому посвящению.

— Роберт Нэвилль, — произнесла она. — Последний. Последний представитель старой расы.

Он напрягся.

— Последний? — пробормотал он, вдруг ощущая захлестнувшую его волну тоскливого, беспредельного одиночества.

— Насколько нам известно, — небрежно сказала она. — Ты оказался единственным в своем роде. Поэтому в нашем новом обществе не будет проблем с такими, как ты.

Он взглядом показал на окно.

— Там... — проговорил он, — толпа?..

Она кивнула.

— Они ждут.

— Моей смерти?

— Казни, — поправила она.

Что-то сжалось у него внутри, когда он снова взглянул на нее.

— Наверное... тебе не стоит здесь задерживаться, — сказал он холодно. В его хриплом голосе не было страха, в нем сквозило пренебрежение.

Их взгляды встретились, и что-то будто надломилось в ней. Она побледнела.

— Я знала, — с тревогой сказала она, — я знала, что ты не испугаешься.

Она импульсивно взяла его руку в свою.

— Когда мне сказали, что уже отдан приказ, я сначала хотела пойти предупредить тебя. Но потом поняла, что если ты все еще там, все еще не ушел, то тебя ничто уже не заставит уйти. Я могла бы устроить тебе побег, когда тебя схватят, но потом узнала, что в тебя стреляли, и поняла, что побег теперь невозможен.

Она чуть-чуть улыбнулась.

— Но я рада, что ты не боишься, — сказала она. — Ты храбрый. Очень храбрый, — он услышал в ее голосе нежность, — Роберт.

Они оба помолчали, и он ощутил ее рукопожатие.

— Как тебе удалось... пройти сюда? — спросил он.

— У меня довольно высокое звание, — ответила она, — новое общество делится на касты, и я принадлежу к высшей.

Он пошевелил рукой, словно возвращая ей прикосновение.

— Только нельзя... Нельзя... — он закашлялся кровью. — Нельзя, чтобы... Чтобы оставалась только жестокость. Бездушные... Голый расчет... Этого нельзя допускать.

— Но разве я могу, — начала она, но остановилась, встретив его взгляд. — Я попытаюсь, — сказала она и слабо улыбнулась.

Он снова терял нить разговора. Боль копошилась в его внутренностях, словно там резвился какой-то хищный зверек.

Руфь склонилась над ним.

— Роберт, — сказала она, — пожалуйста, послушай меня. Тебя будут казнить. Несмотря на то, что ты тяжело ранен. Они вынуждены будут сделать это. Эта толпа простояла там всю ночь. Они ждут. Они боятся тебя, Роберт. Ненавидят. Они требуют твоей смерти.

Она выпрямилась и, расстегнув блузку, что-то вытащила из-под кружевного корсета и вложила в ладонь Нэвиллю. Это был крошечный пакетик.

— Это все, что я могу, — прошептала она, — так тебе будет легче... Ведь я же предупреждала тебя. Я же говорила тебе: уходи... — ее голос звучал надломленно, — ведь это тебе одному не под силу, их слишком много...

— Да, я знаю, — слова его перемешивались с клокотанием.

Она стояла над его койкой, и на мгновение выражение ее лица стало естественнее, в нем вдруг ожили боль и сочувствие.

Всё это поза, — подумал он, — ее официозность, ее выдержка. Всё поза, начиная с того, как она вошла. Она просто боится быть самой собой. И это можно понять.

Руфь склонилась над ним и прикоснулась холодными губами к его, сухим и горячим.

— Скоро ты будешь с нею, — торопливо шепнула она, выпрямилась, и губы ее словно плотно сомкнулись, возвращая на лицо маску отчуждения.

Она поправила и застегнула блузку, снова взглянула на него и движением глаз указала на зажатый в его руке пакетик.

— Прими это. Не откладывай, у тебя мало времени, — прошептала она и быстро отвернулась.

Он слушал, как удалялись ее шаги. Затем хлопнула дверь. Затем в замке повернулся ключ. Он закрыл глаза и почувствовал, как из-под опущенных век пробиваются горячие, сухие слезы.

Прощай, Руфь.

Прощайте, все и всё.

Он набрал в легкие побольше воздуха и, помогая себе руками, попытался сесть. В груди взорвалась боль, сталкивая его разум в бездонную пропасть коллапса, но он собрал все свои силы и удержался на краю. Он заскрипел зубами и встал. Ноги не слушались, ходили ходуном, он едва не упал, но поймал равновесие и сделал шаг к окну... Еще один...

Вцепившись руками в оконную раму, он глядел вниз. Улица была полна народа. Было раннее утро, еще не отступили ночные сумерки, и люди копошились внизу серой массой, издавая звук, похожий на гудение, словно скопище насекомых. Вцепившись бескровными пальцами в решетку, он лихорадочно вглядывался в них, пытаясь разглядеть их лица. И вдруг кто-то заметил его.

Мгновенный ропот прокатился по толпе, раздалось несколько криков, и все стихло.

Наступила тишина, словно толпу накрыли плотным одеялом. Они стояли и все, как один, смотрели на него, обратив к нему свои бледные лица. А он глядел на них. И вдруг он понял: это же я не в норме, а не они. Норма — это понятие большинства. Стандарт. Это решает большинство, а не одиночка, кто бы он ни был.

Это внезапное откровение соединилось в нем с тем, что он видел: их лица, искаженные страхом, ужасом, ненавистью, — и он ощутил, как они боятся его, как он ужасен. Он — чудовищный выродок. Для них он куда опаснее той инфекции, жить с которой они уже приспособились. Он был монстром, которого до сих пор никто не мог поймать, никто не мог увидеть. Доказательством его существования были лишь окро-

вавленные трупы их близких и возлюбленных — он ощутил и понял, кем он был для них, и глядел на них без ненависти.

Он сжал в пальцах пакетик с пилюлями.

Хватит жестокости. Хватит насилия. Пусть его смерть не станет еще одним кровавым спектаклем.

Роберт Нэвилль глядел на новых людей, владевших этим новым миром, и знал, что ему нет среди них места.

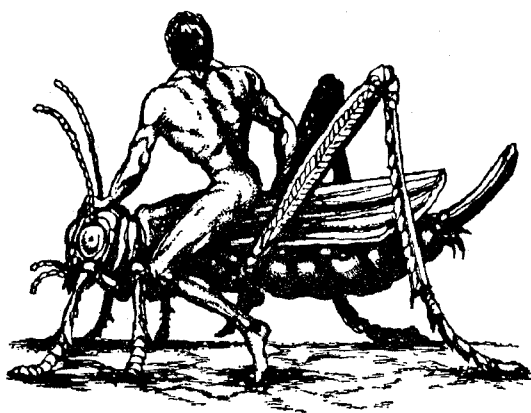
Он знал, что, как и вампиры, он стал анафемой, ночным кошмаром. Он нес людям ужас и страх, и его следовало уничтожить. И все происходящее представилось ему повторением прошлого, только вывернутым наизнанку. Он вдруг увидел происходящее с той кристальной ясностью, которая все расставляет по своим местам, и ощущение понимания восхитило его, заставив на мгновение забыть о боли.

Хриплый кашель вперемешку с кровью напомнил ему о действительности. Он прислонился к стене и стал поспешно заглатывать пилюли, торопясь, пока сознание вновь не оставило его.

Круг замкнулся, — думал он, ощущая, как вечный сон вкрадывается в его тело. — Круг замкнулся. Гибель рождает террор. Террор рождает страх. И этот страх будет осенен новыми предрассудками... Так было, и так пребудет вовеки... и теперь...

Я — легенда.

ПУТЬ ВНИЗ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сперва он подумал, что приближается гигантская штормовая волна. Но, увидев ясное небо и спокойный океан, понял, что это была стена водяных брызг, стремительно надвигавшихся на яхту.

Скотт лежал на крыше каюты и загорал. Совершенно случайно, приподнявшись на локте, он увидел стену брызг, приближающуюся к яхте.

— Марти! — в испуге крикнул он.

Ответа не последовало. В мгновение ока оказавшись на краю нагретой на солнце деревянной крыши, он соскользнул на палубу и снова крикнул:

— Эй, Марти!

На вид брызги были совершенно безобидны, и все же что-то побуждало его уклониться от них. Вздрагивая от обжигающих соприкосновений босых ног с горячими досками палубы, Скотт попытался обежать каюту. Началось было состязание, которое он проиграл в самом начале.

Какое-то мгновение над ним еще оставалось ясное небо. В следующий миг его обдало с ног до головы теплыми искрящимися брызгами.

Затем стена брызг стала удаляться. Весь в сверкающих на солнце капельках, застыв на месте, Скотт стал следить за тем, как она движется над водой.

Вдруг его передернуло. Он осмотрел свое тело. Кожу как-то странно пощипывало.

Он схватил полотенце и стал вытираться. Странное ощущение вовсе не было болезненным, оно скорее напоминало приятное покалывание одеколona на свежевыбритых щеках.

Когда Скотт вытерся насухо, это ощущение почти пропало. Он спустился вниз и, разбудив брата, рассказал ему об этой стене брызг, прошедшей над яхтой.

Так все и началось.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Паук гнался за ним по сумеречным пескам, яростно перебирая своими суставчатыми ногами. Тело насекомого представляло собой громадное блестящее яйцо, оно зловеще подрагивало, когда паук карабкался по безветренным песчаным холмам. Тащившийся за хищником хвост оставлял на песке след из тонких бороздок.

Ужас объял человека. Он увидел ядовитый блеск паучьих глаз, проследил, как хищник переполз через похожую на бревно соломинку. Тело паука, находившееся на высоте плеч человека, держалось на едва различимых от быстрого бега ногах.

Совершенно неожиданно за спиной человека с грохотом, сотрясшим воздух, вырвалось из своего стального заточения пламя. Он вздрогнул, и оцепенение пропало. Жадно глотнув открытым ртом воздух, он резко развернулся и бросился наутек; под его сандалиями заскрипел влажный песок.

Беглец мчался через островки солнечного света и вновь попадал в темноту, маска ужаса застыла на его лице. Дорогу, по которой его гнал страх, пересекали лучи солнца, а по сторонам ее лежали холодные тени. По следам человека гнался гигантский паук.

Вдруг человек поскользнулся. С уст его сорвался крик. Он упал на колено, подался вперед и уперся в песок расставленными ладонями. Он чувствовал, как дрожит песок от яростного стога пламени. Отчаянным усилием приподнялся, сжимая в горстях песок, и вновь бросился бежать.

Оглянувшись на бегу, он увидел, что паук, раскачивая свое яйцеобразное тело с сердцевинкой, пышущей смертельным ядом, уже настигает. Охваченный ужасом, задыхаясь от гонки, человек бежал что было сил.

Внезапно перед ним оказался край скалы, отвесно обрывающейся во мрак. Человек подбежал к краю, стараясь не смотреть вниз, в зияющий огромный каньон. Гигантский паук мчался за ним по пятам, обнаруживая свое приближение лишь легким поскрипыванием ног по камням. Он неумолимо приближался.

Человек бросился в проход между двумя громадными жестянками, которые высились над ним гигантскими цистернами. Он стал петлять среди скопления этих немых громадин с зелеными, красными, желтыми боками, заляпанными серой грязью. Пауку приходилось перелезать через банки, поскольку он не мог достаточно быстро протискивать между ними свое раздутое тело. Цепляясь лапами и подтягивая на них свое тело, он вскарабкался на крышку одной из банок, а потом бросился стремглав в погоню по крышкам, перепрыгивая с одной на другую резкими, короткими скачками.

Вновь выбежав на открытое пространство, человек услышал, как кто-то скребется прямо над ним. Резко отпрянув и запрокинув голову, он увидел, что паук вот-вот прыгнет на него сверху — две ноги гадины уже скользили по металлическому боку банки, остальные еще цеплялись за крышку.

Онемев от ужаса, человек метнулся в пространство между громадными банками и, то и дело спотыкаясь, бросился бежать зигзагами в обратном направлении. За спиной у него паук вновь вскарабкался на крышку

банки, весь подергиваясь, развернулся, описав полукруг, и вновь бросился в погоню.

Благодаря этой заминке паука человек выиграл несколько спасительных мгновений. Выскочив на покрытые тенью пески, он метнулся вперед, обежал высокую каменную опору, проскользнул в другую группу предметов, похожих на цистерны. Паук спрыгнул на песок и во всю прыть бросился вслед за ускользящей добычей.

Человек приближался к обрыву, и перед ним замаячила громадная оранжевая конструкция. На размышление не оставалось ни секунды. Из всех сил оттолкнувшись от земли, беглец перелетел через пропасть и судорожно вцепился пальцами в шероховатый выступ отвесной скалы.

Морщась от боли, он выползал на выщербленный край оранжевого обрыва, когда паук уже достиг края противоположной скалы. Вскочив на ноги, человек бросился бежать без оглядки по узкому выступу. Прыгни паук через пропасть, и все было бы кончено.

Но хищник не прыгнул. Оглянувшись, человек заметил это, остановился и стал наблюдать. Неужели теперь, покинув владения паука, он наконец в безопасности?

Бледные щеки бегльца нервно задергались, когда он увидел, что паук выпустил пару вязких искрящихся нитей.

Развернувшись, человек снова бросился бежать, хорошо понимая, что как только эти нити вытянутся на ширину обрыва, поднятые потоком воздуха, они прилипнут к оранжевому выступу и паук воспользуется ими как мостом.

Беглец ускорил было бег, но ничего из этого не вышло. Ноги ломило от боли, воздух обжигал горло, в боку кололо так, будто под ребра загнали кинжал. Он бежал и скатывался по оранжевому склону, перепрыгивая через проломы, и каждый новый прыжок

был отчаяннее предыдущего и давался все с большим трудом.

Еще обрыв. Дрожа всем телом, почти не останавливаясь, человек низко присел, сжался в комок и бросился всем телом вперед. Падение было долгим, но наконец он ухватился за выступ и повис. Затем, дождавшись, когда тело его перестанет раскачиваться, отпустил руки. У самой земли он заметил, что огромный паук сползает по оранжевому склону прямо на него.

Беглец приземлился на ноги и тут же упал на какие-то бревна. Правую лодыжку пронзила острая боль. Неимоверным усилием он поднялся на ноги — бежать, только бежать. Над головой раздался скрип паучьих ног. Беглец метнулся к обрыву, заколебался было, но затем бросился навстречу неизвестности. Перед ним промелькнул угол металлической рамки, толщиной в руку, за который он попытался ухватиться.

Но, размахивая руками и ногами, он продолжал падать вниз, откуда с угрожающей быстротой на него надвигалось дно каньона.

Он должен был пролететь мягкий, пестрящий цветами выступ. К счастью, этого не случилось. На самом краю выступа беглец приземлился на ноги, потерял равновесие и, падая на спину, кувыркнулся назад, чуть не свернув себе шею.

Он лежал на животе. Дыхание его было прерывистым — ему не хватало воздуха. Кругом стоял запах прели. Щека бегльца прижималась к чему-то шероховатому.

Наконец сознание опасности вернулось, отчаянным напряжением тела он сумел приподняться и увидел, что паук опять плетет призрачный мост своей паутины. Было ясно, что хищник не заставит себя долго ждать и сбежит по нему вниз.

Со стоном вскочив на ноги, человек замер на мгновение, шатаясь от усталости. В лодыжке еще

оставалась боль, дышать было тяжело, — зато все кости были целы. И опять рывок — прочь от паука.

Ковыляя, но стараясь не замедлять бега, он пересек пестрящий цветами выступ и стал спускаться с обрыва. На бегу заметил, что паук, раскачиваясь на своих нитях подобно страшному изогнутому маятнику, ползет вниз.

Вот наконец и дно каньона. Опять бегом, прихрамывая, через огромное открытое пространство, шлепая сандалиями по ровному твердому грунту. По правую руку высилась огромная коричневая башня, в которой все еще яростно пылал огонь. От огненного рева дрожал весь каньон.

Беглец бросил взгляд назад. Паук спрыгнул на усыпанный цветами выступ и устремился к обрыву. Человек метнулся к огромному штабелю бревен, который был вдвое ниже огненной башни, пробежал что-то похожее на мирно лежащую гигантскую, свернувшуюся кольцом красную змею — две пасти зияли по обоим концам её тела.

Паук в одно мгновение пересек дно каньона, продолжая преследование. Человек уже успел добежать до штабеля. Он бросился на землю и пролез в щель между двумя бревнами. Щель была настолько узка, что продвигался он в ней с невероятным трудом. Вокруг него царил темнота, сырость, холод и запах подгнившего дерева.

Извиваясь, он полз вперед, стараясь забраться как можно дальше. Наконец остановился и оглянулся.

Черный на фоне освещенного солнцем входа, паук хотел было преследовать свою добычу и здесь.

На краткий, но страшный миг человеку показалось, что паук пролезет в щель. Но нет, хищник застрял и вынужден был выползти наружу. В щели человек для него был недостижим.

Закрыв глаза, беглец лежал на земле, чувствуя, как холод проникает через одежду. Открытым ртом

он жадно ловил воздух и думал о том, что, наверное, это бегство от паука не последнее.

Пламя в стальной башне к тому времени затихло. В наступившей тишине было слышно лишь, как паук, бегая беспокойно снаружи, царапался своими ногами по каменному полу, по бревнам, переползая через них в поисках лазейки, сквозь которую можно было бы подобраться к жертве.

Когда шум паучьих лап наконец стих, человек, пятясь, осторожно полез из узкого, колючего прохода между бревнами. Выбравшись из щели, он с опаской встал и торопливо огляделся, пытаясь узнать, куда отошел паук. Высоко, по отвесной стене хищник полз к краю скалы, волоча на темных ногах огромное яйцеобразное тело. Человек с облегчением вздохнул. На какое-то мгновение он опять был в безопасности и, опустив голову, направился к месту своего обычного ночлега.

Медленной прихрамывающей походкой человек прошел мимо затихшей стальной башни, которая была обыкновенным масляным обогревателем, мимо огромной красной змеи — небрежно скрученного садового шланга без насадки, мимо просторной подушки с вышитой цветами наволочкой, мимо величественного оранжевого строения, которое оказалось садовыми деревянными креслами, поставленными друг на друга, мимо больших деревянных молотков для игры в крокет, висящих на своих крюках. Сбоку, с верхнего кресла торчали крокетные воротца, застрявшие в щели. Именно за них и пытался безуспешно ухватиться человек. А похожие на жестянки цистерны были всего-навсего пустыми банками из-под краски; паук же — обыкновенной «черной вдовой».

А жил человек в подвале.

Теперь, проходя мимо высыхающих дерева с одеждой на ветках, он шел к своему ночному пристанищу под водогреем. В двух шагах от цели он резко вздрог-

нул от шума заработавшего механизма водяного насоса, встроенного в бетонную нишу, прислушался к деловитому посапыванию и вздохам машины, подобным дыханию умирающего дракона.

Затем он взобрался на бетонную приступку, на которой возвышался эмалированный водогрей, и спрятался в баюкающих объятиях его тепла.

Долгое время он пролежал неподвижно на своей постели из прямоугольной губки, завернутой в рваный носовой платок. Из-за учащенного дыхания грудь поднималась короткими толчками, согнутые в локтях руки были безвольно разбросаны. Он смотрел неподвижным немигающим взглядом в ржавое основание водогрея.

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ. Всего два слова, но в них — все. В них — внезапное открытие, оказавшееся страшным ударом, превратившее жизнь в неотступный ежеминутный кошмар. Последняя неделя. Нет, уже меньше, ведь понедельник клонится к закату. Взгляд бесцельно метнулся на ряд пометок, начертанных углем на дощечке, служившей календарем. Десятое марта, понедельник.

Через шесть дней от человека уже ничего не останется.

По всему огромному подвалу опять разнесся рев пламени масляного обогревателя, и человек почувствовал, как под ним задрожала постель. Все это означало, что температура наверху в доме упала ниже уровня, термостат сработал на включение обогревателя и тепло вновь заструилось наверх через решетку в полу.

Человек подумал о тех, кто был там, наверху, о женщине и маленькой девочке: жене и дочери. Оставался ли он для них по-прежнему мужем и отцом? Или, может быть, из-за своих размеров он стал изгоем? Мог ли он, как прежде, считать себя частью

их мира, он, размером с жучка, которого Бет могла, даже не заметив, раздавить ногой?

Через шесть дней от него уже ничего не останется.

В последние полтора года мысль об этом неотступно преследовала его, он много раз пытался представить себе, как ЭТО произойдет, но всякий раз безуспешно. Его разум, всегда опиравшийся на строгие законы логики, восставал против самой возможности собственного исчезновения: казалось, вот-вот начнут действовать введенные препараты, процесс уменьшения остановится, — что-то же в конце концов должно произойти. Просто не укладывалось в голове, как можно быть настолько маленьким, чтобы...

Но он таким и был — настолько маленьким, что через шесть дней от него уже ничего не должно было остаться. Когда же им овладевало это дикое отчаяние, он подолгу, часами, лежал на своей самодельной кровати, едва отдавая себе отчет в том, был ли он еще жив или уже мертв. И ни разу еще ему не удалось совладать с этим отчаянием. Да и было ли это в его силах? Ведь, как ни пытался он убедить себя в том, что ему удастся приспособиться к своему нынешнему положению, совершенно очевиден был крах всех его стараний, так как никаких намеков на приостановку или хотя бы замедление процесса уменьшения не было. Процесс неумолимо развивался.

В мучительной агонии чувств человек весь съежился.

«Зачем он убегает от паука? Почему он не остановится? Тогда все решилось бы само собой. Смерть в паучьих лапах, конечно, страшна, но зато мгновенна. И с отчаянием наконец было бы покончено. Но все же он продолжал убегать от паука, искал, боролся и существовал.

К чему?»

Когда он рассказал обо всем жене, она сперва рассмеялась. Рассмеялась и тут же стихла. Молча,

пристально всмотрелась в него. Причиной тому было серьезное выражение его лица, выдававшее смущение.

— Уменьшаешься? — спросила она взволнованным шепотом.

— Да. — Это было все, что он смог выдать из себя.

— Но это же...

Она хотела было сказать, что это невозможно. Но обманывать себя не хотела. Слово, произнесенное вслух, обострило все те опасения, о которых она умалчивала и которые появились у нее впервые еще за месяц до этого разговора. С самого первого визита Скотта к доктору Брэнсону, когда у мужа искали не то искривление ног, не то плоскостопие, а доктор поставил диагноз — потеря веса вследствие переезда и смены обстановки, исключив возможность уменьшения у Скотта также и роста.

Опасения росли, когда рост Скотта продолжал неумолимо уменьшаться; ее же тревожили неотступные, мучительные предположения, опасения усилили второй и третий визиты к Брэнсону, рентгеновские снимки и анализ крови, обследование костной ткани, затем — попытки врачей найти признаки уменьшения костной массы, опухоли гипофиза, долгие дни, потраченные на получение все новых и новых рентгеновских снимков, и это ужасное обследование на предмет наличия раковых клеток. Опасения нарастали и сегодня, во время разговора.

— Но это же невозможно. — Ей пришлось сказать неправду, потому что правда не умещалась в голове и жгла язык.

Сам едва веря в то, что собирался сказать, Скотт медленно покачал головой.

— Доктор говорит, что все обстоит именно так, — ответил он. — Брэнсон сказал, что за последние четыре дня мой рост сократился более чем на сантиметр... — Скотт сглотнул слюну. — Но рост — это

еще не все. Похоже, я весь уменьшаюсь. Пропорционально.

— Неправда, — сказала она. В ее голосе звучало упорное нежелание признать то, что происходило в действительности. Другой реакции и не могло быть у нее.

— И это все? — раздраженно спросила она. — Это все, что он может сказать?

— Но, милая, это то, что происходит на самом деле, — ответил Скотт. — Брэнсон показал мне рентгеновские снимки — те, что были сделаны четыре дня назад, и те, которые он получил сегодня. Все верно. Я уменьшаюсь. — Скотт говорил так, словно ему только что сильно двинули в живот, и теперь он стоял, наполовину оглушенный, едва дыша от болезного шока.

— Неправда, — на этот раз ее голос был скорее испуганным, чем уверенным. — Мы обратимся к специалисту, — сказала она.

— Брэнсон мне это и посоветовал, — ответил Скотт. — Он сказал, что стоит обратиться в Пресвитерианский медицинский центр Колумбия в Нью-Йорке. Но...

— Вот и сходи, — перебила она.

— Милая, но нам это обойдется слишком дорого, — с мукой в голосе произнес Скотт. — Мы уже должны...

— Ну и что? Неужели ты допускаешь мысль, что...

Нервная дрожь не дала ей договорить. Она стояла, дрожа всем телом, скрестив на груди руки, покрывшиеся гусиной кожей.

Впервые с тех пор, как все это началось, она не смогла скрыть своего страха.

— Лу, — он обнял ее, — все нормально, милая. Все нормально.

— Нет. Ты должен пойти в этот центр. Ты должен.

— Хорошо, хорошо. Я пойду, — пробормотал он.

— А что сказал Брэнсон? Что они собираются делать? — спросила Лу, и Скотт услышал в ее голосе страстное желание узнать что-нибудь обнадеживающее.

— Он сказал.. — Скотт облизнул губы, пытаясь вспомнить. — А-а, он сказал, что надо проверить мои эндокринные, щитовидную, половые железы и гипофиз, исследовать процессы обмена веществ, возьмут и другие анализы.

Лу сжала губы.

— Если Брэнсон все это знает, то зачем же надо было говорить о том, что ты уменьшаешься. Так не лечат. Это глупость какая-то.

— Милая, ведь я сам попросил его, — ответил Скотт. — Я убедился в этом только когда начали брать анализы. Я просил Брэнсона ничего не скрывать от меня. Что же ему оставалось..

— Хорошо, — перебила она. — Но что за странный диагноз?

— Да ведь так оно и есть, Лу, — печально произнес он. — Есть доказательство. Эти рентгеновские снимки.

— Брэнсон мог ошибиться, Скотт, — сказала Лу. — Он же живой человек.

Скотт долго молчал, наконец тихо произнес:

— Посмотри на меня.

Когда все это началось, его рост был за метр восемьдесят. А сейчас он мог, не наклоняясь, смотреть жене прямо в глаза. Она была ростом метр семьдесят.

В отчаянии он уронил вилку на тарелку.

— Как нам быть? Разве мы можем себе это позволить? Лечение слишком дорого, слишком, Лу. По крайней мере месяц придется провести в больнице. Так сказал Брэнсон. А это целый месяц без работы. Марти и так уже нервничает. Как я могу вообще

рассчитывать на какие-то деньги от него, когда я даже не...

— Милый, главное — твое здоровье, — запальчиво произнесла Лу. — Марти об этом знает. Да и ты тоже.

Скотт опустил голову и стиснул зубы. Счета были теми тяжелыми цепями, которые отягощали все его существование. Он явственно чувствовал, как они с каждым днем все более сковывают его.

— Так что же мы будем... — начал было он, но умолк, заметив, что дочь пристально смотрит на него, забыв про свой ужин.

— Ешь! — сказала ей Лу. Бет вздрогнула и копнула политую соусом картошку.

— Чем мы будем расплачиваться? — спросил Скотт. — Ведь у нас нет медицинской страховки. Я и так уже задолжал Марти пятьсот долларов из-за этих исследований. — Он тяжело вздохнул. — Да и со ссудой военного ведомства может ничего не выгореть.

— Но ведь ты сам хочешь пойти в центр, — сказала Лу.

— Легко сказать «хочешь».

— Хорошо, а что бы ты сделал на моем месте? — резко возразила она, впрочем, с некоторой тревогой в голосе. — Что мне, забыть обо всем этом? Смириться с тем, что сказал доктор, сидеть сложа руки и... — Ее стали душить рыдания. А его рука, обнимающая жену, была холодна и дрожала, как и ее руки, и нисколько не успокаивала.

— Успокойся, — пробормотал он, — все хорошо, Лу.

Позже, когда она укладывала Бет спать, Скотт, стоя в темной гостиной, смотрел в окно на проезжающие мимо машины. Кроме шепота, доносящегося из спальни, во всей квартире не было слышно ни звука. Машины проносились, шурша по асфальту и сигналам.

ля, мимо дома, шаря в темноте по тротуару лучами фар.

Он вспомнил свое прошение о выдаче ему денег по страховке. Это было только частью плана, который они собирались реализовать, переехав на Восток. Для начала надо было поработать в фирме брата, потом попробовать получить ссуду в военном ведомстве для того, чтобы стать компаньоном Марти. Потом зарабатывать на жизнь: отложить денег на медицинскую страховку, открыть счет в банке, приобрести недорогую, но приличную машину, придется и, в конце концов, купить дом. Иными словами, оградить заботами от треволнений мира свою семью и себя.

И вот на тебе, весь план рушится. Приключившаяся беда грозит и вовсе развеять их мечты...

Скотт не знал, когда точно в голове у него возник этот вопрос. Но внезапно он начал мучить его. Сбьющимся, готовым разорваться в своем ледяном заточении сердцем беглец смотрел застывшим взглядом на свои поднятые руки с растопыренными пальцами.

Сколько же ему еще осталось уменьшаться и жить?

Воды для питья у него было достаточно. В днище бака, стоявшего рядом с электрическим насосом, была маленькая трещина: через нее по капле просачивалась вода. Под эту трещину Скотт подставил наперсток, найденный им однажды в швейной коробке, которая находилась в большой картонке под обогревателем. Наперсток был постоянно полон до краев кристально чистой колодезной водой.

Проблема заключалась в том, что у Скотта кончилась еда. Четвертинка черствого хлеба, которой он питался в последние пять недель, уже вся вышла. Последние крошки он доел нынче вечером, запив

скудный ужин водой. С тех пор, как Скотт стал пленником погреба, хлеб и холодная вода были его единственной пищей.

Он медленно прошел по темнеющему на исходе дня полу, направляясь к покрытой паутиной белой башне, стоявшей рядом со ступеньками, которые вели наверх, к закрытой двери погреба. Последние лучи солнца проникали сквозь заляпанные грязными разводами окна; одно из них находилось над принадлежавшими пауку песчаными холмами, второе — над топливным баком, третье — над штабелем бревен. Бледный свет, проходя сквозь окна, падал на цементный пол широкими серыми полосами, образуя мозаику из света и тьмы, по которой вышагивал пленник. Еще несколько минут — и погреб погрузится в холодную бездну тьмы.

Долгие часы Скотт провел, думая о том, как бы ему достать до шнурка, свисавшего над полом, чтобы, притянув его книзу и включив таким образом покрытую пылью лампочку, прогнать ужас темноты. Но дотянуться до шнурка было невозможно для Скотта — он висел в сотне футов от пола, на совершенно недостижимой высоте.

Скотт Кэри шел вокруг едва вырисовывавшейся в сумерках громады холодильника. «Они поставили его сюда, как только въехали в дом. С тех пор прошли месяцы? Казалось, уже целая вечность».

Холодильник был старой модели, с обмоткой в металлическом цилиндре, расположенном на крышке. Рядом с цилиндром лежала открытая пачка печенья. Во всем погребе, насколько помнил Скотт, больше съестных припасов не было.

О том, что на холодильнике лежит пачка печенья, он знал еще и до того, как злоключения загнали его сюда, в погреб. «Очень давно, как-то вечером, он оставил здесь эту пачку. Да нет, не так уж и давно это было на самом деле. Но теперь время для него

течет медленнее. Кажется, будто часы существуют для нормальных людей. Для тех же, кто ростом много меньше, они превращаются в дни, в недели...»

Разумеется, это была только иллюзия, но его, такого маленького, мучили тысячи иллюзий. Например, что это не он уменьшается, а мир вокруг него увеличивается; или что все предметы сохраняют свою природу и назначение лишь для людей нормального роста.

Для него же — и с этим Скотт не мог решительно ничего поделать — масляный обогреватель перестал быть обогревательным прибором, но фактически превратился в гигантскую башню, в недрах которой бушевало волшебное пламя. И шланг был уже не шлангом для поливки цветов, а неподвижной змеей, дремлющей, свернувшись в огромные ярко-красные кольца. Стена в три четверти высоты погреба рядом с обогревателем была стеной скалы; площадка, посыпанная песком, — ужасной пустыней, по барханам которой ползал не паук размером с человеческий ноготь, но ядовитый монстр ростом почти со Скотта.

Реальность стала относительной. И с каждым новым днем Скотт все больше убеждался в этом.

Через шесть дней реальность для него и вовсе перестанет существовать, — но не смерть будет тому причиной, а простое до ужаса исчезновение. Ведь когда роста в нем не останется и дюйма, разве будет для него существовать какая-нибудь реальность?

И все же он продолжал жить.

Скотт изучающе осматривал отвесные стенки холодильника, задавая себе один и тот же вопрос — как он заберется наверх, к печени?

От неожиданного грохота Скотт подпрыгнул и повернулся назад, озираясь. Сердце бешено забилося в груди. Это всего-навсего вновь ожил, весь сотрясаясь, масляный обогреватель. Механизм работал с таким грохотом, что пол ходил ходуном, а ноги Скотта

немели от пробегавшей по ним вибрации. Скотт с усилием сглотнул слюну. Его жизнь сродни жизни в джунглях, где каждый шорох предупреждает о при- таившейся опасности.

Сумерки сгустились. В темноте погреб становился очень страшным местом. И Скотт поспешил пересечь пространство погреба, ставшее едва ли не ледяным от вечерней прохлады. В халате, похожем на палатку, он весь трясся от холода. На эту немудреную оде- жонку ушла одна тряпочка, в которой Скотт сначала проделал дырку для головы; затем разрезал ткань по бокам и связал свободные концы узлами. Одежда, в которой он когда-то прямо-таки свалился в погреб, лежала теперь грязной грудой рядом с водогреем. Ее Скотт носил, пока это было хоть сколько-нибудь воз- можно: закатывал манжеты и рукава, затягивал по- тушке пояс брюк, в общем, носил, пока свободно ви- севшая ткань не превратилась в мешок, стеснявший движения. И вот Скотт сделал для себя халат, в котором только под водогреем спасался от холода.

Его шаг перешел в нервное подпрыгивание: ему вдруг захотелось побыстрее сойти с чернеющего пола. Взгляд на мгновение упал на верхний край скалы, и Скотт вздрогнул всем телом — ему привиделся паук.

То, что это была всего лишь тень, он разглядел уже на бегу. И опять — с бега — на нервный шаг.

«Привыкнуть к крадущемуся по пятам ужасу? — мелькнуло в голове. — Но возможно ли это?»

Вернувшись под нагреватель, Скотт надвинул на свою кровать картонную крышку и, оградив себя таким образом от возможного нападения паука, при- лег отдохнуть.

Его все еще пробирала дрожь. В нос ударял едкий запах пересохшего картона, и казалось, что вот-вот наступит удушье. Но это была очередная иллюзия, иллюзия, от которой он страдал каждую ночь.

Скотт пытался заснуть. До печенья он попробует добраться завтра, когда рассветет. А может быть, и вовсе бросит все свои попытки и, несмотря ни на какие страхи, просто будет ждать, когда голод и жажда сделают то, что он не смог сделать сам, — положат конец всем его мучениям.

«Чепуха! — с остервенением подумал Скотт. — Если я до сих пор еще не смирился с роком, то теперь и подавно не соглашусь на это».

64 д ю й м а

Луиза вела голубой «форд» по гладкому до блеска, широкому шоссе, которое, описывая дугу, вело от Куинз-бульвар к Кросс-Айленд-парку. Тишину в машине нарушал лишь шум работающего двигателя: запас ничего не значащих фраз истощился уже когда они, вынырнув из тоннеля Мидтаун, проехали с четверть мили, и пять минут назад Скотт придушил спокойно лившуюся из приемника мелодию, яростно ткнув пальцем в блестящую кнопку выключателя.

И теперь Скотт сидел, уставившись в лобовое стекло мрачным, ничего не видящим взглядом. Его одолевали тягостные раздумья.

Подавленность свалилась на него еще задолго до того, как Луиза приехала за ним в Центр. С этим чувством он начал бороться, как только сказал врачам о своем намерении покинуть больницу. Да и если уж дело на то пошло, с того момента, когда он переступил порог медицинского Центра, с ним все чаще стали случаться совершенно выбивающие из колеи приступы раздражительности.

Страх перед бременем финансовых проблем был одной из причин таких приступов, а еще глубже лежало то, что Скотт пасовал перед ожидавшей его в скором будущем бедностью, если не нищетой. Каж-

дый день, прожитый на грани нервного срыва; каждый день, не давший никаких результатов обследования, обострял раздражительность.

А тут еще и Луиза не только выказала свое недовольство его решением покинуть Центр, но и не смогла скрыть своего потрясения от того, что он стал на три дюйма ниже ее, — снести это было выше сил Скотта. С той минуты, как жена вошла в его палату, он почти все время молчал. То немногое, что он сказал, было произнесено тихим, отрешенным голосом и несло на себе глубокую печать недосказанности.

Вдоль шоссе потянулись богатые, но без претензии на роскошь, как и принято на Ямайке, земельные участки. Погруженный в раздумья о пугавшем его будущем, Скотт не замечал их.

— Что? — сказал он, чуть вздрогнув.

— Я спросила, ты уже завтракал?

— А, да. Около восьми утра, кажется.

— Хочешь есть? Может, мне остановиться где-нибудь?

— Нет, не надо.

Он бросил украдкой взгляд на жену и прочел на ее лице выражение напряженной нерешительности.

— Хорошо! Скажи мне то, что хочешь, — сказал Скотт. — Скажи, Бога ради, и гора с плеч.

Он увидел, как Лу нервно сглотнула и гладкая кожа на ее шее собралась в складку.

— Что сказать?

— Конечно, — Скотт резко кивнул головой. — Так и надо. Лучше всего делать вид, будто это я во всем виноват. И я, конечно, идиот, которому безразлично, что за напасть на него свалилась. Я... — Он осекся, прежде чем успел закончить свою мысль. Нахлынувшая из глубины души волна раздражительности, невысказанные страхи — все это вкупе свело на нет его попытки прийти в сильный гнев. Человека в положении Скотта, под гнетом непроходящего ужаса,

самообладание посещает не надолго; придет на мгновение-другое и вновь покинет.

— Ты знаешь, как я переживаю, — сказала Лу.

— Конечно, знаю, — ответил Скотт. — Однако тебе не приходится платить по счетам.

— Ну вот, я же говорила, что ты сразу начнешь думать о работе.

— Бессмысленно спорить об этом. То, что ты работаешь, положения не спасет, а мы совершенно погрязнем в долгах. — Он устало вздохнул. — В конце концов, какая разница? Они все равно ничего не нашли.

— Скотт, твой доктор сказал, что, возможно, для этого понадобятся целые месяцы! Врачи из-за тебя не успели даже закончить обследование. Как ты можешь...

— А что, они считают, я должен делать? — выпалил Скотт. — По-прежнему позволять им забавляться с собой? Да ты ведь не была там, ты ничего не знаешь. Они же со мной, как дети малые с новой игрушкой! Уменьшающийся человек, Боже всесильный, уменьшающийся... Да у них при виде меня глаза загораются, как... Да что там! Ничего, кроме моего «невероятного катоболизма», их не интересует.

— Все это, по-моему, пустяки, — спокойно возразила Лу. — Они же одни из лучших в стране врачей.

— И одни из самых дорогих, — в пику жене заметил Скотт. — Если я их так чертовски заинтересовал, почему же они не позаботились о предоставлении мне права на бесплатное обследование? У одного из них я даже спросил об этом. Ты бы видела, — он взглянул на меня, будто я посягнул на честь его матери.

Лу молчала. От прерывистого дыхания ее грудь вздрагивала.

— Я устал обследоваться, — продолжал Скотт, не желая вновь погрузиться в неуютную отчужденность

молчания. — Я устал от исследований обмена веществ и анализов на содержание протеина; видеть не могу радиоактивный йод и воду с барием. Я сходил с ума от рентгеновских снимков, всех этих лейкоцитов и эритроцитов, и от того, что на шее, как украшение, у меня висел счетчик Гейгера. Боже, по тысяче раз на дню в меня тыкали градусником. Ты не представляешь себе, что это такое. Это хуже инквизиторской пытки. А проку? Ни черта. Они же не нашли ни шиша. Да и никогда ничего не найдут. И за все это, спасибо, я еще должен им тысячи долларов. Да я...

Скотт откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Гнев, вызванный сравнительным пустяком, не только не дал желаемой разрядки, но и еще больше распалил.

— Они не успели закончить обследование, Скотт.

— А счета? Как быть с ними? Ты об этом подумала?

— Я думаю о твоём здоровье, — ответила Лу.

— А кто же из нас раньше постоянно дергался из-за того, что не хватало денег?

— Ты несправедлив ко мне.

— Неужели? Хорошо, ну, для начала, с чего это мы бросили Калифорнию и приехали сюда? Из-за меня? Это я, что ли, решил, что мне надо обязательно войти в дело Марти? Да мне и на старом месте было хорошо. Я не... — Скотт прерывисто вздохнул. — Забудь все, что я сказал. Извини меня, пожалуйста. И все же я не собираюсь возвращаться в Центр.

— Скотт, ты раздражен, тебя задела. Поэтому-то ты и не хочешь...

— Я не еоеду обратно, потому что это бессмысленно, — отрезал он.

Несколько миль они проехали в молчании. Затем Лу сказала:

— Скотт, неужели ты действительно думаешь, что я могла деньги ставить выше твоего здоровья?

Он не ответил.

— Неужели?

— Что говорить об этом, — тихо промолвил Скотт.

Утром следующего дня, в субботу, Скотт получил целую пачку бланков из страховой компании; разорвал их на мелкие кусочки и выбросил в мусорную корзину. Затем, полный печальных, тягостных мыслей, вышел из дома. Во время долгой прогулки он думал о Боге, создавшем небо и землю в семь дней.

Каждый день Скотт уменьшался на одну седьмую дюйма.

В подвале царил тишина. Масляный обогреватель только что затих, автоматически выключившись. Час назад стихло сопровождаемое звяканьем сопление водяного насоса. Вслушиваясь в тишину, Скотт лежал под крышкой картонной коробки. Он был страшно измотан, и все же ему не спалось. Ведя жизнь животного, но не лишившись человеческого разума, он не умел впадать в глубокий естественный сон зверя.

Паук появился около одиннадцати часов.

Скотт не мог точно знать, что было одиннадцать часов. Просто над головой еще раздавался шум шагов, и он помнил, что Лу обычно ложится спать около полуночи.

Скотт прислушивался к методичному царапанью лап паука по крышке картонки. Хищник двигался от одного края к другому, сползал с крышки и вновь на нее забирался, выискивая с ужасающим терпением хоть какую-нибудь дырочку.

Черная вдова. Люди дали пауку такое название за то, что самки после спаривания, если представляется такая возможность, убивают и пожирают самцов.

Черная вдова. Черного цвета с блестящим отливом, с узким треугольником ярко-красного цвета на яйце-

видном брюшке, которое еще называют «песочными часами». Тварь с высокоразвитой нервной системой и обладающая памятью. Ее яд в двадцать раз опаснее яда гремучей змеи.

Черная вдова забралась на крышку, под которой сидел Скотт. Сейчас она была чуть меньше его, через несколько дней будет одного размера с ним, а пройдет еще короткое время — станет уже больше Скотта.

От этой мысли стало как-то не по себе. Как же он тогда сможет убежать от гадины?

«Я должен выбраться из погребца», — мелькнула мысль.

Глаза закрылись. Скотт обмяк всем телом от охватившего его чувства полной беспомощности. Уже пять недель он пытается выбраться из погребца. Но теперь его шансы на успех сведены почти к нулю, ведь его рост уменьшился в шесть раз по сравнению с первым днем заточения.

Опять послышалось царапанье, теперь уже под картонной стенкой.

В одной из стенок крышки была маленькая дырочка, и в нее паук без труда мог просунуть одну из своих лап.

Скотт лежал, вздрагивая и прислушиваясь к тому, как сребутся колючие лапы хищника по цементу. Звук напоминал скрежет бритвы по наждачной бумаге. Хотя кровать стояла так, что паука отделяло от нее не меньше пяти дюймов, Скотта мучили кошмары. Наконец он с усилием закрыл глаза и тут же в отчаянии закричал:

— Пошел прочь! Пошел прочь!

Его голос прорезал пространство под крышкой пронзительным визгом, от которого у самого Скотта заболели барабанные перепонки. Он лежал, сильно вздрагивая всем телом, а паук неистово царапал лапами по картону и по цементу, подпрыгивал, ползал вокруг крышки, пытаясь пробраться внутрь.

Судорожно дергаясь, Скотт зарылся лицом в складки платка, в который была завернута губка. Воспаленный от диких страданий мозг пронзила мысль: «Если бы я только мог его убить! Тогда хоть последние дни протекли бы спокойно».

Примерно через час царапанье лап прекратилось — паук уполз. Скотт очнулся от оцепенения и опять почувствовал свое тело, покрытое липким потом, и пальцы, сведенные судорогой от холода и потрясения. Он лежал, прерывисто дыша приоткрытым ртом, губы его размякли от отчаянной борьбы с ужасом.

«Убить паука?»

От этой мысли кровь начала стечь в жилах.

Чуть позже Скотт забылся тревожным сном: всю ночь что-то бормотал, а его сознание мучили дикие кошмары.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Веки задрожали, и он открыл глаза. Только инстинкт подсказывал ему, что уже наступило утро. Под крышкой было еще темно. На вдохе грудь застонала. Скотт соскочил с губки, которая служила ему кроватью, и осторожно начал приподниматься. Когда плечо коснулось крышки, он медленно пробрался в угол крышки и, с огромным усилием встав во весь рост, сдвинул ее со своей кровати.

Во дворе, который был для Скотта уже отдельно существующим миром, шел дождь. В окна погреба сквозь всю в прорехах пелену из стекающих по стеклам капелек сочился тусклый свет, бросая на пол косые дрожащие тени и оставляя колышущиеся островки бледно-желтого цвета.

Первым делом Скотт спустился с цементной подставки и прошел к деревянной линейке. Это было его ежедневным первоочередным делом. Линейка была

прислонена к колесам огромной желтой косилки, там, где он ее когда-то поставил.

Скотт прижался всем телом к ее размеченной делениями поверхности и положил правую руку на макушку. Затем, не убирая руки, отступил назад и посмотрел на линейку.

Вообще-то на линейках нет делений для седьмых частей дюйма — он поставил их сам.

Ребро ладони заслоняло отметку для пяти седьмых дюйма. Рука безвольно упала, ударившись о бедро.

«А чего же ты ожидал?» — спросил его рассудок. Скотт не смог бы ответить на этот вопрос. Он недоумевал, зачем подвергает себя этой пытке, упорствуя в своем сверхрациональном самоистязании. Конечно, он уже не надеялся на то, что процесс уменьшения остановится и что в немногие оставшиеся ему дни начнется действие введенных препаратов. Но зачем тогда? Было ли это частью принятого им когда-то решения испить чашу до дна? Если так, то насколько же бессмысленно это было сейчас. Никто и никогда ничего не узнает о том, как он провел свои последние дни.

Скотт медленно шел по холодному цементному полу. Лишь слабый стук да шуршанье дождя по окнам нарушали тишину погребца. Откуда-то издали доносилась легкая барабанная дробь — вероятно, это дождь выбивал чечетку по двери-крышке погреба.

Не останавливаясь, Скотт машинально взглянул на верхний край скалы. Паука там не было.

Он с трудом пробрался под выступающими корнями — ножками дерева с одеждой — к ступеньке высотой в двенадцать дюймов, ведущей к огромной черной пещере, в которой стояли бак и водяной насос.

«Двенадцать дюймов», — подумал Скотт, медленно спускаясь вниз по веревочной лестнице, которую он сделал сам и прикрепил к кирпичу, стоявшему на ступеньке.

Всего двенадцать дюймов, но для него-то они были все равно что сто футов для человека нормального роста.

Скотт полз по лестнице очень осторожно, потому что при каждом движении больно ударялся костяшками пальцев о шершавую цементную стену.

Надо было ему раньше подумать о том, чтобы лестница не прижималась вплотную к стене. Но что поделаешь, теперь уже поздно, он стал слишком маленьким, чтобы исправить эту ошибку. Ведь, даже до боли в мышцах и суставах вытягивая тело, он уже с трудом доставал ногой до следующей провисающей ступеньки — и еще до одной, и так — до конца лестницы.

Поморщившись, Скотт плеснул себе в лицо студеной воды. Он едва достает до края наперстка; через два дня уже не будет доставать и, вероятно, не сможет спуститься по веревочной лестнице. Что он будет делать тогда?

Стараясь не думать о бесконечно множащихся проблемах, он пил пригоршнями холодную колодезную воду; пил, пока не стало ломить зубы. Затем вытер о халат лицо и руки и вернулся к лестнице.

На полпути вверх Скотту пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Он висел, перекинув руки через ступеньку, сделанную из обыкновенной ниточки.

«А что, если паук появится сейчас у верхнего конца лестницы? Что, если поползет вниз прямо на меня?» — Скотта передернуло.

«Довольно!» — обратился он с мольбой к рассудку. Но на самом деле спастись от паука было бы много сложнее, если бы рассудок постоянно не готовил Скотта к худшему и в голове не стояли бы все время картины дикой расправы гадины с ним.

Одолеваемый страхом, Скотт снова нервно сглотнул. Да, нужно все время быть готовым к худшему. Глотать было больно.

— О, Боже, — пробормотал он. Только на милость Бога ему теперь и оставалось уповать.

В зловещей тишине Скотт дополз до конца лестницы и направился к холодильнику, от которого его отделяла добрая четверть мили.

Мимо огромных колец шланга, рукоятки грабелей, для него — толщиной с дерево, — мимо колес косилки, высотой с дом, мимо плетеного стола, высотой в полхолодильника, который сам высился подобно десятиэтажному зданию. От голода у Скотта уже начало сосать под ложечкой.

Он стоял, запрокинув голову, и глядел на белую громаду. Ему не надо было рисовать в своем воображении облака, плывущие над цилиндрическим выступом холодильника, Скотт и так видел в нем вершину высоченной горы, путь до которой составлял не одну милю.

Взгляд упал вниз. Скотт заохал, но вдруг затих, услышав прерывистый грохот. Сотрясая пол, опять заработал масляный обогреватель. Он так и не мог привыкнуть к этому ужасному звуку. Включаясь, обогреватель всякий раз взрывался каким-то особенным ревом. Но, что еще хуже, казалось, что с каждым днем его грохот становится все громче и громче.

Долгое время, как показалось Скотту, он простоял в нерешительности, глядя на белые, как клавиши пианино, ножки холодильника. Страхнув наконец с себя мрачную подавленность, сделал резкий вдох. Стоять так вот без конца не имеет никакого смысла: либо он доберется до печенья, либо умрет с голоду.

Погруженный в разработку плана, Скотт шел вокруг плетеного стола.

Как и на всякую горную вершину, на верх холодильника можно было забраться разными путями. Но все они были не из легких. Он мог бы попробовать взобраться по лестнице, которая была приставлена к топливному баку, рядом с косилкой, на его крышку (а для Скотта уже это было почти равно покорению

Эвереста), по ней пройти к груде картонных коробок, перебежать по широкому кожаному чемодану Луизы к нитке, свисающей с холодильника, и по ней вскарабкаться к цели. Он также мог попробовать залезть на красный, с ножками крест-накрест, столик, с него перепрыгнуть на картонки, опять же пройти по чемодану к нитке и по ней забраться наверх. И был еще один путь. Скотт мог попытаться залезть на стоящий рядом с холодильником плетеный стол и уже с него начать долгий и опасный подъем по свисающей с белой громады нитке.

Скотт отвернулся от холодильника и посмотрел в противоположный конец погреба — на стену скалы, на принадлежности для крокета, на поставленные друг на друга садовые кресла, на пляжный зонтик, украшенный пестрым рисунком, оливкового цвета складные брезентовые стулья. Он глядел на все это глазами, в которых застыло отчаяние.

«Неужели нет иного нути наверх? Неужели, кроме этого злосчастного печенья, в погребе нет больше ничего съестного?»

Взгляд Скотта медленно двинулся по верхнему краю скалы. Там, наверху, еще лежал один-единственный засохший ломтик хлеба. Но Скотт знал, что туда он ни за что не полезет: страх, внушенный пауком, подавлял все. Даже голод не заставил бы его снова забраться на скалу.

Вдруг Скотт подумал: «А пауки съедобны?» От отвращения в желудке что-то протестующе забурчало.

Он выкинул эту мысль из головы и вновь обратился к стоявшей перед ним задаче.

Во-первых, трудность заключалась в том, что с голыми руками ему ни за что было не забраться наверх.

Скотт прошел к противоположной стене погреба. Через изношенные подошвы сандалий ледящий холод пола обжигал его ступни.

В сумраке отбрасываемой топливным баком тени он пролез сквозь обтрепанные края щели в картонной коробке. «А что, если паук подкарауливает его там?» Скотт замер — одна нога в коробке, другая снаружи, — сердце готово было выпрыгнуть из груди. Он сделал глубокий вдох, придавший ему решительности, и сказал себе: «Это же всего лишь паук, а не опытный тактик».

Заползая все дальше в заплесневелую глубину картонки, Скотт безуспешно пытался убедить себя в том, что паук не был разумным существом, а жил, подчиняясь лишь инстинктам.

Потянувшись за ниткой, Скотт коснулся холодного металла и тут же отдернул руку. Он сделал еще одну попытку. Оказалось, что это была обыкновенная булава. Губы скривились. Обыкновенная булава... Для него она была размером с рыцарское копьё.

Найдя нитку, Скотт размотал ее примерно на восемь дюймов и потом, скрежеща от напряжения зубами, целую минуту тянул, дергал ее, пока наконец не оторвал от катушки размером с бочонок.

Вытащив нитку из картонки, уже с ней он вернулся к плетеному столу. Затем совершил поход к штабелю бревен, где отломал для себя колышек длиной с половину своей руки. Отнеся свою добычу к столу, он привязал к ней нитку. Теперь Скотт был готов.

Первый бросок труда не составлял: как две лозы, ножку стола обвивали два прутика толщиной с тело Скотта. Тремя дюймами ниже первой полки стола прутики оторвались от ножки и устремились под углом к полке, затем, описав дугу, вновь сплелись около ножки, уже тремя дюймами выше полки.

Скотт бросил колышек в пространство между ножкой стола и одним из оторвавшихся прутиков. Раз, два. С третьей попытки ему удалось попасть в цель, после чего он осторожно подтащил колышек на себя

так, чтобы тот прочно засел между ножкой и прутиком.

Упираясь ступнями в ножку стола, Скотт полез вверх, тело его при этом раскачивалось на нитке в разные стороны.

Преодолев первый этап подъема, он подтянул снизу нитку, вытащил из щели между прутиками и ножкой стола колышек и приготовился к следующему этапу. С четвертой попытки ему удалось метнуть колышек прямо в зазор между двумя прутиками плетеной полки и по нитке взобраться наверх.

Едва чувствуя свое тело, тяжело дыша, Скотт растянулся на полке. Несколько минут спустя он сел и посмотрел вниз — для него до пола было футов пятьдесят. Скотт уже был измотан, а подъем наверх еще только начался.

Далеко, в другом конце погребца, вновь с шипением запыхтел насос. Прислушиваясь к этому вновь ожившему звуку, Скотт вглядывался в широкий навес, образованный крышкой стола, до которого было еще пятьдесят футов.

— Вперед, — прохрипел он чуть слышно, — вперед, вперед, вперед, вперед, вперед.

Скотт встал на ноги и, сделав глубокий вдох, бросил колышек в то место, где отбившиеся от ножки стола два прутика вновь подошли к ней и переплелись. Ему пришлось отскочить в сторону, так как колышек в цель не попал и всей своей тяжестью падал на него сверху. Правая нога соскользнула в зазор в плетеной полке, и Скотт едва успел вцепиться в поперечные прутики, чтобы не угодить всем телом в ловушку. Некоторое время он так и висел с одной ногой, болтающейся в воздухе под полкой. Затем, не в силах сдержать стон, Скотт подергал ногу вверх и вниз, освободил ее и рывком встал, сморщившись от боли. Он подумал, что, вероятно, растянул сухожилие. Стиснув зубы, Скотт с громким присвистом выдохнул

воздух из легких. Больное горло, растяжение ноги, голод, усталость. Что еще поджидает его?

Напрягаясь до дрожи в мышцах, двенадцать раз он бросал колышек вверх, пока наконец не попал в цель. Потянув нитку назад до полного ее натяжения, он стал подтягивать свое тело на высоту еще тридцати пяти футов, яростно скрежеща от напряжения зубами, сквозь которые пробивалось горячее дыхание. Во время подъема Скотт не обращал внимания на жгучую боль в мышцах; добравшись же до разветвления прутьев и протиснув тело между ножкой стола и прутьем, Скотт замер в изнеможении, полулежа, наполовину свисая, жадно хватая ртом воздух, не в силах сдержать нервную дрожь в мышцах.

«Я должен передохнуть, — сказал себе Скотт, — больше двигаться не могу». И погреб поплыл у него перед глазами.

На той неделе, когда рост его был пять футов три дюйма, Скотт поехал навестить мать. Во время их предыдущей встречи он был на семь дюймов выше.

Страх холодными тисками сжал сердце Скотта, когда он шел по Бруклин-стрит к каменному, коричневого цвета дому, в котором жила его мать. На улице двое ребят играли в мяч. Один из них пропустил удар, и мяч отскочил в сторону Скотта. Тот нагнулся было, чтобы поднять его.

Но вдруг один из мальчишек крикнул:

— Кидай сюда, малыш!

Скотта передернуло, будто от удара током, и он с силой швырнул мяч обратно.

— Неплохой удар, малыш! — воскликнул мальчишка.

Скотт пошел дальше. Лицо его было мертвенно-бледным.

Невыносимо было и время, проведенное вместе с матерью. Он прекрасно помнил, как все это было.

Поначалу мать старалась не касаться главной больной темы и переводила разговор на Марти, Терезу и их сына Билла, на Луизу и Бет, рассказывала о своей спокойной и радостной жизни, которую она вела благодаря постоянным заботам Марти. Затем мать накрыла на стол. Тарелки, чашки, мясные блюда, пирожные — все стояло в строгом, давно заведенном порядке. Скотт сел рядом с ней. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Кофе лишь обжигал ему горло, а пирожные казались абсолютно безвкусными.

Наконец, когда было уже очень поздно, мать заговорила о главном.

— А это, ну, что у тебя, — проговорила она, — тебя лечили от этого?

Скотт точно знал, что именно она хотела услышать, и рассказал ей о Центре и о проведенных исследованиях.

Некоторое облегчение разгладило морщины на нежно-розовом лице матери.

— Хорошо, — сказала она, — хорошо. Врачи тебя вылечат. Ведь сейчас они все могут. Абсолютно все.

На этом разговор и закончился.

По дороге домой Скотт чувствовал себя отвратительно. Он ожидал от матери чего угодно, но только не такой реакции на его недуг.

Дома Луиза загнала Скотта в угол на кухне, настаивая на его возвращении в Центр, чтобы врачи могли закончить обследование.

Сама она будет работать. Бет отправит в ясли. Все будет нормально. Голос Лу, сначала твердый и уверенный, вдруг сорвался на приглушенные рыдания, в которых звучали страх и отчаяние.

Скотт, пытаясь успокоить Лу, обнял ее. Он хотел заглянуть ей в глаза, но только в очередной раз увидел, насколько он стал ниже ростом. И от этого Скотта снова охватило чувство собственной неполноценности.

— Хорошо, — сказал он жене, — хорошо. Я вернусь в Центр. Правда, вернусь. Не плачь.

На следующее утро он получил письмо из Центра, в котором говорилось, что в силу необычайной природы его заболевания, изучение которого может внести неоценимый вклад в развитие медицины, врачи согласились закончить обследование бесплатно.

А потом — возвращение в Центр. Скотт хорошо помнил, как все это было. А затем — открытие врачей.

Скотт заморгал, и взгляд его ожил. Тяжело дыша и опираясь одной рукой о ножку стола, он поднялся на ноги. В том месте, где он теперь находился, два витых прутика совсем отошли от ножки стола, параллельно перекладинам, подпиравшим крышку, и устремились в разные стороны вверх. Параллельно каждому изгибу прутиков вверх, в пространство между крышкой стола и прутиками, подобно гигантским перилам, с каждой стороны были вставлены еще по три прута. Теперь нитка больше не нужна.

Скотт карабкался под углом в семьдесят градусов, наклоняясь к вертикальному пруту и пытаясь ухватиться за него рукой, потом подтягивал к нему тело, сандалии его при этом со скрипом скользили по перекладине. Наконец он метнулся к последней перекладине и подтянулся к ней всем телом. Думая лишь о том, как бы забраться наверх, Скотт смог прогнать прочь все свои мысли и надолго погрузиться в полное безразличие к ощущениям, предметам; лишь только сосущее чувство голода непрерывно напоминало ему о его плачевном положении.

Наконец, пытаясь, мучаясь, с саднящим ощущением в горле от жаркого дыхания, он добрался до конца наклона и сел, втиснув тело между перекладной и последним вертикальным прутком и безразлично глядя

на нависшую над ним огромную крышку стола. Отчаяние пало тенью на его лицо.

— Нет, — пробормотал он хриплым голосом.

Взглядом, полным боли, он огляделся вокруг. До края крышки стола было три фута, которые можно было бы преодолеть в прыжке. Но, даже прыгни он, ухватиться ему там не за что.

— Нет.

Неужели весь этот путь он преодолел напрасно? Поверить в это Скотт не мог, не смел даже допустить такой мысли. Веки его тяжело опустились.

«Оттолкнусь и полечу, — думал он. — И упаду на пол. Сил моих больше нет».

Скотт опять закрыл глаза. От нервного напряжения у него ходили желваки. Вниз он ни за что не бросится, а если и упадет на пол, то лишь по несчастной случайности, пытаясь допрыгнуть до края крышки. Ни за что на свете он не бросится вниз по своей воле.

Скотт ползал по горизонтальной перекладине под самой крышкой стола в поисках выхода. Выход должен быть. Должен.

Перейдя на поперечную перекладину, он неожиданно нашел выход. Под крышкой стола Скотт увидел прибитую к ней деревянную планку в два раза толще его руки. В том месте, где два гвоздя отошли от крышки, планка выгнулась на четверть дюйма вниз. Четверть дюйма — это почти три фута для него. Если бы ему удалось допрыгнуть до зазора между планкой и крышкой, он смог бы ухватиться за планку и тогда уже забраться на крышку стола.

Тяжело дыша, Скотт сидел на перекладине и пристально смотрел на провисающую планку и на пространство, отделяющее его от нее. Расстояние составляло по меньшей мере четыре фута.

Четыре фута пустого пространства.

Он облизнул сухие губы. На улице усилился дождь. Скотт слышал, как тяжелые капли разбивались о подоконник. Угрюмый свет дождливого дня волнами падал на лицо. Скотт посмотрел на окно, от которого его отделял штабель бревен длиной в четверть мили. Вода бежала по стеклам замысловатыми, извивающимися ручейками, и от этого Скотту казалось, что с улицы на него смотрят огромные, глубоко ввалившиеся глаза.

Скотт отвернулся от окна. Стоять так вот, без действия, было бессмысленно. Надо поесть. Не может быть и речи о том, чтобы спуститься вниз. Он должен ползти вверх. Скотт собрался с силами для прыжка. В голове пронеслось: «Можно даже не успеть испугаться. И так закончится мое долгое, невероятное приключение». Он сжал губы, прошептал:

— Будь что будет.

И бросился вперед.

Скотт с такой силой ударился о планку руками, что они почти онемели. «Падаю», — закричало сознание. Но вот руки перекинулись через планку, и, хватая ртом воздух, болтая ногами, Скотт повис над гибельной пустотой.

Не одну секунду его тело висело в воздухе. Наконец руки вновь стали слушаться, он восстановил дыхание и осторожно, мучительно вполз на планку и увидел перекладину, с которой прыгнул. Упираясь руками в крышку стола над головой, чтобы удержаться на планке, он с трудом сел. Так он сидел некоторое время. Руки и ноги его дрожали от нервного напряжения. Но самым сложным был последний этап подъема — на крышку стола.

Ему придется, стоя на гладкой, округлой поверхности планки, наклониться в сторону и перекинуть руки через край стола. Насколько он знал, руками ему не за что будет зацепиться. Все будет зависеть от того, удастся ли ему вдавить руки в поверхность

стола с такой силой, чтобы одно только трение удержало тело на весу. А потом ему надо будет перелезть через край.

На какое-то мгновение Скоттом овладело понимание всей нелепости того, что с ним происходит, — безумия мира, в котором он расстанется с жизнью, пытаясь забраться на крышку стола, которую нормальный человек мог бы без труда поднять одной рукой. Но все эти мысли он прогнал и приказал себе: «Забудь об этом».

Скотт глубоко дышал, пока в руках и ногах не успокоилась дрожь. Затем медленно, осторожно привстал на гладкой деревянной поверхности, помогая себе держать равновесие тем, что упирался руками в край крышки стола над головой. Сандалии были скользкими, и поэтому Скотт каждый момент мог сорваться с планки. Хотя без сандалий ногам будет зябко, ему придется с ними распрощаться. Осторожно, одну за другой, Скотт стряхнул обувь с ног и через мгновение услышал, как сандалии стукнулись об пол. На миг он закачался, затем восстановил равновесие и сделал вдох полной грудью. Замер. «Готов!»

Оттолкнувшись что было сил от планки, он подался всем телом вперед, и ладони его с хлопком упали на поверхность стола. Взору предстало множество громадных предметов. Руки заскользили по дереву, Скотт стал цепляться за поверхность крышки пальцами, пытаясь вогнать в нее ногти. Но руки продолжали скользить к краю стола, а тело своей тяжестью тянуло вниз.

— Нет, — приглушенно простонал Скотт.

Ему опять удалось рывком продвинуться вперед, он царапал пальцами по деревянной поверхности, отчаянным усилием вжимая в нее свои руки.

Вдруг Скотт увидел загнутый металлический прут, который свисал в четверти дюйма от его пальцев. Либо он дотянется до прутика, либо упадет. Одной

рукой Скотт продолжал отчаянно цепляться за крышку, загоняя под ногти занозы, вторую поднял и протянул к пруту.

«Осторожно!»

Поднятая рука опять шлепнулась на крышку стола, и пальцы, как ногти агонизирующего хищника, впились в дерево. Он снова начал скользить к краю. В последнем бешеном рывке ему удалось схватиться за прут, и через мгновение Скотт уже сжимал обеими руками его холодный металл. Раскачиваясь в воздухе ногами, напрягая весь остаток сил, Скотт наконец перетащил свое тело через край стола. Его руки отпустили прут, — который оказался ручкой банки из-под краски, — и Скотт всей тяжестью упал на живот.

Он долго лежал в таком положении, не в силах пошевелиться, жадно вдыхая полные легкие холодного воздуха. Его била мелкая дрожь, напоминавшая о пережитом ужасе и физическом перенапряжении. «Залез, — думал Скотт. — Залез, залез». И он был не в состоянии думать о чем-либо другом.

Как он ни устал, мысль о победе согревала его и придавала уверенности.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прошло некоторое время. Он нетвердо встал на ноги и огляделся кругом.

Вся поверхность огромной крышки стола была завалена внушительного вида банками из-под краски, бутылками, склянками. Скотт пошел мимо этих исполинов. По дороге он забрался на полотно пилы с зазубренным краем и потом бежал что было мочи по ее гладкой и холодной, как лед, поверхности, чтобы быстрее вновь ступить на крышку стола.

Оранжевая краска. Скотт прошел мимо раскрашенной яркими полосами банки, и голова едва доходила до нижнего края этикетки. Он вспомнил, как когда-то подолгу красил в погребе садовые стулья. Но все это было в прошлом, от которого его отделяло роковое падение в погреб.

Запрокинув голову, Скотт глядел на запачканную оранжевой краской ручку кисточки, торчащую из склянки гигантских размеров. Всего какой-то день тому назад он мог бы удержать кисточку в руках. Теперь же она была в десять раз длиннее его тела. Для него она стала огромной, полированной желтой дубиной, с острым, как нож, концом.

Раздался громкий щелчок, и погреб опять наполнился сравнимым с шумом океана ревом масляного обогревателя. Сердце забилося учащенно, но через некоторое время его биение снова стало ровным. Нет, никогда он не сможет привыкнуть к этому всегда неожиданному, как гром среди ясного неба, реву обогревателя. Но, впрочем, все равно, ведь мучиться осталось не больше четырех дней.

Ноги начали замерзать, нельзя было терять ни секунды. Пройдя между пустыми банками из-под краски, похожими на неуклюжих монстров, он вышел к свисающей перепутанными кольцами с крышки холодильника веревке толщиной с его тело.

Вот уж настоящее везение. Рядом с высявшейся, как башня, коричневой бутылкой из-под скипидара Скотт нашел мятую тряпку розового цвета. Судорожно обмотал часть ее вокруг тела, подоткнул под ноги, а на оставшуюся свободной часть лег спиной, ощутив под собой ее морщинистую поверхность и провалившись в нее, как в перину. От тряпки густо пахло краской и скипидаром, но ему уже было все равно. Укутавшись, он вскоре погрузился в ласковые объятия тепла.

Запрокинув голову и прищурившись, Скотт смотрел на такую далекую крышку холодильника. Оставалось преодолеть подъем в семьдесят пять футов. На стенке холодильника не было ни единой щербинки, в которую он мог бы поставить ногу. Опоры для ног надо будет искать на самой веревке. Но, по всей видимости, все семьдесят пять футов придется преодолеть, подтягиваясь на руках.

Глаза закрылись, и некоторое время Скотт пролежал, не открывая их. Медленно дыша, он старался максимально расслабиться. Если бы в желудке унялась острая боль, вызванная голодом, он смог бы уснуть. Но эта боль волнами обрушивалась на стенки желудка, и от этого тот недовольно урчал. Скотт недоумевал: неужели ощущения не обманывали его и желудок его был совершенно пуст?

Поймав себя на том, что он весь отдался мыслям о еде — о ростбифе, роняющем каплипряного соуса, и бифштексе, щедро посыпанном грибами с коричневыми краями и луком, — Скотт понял, что ему пора вставать. Пошевелив еще раз отогревшимися пальцами ног, он сбросил с себя скользкое покрывало и встал.

Только теперь он вспомнил о происхождении тряпки, под которой отогрелся.

Это был обрывок нижней юбки, когда-то принадлежавшей Лу, но уже давно изношенной и выброшенной в коробку со старым тряпьем. Подняв уголок тряпки, Скотт помял пальцами мягкую ткань и ощутил странную, острую боль в груди и животе. Но уже не голод мучил его, а память об утерянном.

— Лу, — прошептал он, не в силах отвести взгляд от материи, которая когда-то касалась теплого, испускающего нежный аромат тела жены.

В сердцах Скотт бросил тряпку, и на лице его застыла суровая маска. Он поддал тряпку ногой. Потрясенный этим новым переживанием, отвернулся

от тряпки и пошел твердым шагом к краю стола. Подойдя к веревке, ухватился за нее руками. Она была такая толстая, что он не мог ухватиться за нее пальцами. «Значит, придется ползти по ней, как по дереву».

К счастью, веревка свисала так, что первую часть пути Скотт мог проползти на четвереньках.

Он потянул веревку изо всех сил вниз, чтобы проверить, прочно ли она крепится наверху. Веревка чуть-чуть поддалась, потом натянулась. Скотт потянул еще раз. «Все, прочно держится». Но это означало крушение всех его надежд на то, что ему удастся сбросить вниз вместе с веревкой коробку печенья. Коробка лежала на скрученной кольцами на крышке холодильника веревке, и он питал некоторую надежду на то, что ему удастся стащить ее вниз.

— Ладно, — сказал Скотт и, набрав в легкие побольше воздуха, полез вверх.

Карабкаясь по веревке, он пользовался методом жителей побережий южных морей, при помощи которого они забираются на кокосовые пальмы, — колени подбирал повыше, тело выгибал дугой, сдвигая веревку ступнями, обхватив ее руками и цепляясь за нее пальцами. Не глядя вниз, Скотт упорно лез вверх.

Тяжело задышав, он напряг все мышцы, судорожно вжимаясь телом в веревку, которая сползла на несколько дюймов, а для него — на несколько футов вниз. Веревка заходила из стороны в сторону, извиваясь легкими волнами, а он висел на ней, дрожа всем телом.

Через несколько мгновений веревка замерла, и Скотт опять полез вверх, но теперь много осторожнее.

Через пять минут он добрался до первой петли свисающей веревки и уселся на ней верхом. Сидя, как на качелях, Скотт крепко держался рукой за веревку, упираясь спиной в холодильник. От стенки холодиль-

ника веяло холодом, но халат на нем был из толстой материи и поэтому холода он не чувствовал.

Скотт оглядел все необъятное пространство царства погреба, в котором жил. Где-то далеко — почти в миле от себя — увидел край скалы, груды садовых кресел, крокетные принадлежности. Взгляд его двинулся дальше. Вон там огромная пещера с водяным насосом, дальше гигантский водогрей, из-под которого выглядывает краешек его ночного убежища — крышки картонной коробки.

Взгляд переместился еще дальше, и он увидел обложку журнала.

Журнал лежал на подушечке на крышке металлического стола с ножками крест-накрест, который стоял рядом с тем столом, с которого он начал свой подъем по веревке. Раньше Скотт не замечал журнала, потому что его загораживали жестянки из-под краски. На обложке была фотография женщины. Высокая, вряд ли красивая, но хорошенькая, она стояла, облокотившись на камень, и на лице ее сияло выражение довольства. На ней были плотно облегающий красный свитер и не менее плотно сидящие черные шорты, закрывавшие только бедра.

Скотт пристально глядел на фотографию дородной женщины: улыбаясь, она смотрела с обложки прямо на него.

«Странно», — подумал Скотт, сидя на веревке и болтая босыми ногами в воздухе. Он уже давно не испытывал желания. Его тело нуждалось лишь в том, что поддерживало жизнь, — в пище, одежде и тепле. Его существование в погребе, с того самого рокового зимнего дня, было подчинено одной цели — выжить. Иных желаний для него как бы и не существовало. Но сегодня он нашел обрывок нижней юбки Луизы и увидел огромную фотографию женщины.

Взглядом, полным любовного томления, он проследил очертания ее гигантского тела — два холма

высокой пышной груди, легкую возвышенность живота, два столба длинных ног, уходящих пирамидой вверх.

Скотт не мог оторвать взгляда от женщины. Солнечный свет играл золотом в ее темно-каштановых волосах. Ему казалось, что он чувствовал на губах их мягкую шелковитость. Ему казалось, что он вдыхал ароматное тепло ее тела. Мысленно скользя руками по ее ногам, Скотт представлял, какая у нее гладкая кожа. Он представлял, как наполняет целые пригоршни ее податливыми грудями, мысленно вкушал сладость ее губ и тонкой струйкой вливал в себя теплый дурман ее дыхания. Содрогнувшись от охватившего его чувства бессилия, Скотт невольно раскачал веревку под собой.

— О Боже, — прошептал он. — О Боже, Боже...
Он по многому изголодался.

49 дюймов

Выйдя из ванной с мокрым, распаренным от душа и бритья телом, он застал Лу в гостиной за вязаньем. Телевизор был выключен, и тишину нарушал лишь шелест редких машин под окнами дома.

Скотт задержался в дверях, глядя на Лу.

На ней был желтый халат, брошенный на ночную рубашку. Халат и рубашка были из шелка и плотно облегали округлые выступы ее груди, широкие бедра, длинные прямые ноги. Скотт почувствовал в нижней части живота резкое покалывание, как от электрического разряда. Как долго он не испытывал ничего подобного: то запрет врачей из-за обследования, то работа, то бремя не покидающего страха.

Лу взглянула на него и улыбнулась.

— У тебя такой свежий вид, — сказала она.

Не слова жены, не выражение ее лица, но что-то иное, необъяснимое заставило его вспомнить о своем росте и прийти в крайнее смущение. Скривив губы в жалкое подобие улыбки, Скотт прошел к дивану и сел рядом с Лу, тут же пожалев о том, что сделал это.

Она потянула носом воздух и сказала: «От тебя очень приятно пахнет». Она имела в виду запах его лосьона для бритья.

Скотт что-то тихо буркнул себе под нос, глядя на правильные черты ее лица, на ее пшеничного цвета волосы, зачесанные назад и завязанные в хвостик ленточкой.

— Ты выглядишь хорошо, — сказал он. — Просто здорово.

— Здорово! — усмехнулась она. — Не я, а ты.

Скотт резко наклонился к ней и поцеловал ее теплую шею. Лу подняла левую руку и медленно погладила его по щеке.

— Такая приятная, гладкая, — пробормотала она.

Он сглотнул. Было ли это игрой воображения, его самолюбия, или она действительно разговаривала с ним как с мальчиком? Скотт медленно убрал левую руку с ее такой горячей ноги и посмотрел на белую полоску, оставшуюся у него на пальце. Две недели назад ему пришлось снять обручальное кольцо из-за того, что пальцы у него стали слишком тонкими.

Прочистив горло, он спросил безо всякого интереса:

— Что ты вяжешь?

— Свитер для Бет, — ответила она.

— А...

Скотт молча сидел и смотрел, как жена ловко работает длинными вязальными спицами. Затем порывисто положил щеку ей на плечо. Мозг его тут же отметил: «Неверный ход». И от этого Скотт почувствовал себя совсем маленьким — ребенком, прикипшим к матери. Однако он не пошевелился, думая, что было бы совсем уж нелепо сразу отодвинуться. Скотт чув-

ствовал, как мерно поднималась и опускалась ее грудь и как у него в животе от нервов что-то напрыглось, да так и не отпустило.

— А что ты спать не идешь, не хочешь? — тихо спросила Лу. Он поджал губы, по спине у него пробежал озноб.

— Нет, — ответил Скотт.

Опять показалось? А может, и вправду голос его, будто лишенный мужского тона, звучал как-то слабо, по-детски? Скотт угрюмо посмотрел на треугольный вырез халата жены, на глубокую впадину между двумя высокими холмами ее грудей. От того, что он подавил в себе это желание дотронуться до них, в пальцах у него возникла нервная дрожь.

— Ты устал? — спросила Лу.

— Нет. — Ответ получился слишком резким. Уже мягче Скотт добавил: — Немножко.

После некоторого молчания Лу спросила:

— А что же ты не доел мороженое?

Со вздохом он закрыл глаза. Может быть, это все и показалось ему, да что толку, он все равно сам чувствует себя мальчиком — нерешительным, ушедшим в себя, задумавшим глупую затею, — пробудить желание в этой взрослой женщине.

— Может, тебе принести его сюда? — спросила жена.

— Нет! — Скотт убрал голову с ее плеча и, тяжело откинувшись на подушку, мрачно оглядел комнату. Вся она была какая-то безрадостная. Их мебель еще стояла на старой квартире в Лос-Анджелесе, и здесь они поставили то, что Марти за ненадобностью и древностью хранил на чердаке. Угнетающая комната: стены темно-зеленого цвета, ни одной картинки, всего одно окно, завешанное бумагой вместо занавесок, потертый ковер, скрывающий часть поцарапанного пола.

— Что с тобой, дорогой? — спросила Лу.

- Ничего.
- Я что-то сделала не так?
- Нет.
- Тогда что?
- Говорю же — ничего.
- Ладно, — тихо ответила Лу.

Неужели она ничего не понимает? Понятно, для нее настоящее испытание — жить в состоянии страшного напряжения, каждую секунду ожидая звонка, телеграммы, письма из Центра, но — только пока безрезультатно. И все же...

Скотт снова посмотрел на ее пышное тело, и у него перехватило дыхание. Его мучило не только физическое желание и не столько оно, сколько страх встретить завтра и послезавтра уже без нее; Скотта изматывал ужас его положения, не поддающегося описанию.

Не несчастный случай вырвет его из ее жизни; не быстротечная болезнь, оставляющая человека в памяти родных и друзей таким, каким он был при жизни, в одночасье, безжалостно лишит его любви Лу; и не продолжительная болезнь, во время которой он, по крайней мере, оставался бы самим собой, и, хоть Лу смотрела бы на него с жалостью и страхом, во всяком случае она видела бы перед собой человека, которого знала еще до начала болезни.

Его беда была страшнее, много ужаснее.

Так пройдут месяцы, может быть, целый год, если врачам не удастся остановить развитие недуга. День за днем они проживут вместе целый год, а он все будет уменьшаться. Они будут есть за одним столом, спать в одной постели, а он все будет уменьшаться. Они будут заботиться о Бет, слушать музыку, видеть друг друга каждый день, а он все будет уменьшаться. И каждый день он будет встречать какую-нибудь новую неприятность, свыкаться с каким-нибудь новым ужасным открытием. Он будет уменьшаться, и весь

сложный механизм их взаимоотношений будет претерпевать какие-нибудь изменения каждый день.

Они будут смеяться, ведь это же невозможно — все время ходить с постными лицами. Возможно, однажды посмеются какой-то шутке — и это будет момент веселого забвения всех страхов. А затем снова на них обрушится темным океаном, сметающим на своем пути все преграды, ужас: смех смолкнет, и радости придет конец. И правда, от которой по телу бегут мурашки, правда о том, что он уменьшается, вернет им все их страхи и омрачит жизнь.

— Лу.

Она повернула к нему голову. Скотт наклонился, чтобы поцеловать жену, но не смог дотянуться до ее губ. Придя в раздражение, он отчаянным движением встал коленом на диван и запустил правую руку в копну ее шелковистых волос, нервно надавливая ей на голову кончиками пальцев.

Резким движением отклонив голову Лу назад, Скотт впился в ее губы и вдавил ее своей тяжестью в подушку. Из-за неожиданности происшедшего губы Лу были напряжены.

Он услышал, как упали на пол свитер и клубок и как приятно шуршали в его сжимающихся пальцах ее шелковистые волосы. Скотт провел рукой по ее мягкой податливой груди. Оторвавшись от ее губ, впился своими полуоткрытыми губами в ее шею, сладостно-медленно покусывая зубами ее теплую кожу.

— Скотт! — задыхаясь, произнесла Лу.

От ее голоса он будто вмиг обессилел. Им овладело чувство холодной пустоты внутри. Почти устыдившись того, что он сделал, Скотт отодвинулся от жены. Руки его безвольно сползли с ее тела.

— Милый, что такое? — спросила она.

— Разве ты сама не знаешь? — и Скотт неприятно поразился тем, как дрожит его собственный голос.

Быстрым движением он приложил руки к щекам и прочел во взгляде жены, что она вдруг все поняла.

— О, милый мой, — сказала Лу, наклонившись к нему. Своими теплыми губами она прижалась к его губам, а он все так и сидел, будто окаменев. Ее ласки, голос, поцелуй — все было лишено страсти, все было не так как у женщины, страстно желающей своего мужа. В голосе Лу, в ее прикосновениях была только снисходительность доброй женщины, жалеющей беднягу, который захотел близости с ней.

Скотт отвернулся.

— Милый, не надо, — с мольбой в голосе произнесла она и взяла его за руку. — Откуда же мне было знать? Ведь в последние два месяца между нами ничего не было... даже ни одного поцелуя, ни одного...

— У нас совсем не было для этого времени, — сказал он.

— Так в этом-то все и дело, — продолжала она. — Как же я могла сдерживать удивление? Разве не так?

Скотт сделал глотательное движение, и в горле у него раздался сухой щелчок.

— Может, и так, — произнес он едва слышно.

— Милый. — И она поцеловала его руку. — Не говори так, будто я... будто я тебя оттолкнула.

Скотт засопел носом.

— Мне кажется, что... что это было бы немножко нелепо, — сказал он, пытаясь показаться спокойным. — Со мной вот таким. Это было бы...

— Милый, прошу тебя. — Она не дала ему закончить. — Ты все усложняешь.

— Посмотри на меня, — сказал он. — Что уж тут усложнять?

— Скотт, Скотт. — И она прижала его маленькую ручку к своей щеке. — Если бы я могла хоть словом помочь.

Он посмотрел мимо нее, не решаясь встретиться с ней взглядом. И сказал:

— Ты здесь ни при чем.

— Почему из Центра-то не звонят? Почему все никак не разгадают тайну болезни?

Теперь он знал, что мужская сила вся из него вышла. И даже помышлять о близости с Лу было как-то глупо.

— Обними меня, Скотт, — сказала Лу.

Несколько секунд он сидел неподвижно, опустив подбородок, с остановившимся, ничего не выражающим взглядом, который делал непроницаемой застывшую на его лице маску отчаяния. Затем отнял от лица правую руку и попробовал обнять ею Лу; казалось, что руки его не хватит, чтобы обхватить ее поясницу. Мышцы его живота свело судорогой. Скотту хотелось подняться с дивана и уйти прочь. Он чувствовал себя тщедушным, нелепым созданием, смешным карликом, который вознамерился совратить нормальную женщину. Скотт сидел, будто застыв, чувствуя сквозь ее шелковую одежду тепло ее тела. И он скорее согласился бы умереть, чем сознаться ей в том, что под тяжестью ее руки у него ломило плечо.

— У нас могло... могло бы получиться, — сказала Лу призывно. — Мы...

Скотт как-то странно завертел головой, как будто высматривая путь к бегству.

— Хватит, Лу. Оставь это. Забудь об этом. Я был дураком...

Он убрал с Лу правую руку и до боли сжал ею косточки пальцев левой руки.

— Просто оставь это, — сказал он. — Оставь.

— Любимый, я бы не сказала, что это очень хорошо с твоей стороны, — запротестовала Лу. — Ты не думаешь, что...

— Нет, я не думаю! — ответил он резко. — И ты тоже так не думаешь.

— Скотт, я знаю, что тебе больно, но...

— Прошу, забудь об этом. — Глаза его были закрыты, сквозь сжатые зубы слова проходили чуть слышно и предостерегающе.

Лу молчала. А Скотт дышал так, будто ему не хватало воздуха. Вся эта комната, в которой они сидели, стала для него местом гибели всех его надежд.

— Ладно, — наконец прошептала Лу.

Скотт покусывал нижнюю губу. Наконец он сказал:

— Ты написала об этом своим родителям?

— Моим родителям? — В глазах жены Скотт прочел удивление.

— Я думаю, тебе следовало бы это сделать, — сказал он, тщательно контролируя свой голос. Потом слабо пожал плечами: — Узнай, сможешь ли ты у них пожить. Ты понимаешь.

— Я не понимаю, Скотт.

— Ладно... не считаешь ли ты, что было бы полезно посмотреть правде в глаза?

— Скотт, чего ты хочешь?

Он опустил подбородок, чтобы скрыть нервное глотательное движение.

— Я хочу, — сказал он, — сделать необходимые распоряжения по поводу тебя и Бет на тот случай...

— Распоряжения! А что мы...

— Ты перестанешь наконец перебивать меня?

— Распоряжения! Что мы, мебель какая-нибудь, чтобы ты делал распоряжения... распоряжался нами, как имуществом?

— Просто я стараюсь реально смотреть на вещи.

— Ты все время стараешься быть жестоким. И только потому, что я не знала, что...

— О, прекрати это, прекрати. Я вижу, с тобой бессмысленно пытаться говорить по-деловому.

— Ладно, давай по-деловому, — сказала она, и от сдерживаемого гнева у нее напряглось лицо. — Ты предлагаешь мне оставить тебя здесь и уехать с Бет? Это то, что ты называешь деловым подходом?

Руками он вцепился в свои колени.

— А что, если в Центре ничего не найдут? Что, если они никогда ничего не найдут?

— Ты думаешь, что если они ничего не найдут, я должна буду тебя оставить?

— Я думаю, что для тебя это будет лучше всего, — сказал он.

— Но я так не думаю!

И она заплакала, закрыв лицо руками; слезы просачивались между ее пальцами. Скотт же, будто онемев, сидел весь какой-то беспомощный и смотрел на ее вздрагивающие плечи.

— Извини меня, Лу, — сказал он. Но голос его подвел — в нем совсем не было раскаяния.

Она ничего не могла сказать в ответ — ее душили рыдания.

— Лу. Я... — Он протянул свою мертвенно-холодную руку и положил ее на колено Лу. — Не плачь. Я не стою этого.

Она помотала головой, будто оказалась перед сложной, неразрешимой проблемой. Затем шмыгнула носом и вытерла слезы.

— Вот, возьми, — сказал Скотт, протягивая ей носовой платок, который достал из кармана халата. Молча Лу взяла платок и прижала его к своим мокрым щекам.

— Прости, — сказала она.

— Тебе не за что просить прощения. Это я виноват. Я сорвался, потому что почувствовал себя как-то глупо, нелепо.

«А теперь, — подумал Скотт, — я ударился в обратное — в самобичевание, самоуничужение. Воспаленный мозг способен на самые разные направления мысли, вплоть до полностью противоположных».

— Нет. — И она резко прижала ко лбу кончики пальцев. — Я не имею права... — фраза повисла в воздухе. — Я постараюсь быть более понятливой.

На мгновение ее взгляд задержался на полоске белой кожи, которая осталась у него от обручального кольца. Затем, вздохнув, она встала и сказала:

— Я пойду приму душ.

Он проследил взглядом, как она прошла по комнате и вышла в коридор. Он слышал ее шаги и щелчок замка в ванной комнате. Очень медленно Скотт встал и прошел в спальню.

Лежа в темноте, он глядел в потолок.

Пусть поэты и философы утверждают, что человек больше, чем просто кусок плоти, пусть они рассуждают о его непреходящей ценности и о величии его души. Да только все это чушь.

Приходилось ли им обнимать женщину руками, короткими настолько, что их невозможно было свести у нее за спиной? Приходилось ли им спорить о своих мужских достоинствах с мужчиной, которому они едва ли были по пояс?

Лу вошла в спальню, сняла халат и положила его на кровать в ногах. В темноте Скотт услышал сухой шелест материи. Потом она села, и на ее половине прогнулся матрас. Затем она вытянула ноги, и Скотт услышал, как ее голова мягко упала на подушку. Весь в напряжении, он лежал, чего-то ожидая.

Через минуту Скотт услышал шелест шелковой ткани и почувствовал на груди прикосновение ее руки.

— Что это такое? — спросила она тихо.

Скотт молчал.

Она приподнялась на локте.

— Скотт, это твое кольцо, — сказала она. Лу ощупывала кольцо пальцами, — он почувствовал, как тонкая цепочка чуть-чуть врезалась ему в шею.

— И ты давно носишь ее на шее? — спросила она.

— С того времени, как снял кольцо с пальца, — ответил Скотт.

С минуту они молчали. Затем он услышал ее полный любви голос.

— О, любимый! — Ее руки призывно обвились вокруг него, и вдруг он почувствовал через ее шел-

ливаясь в месиво, в которое превращались под его тяжестью кусочки сырого прогнившего печенья.

Подойдя к целому пласту, он отодрал от него небольшой кусочек и разломил на части. Соскоблив с одной из них зеленый налет, он чуть-чуть надкусил печенье.

И тут же изо всей силы выплюнул его, давясь тошнотворным вкусом. Скотта била мелкая дрожь, застыв на месте, он втягивал сквозь зубы воздух, пока не прошла тошнота.

Потом резко сжал кулаки и обрушил удар на пласт печенья. Но взгляд его застилала слезы, и он промахнулся. Злобно выругавшись, ударил еще раз и теперь уже попал по пласту, отбив от него целое множество белых крошек.

— Сукин сын! — прорычал Скотт и стал пинать ногами пласт печенья, и пинал, пока не разбил его на мелкие кусочки, которые разбросал, разметал ногами в разные стороны.

Совсем без сил, он припал к стенке из вощенной бумаги, прижавшись лицом к ее холодной, хрустящей поверхности. Грудь его вздрагивала от прерывистого дыхания.

— Спокойно, спокойно, — слетел с губ шепотом совет рассудка.

— Заткнись, — прохрипел в ответ Скотт. — Заткнись, это конец.

Он почувствовал, что упирается лбом в какой-то острый выступ, и резко убрал голову.

Вдруг его осенило.

Пространство между вощенной бумагой и стенкой коробки! Крошки, провалившиеся туда, должны были остаться сухими.

Издав хрип, полный радости, он вцепился пальцами в вощеную бумагу, пытаясь разорвать ее. Но пальцы заскользили по гладкой глянцевой поверхности, и он с глухим стуком упал на одно колено.

Когда Скотт поднимался, на него упала капля воды.

Когда первая капля упала ему на голову и сыпалась фонтаном мелких брызг, в горле у него застрял испуганный крик. Вторая капля окатила его лицо холодной волной и на какой-то миг лишила зрения. Третья разбилась о правое плечо и разлетелась в стороны мелкими хрусталиками.

Хватая ртом воздух, он бросился назад и зацепился ногой за крошку. Со всего размаху упал в лежащее толстым слоем холодное белое месиво, но, не теряя ни секунды, вырвал из него халат и руки, все перепачканные намокшим гнилым печеньем. В том месте, с которого он начал свое поспешное бегство, капли падали на дно одна за другой и все чаще и чаще, наполняя коробку ползущим туманом, который вмиг поглотил Скотта. Но и в тумане бегство продолжалось.

В дальнем конце коробки Скотт остановился и, повернувшись назад, посмотрел безумным взглядом на огромные капли воды, шумно падающие на вощеную бумагу. Он прижал ладонь к затылку. В голове шумело, как будто не капли, а удары завернутой в мягкую материю кувалды только что обрушились на нее.

— О, Боже мой, — хрипло пробормотал Скотт, заскользив вниз по стенке из вощенной бумаги. Он съехал прямо в месиво из гнилого печенья и теперь сидел в нем с закрытыми глазами, обхватив руками голову, чувствуя тонкие покалывания боли в горле.

Скотт поел, и боль в горле отпустила. Потом он напился каплями воды, оставшимися на вощенной бумаге. И теперь Скотт был занят тем, что собирал в кучку пригодные для еды кусочки печенья.

Но до этого он сначала прорвал ногой дырку в плотной вощенной бумаге, пролез в нее за гладкую шуршащую стенку. Наевшись же, он стал перетаски-

вать в коробку кусочки сухого печенья и складывать их там в аккуратную кучку.

Покончив с этим, Скотт руками и ногами проделал в вощенной бумаге несколько дырочек, при помощи которых можно было бы забраться по бумажной стенке до верхнего края коробки. За один подъем он затаскивал наверх по одному или два кусочка, в зависимости от их размеров. Вверх по необычной лестнице из дырочек в вощенной бумаге, затем через край коробки, и вниз по оберточной бумаге коробки, в которой он еще раньше проделал дырочки. На все это у него ушел час.

Потом Скотт в последний раз протиснулся за прокладку из вощенной бумаги, чтобы убедиться в том, что не оставил ни одного съедобного кусочка печенья. Но обнаружил он только один кусочек размером с мизинец. Скотт сжевал его, заканчивая последний обход бывших залежей пищи. Завершив осмотр, он пролез через дырку обратно в коробку.

Скотт еще раз окинул взглядом внутренность коробки, но не нашел ничего, что еще можно было бы прихватить с собой. Он стоял среди обломков печенья, держа руки на бедрах и покачивая головой. В результате всех своих трудов он обеспечил себя пищей только на два дня. И в четверг ему опять будет нечего есть.

Скотт выбросил эту мысль из головы. У него и так хватало проблем. А о еде он будет думать, когда придет голодный четверг.

Наконец он выбрался из коробки.

Снаружи было много холоднее. Втянув голову в плечи, он весь трясся от холода. Халат, несмотря на то, что Скотт отжал его изо всех сил, был мокрым. Вода на него попала с брызгами от падавших на стенки коробки капель.

Скотт сидел на толстом узле из веревки, держа одну руку на кучке добытых с таким трудом кусочков печенья. Они были слишком тяжелы для того, чтобы

он мог спустить их вниз на себе. К тому же ему пришлось бы как минимум раз десять сползать вниз и подниматься обратно вверх. А об этом не могло быть и речи. Поддавшись соблазну, он взял кусочек печенья величиной с кулак и, чавкая от удовольствия, принялся жевать его, напряженно думая о том, как бы ему спустить вниз еду.

Убедившись, что сделать это можно только одним способом, Скотт наконец со вздохом встал и повернулся спиной к коробке. «Нужна воощенная бумага, — подумал он. — Ладно, черт с ним. В конце концов, больше чем на два дня все это не затянется».

Напрягая до потери сознания мышцы рук и спины, изо всех сил упираясь ногами в стенку коробки, Скотт выдрал кусок бумаги размером с маленький коврик. Его он оттащил к краю крышки холодильника и там разложил. В центре этого коврика Скотт уложил пирамидой кусочки печенья, затем обернул их свободными краями бумаги и получил плотно завернутый, без единого зазора пакет высотой по колено.

Скотт лежал на животе на самом краю крышки холодильника и пристально глядел вниз. Забрался он выше даже той далекой скалы, стоявшей на самой границе владений паука. Долго же будет лететь вниз его груз, и с какой силой он ударится об пол! А впрочем, в пакете были одни только маленькие кусочки печенья. Страшного ничего не будет, даже если они совсем раскрошатся. Пакет при ударе об пол рассыпаться не должен. И это самое главное.

Несмотря на пробирающий холод, он окинул взглядом погреб.

Да, конечно, когда в желудке что-то есть, жить становится чуть веселей. И для Скотта хотя бы на этот короткий миг подвал перестал быть холодной, голодной дырой, в которой отовсюду выглядывает смерть. Он был странным, холодным царством, освещенным дрожащим светом, пробивающимся сквозь пелену дождя, царством вертикальных и горизонталь-

ных поверхностей, серых и черных цветов, разбавленных лишь потускневшими от пыли красками хранящихся в нем предметов. Он был царством рычащих звуков и бегства без оглядки, царством раскатистых, оглушительных звуков, сотрясающих воздух подобно тысяче громов. Этот погреб был его домом.

Далеко внизу он увидел женщину-великаншу, которая смотрела на него снизу, все так же опираясь на свой камень, навечно застыв в этой позе рекламного призыва.

Вздыхая, он отполз назад и встал. Нельзя было терять ни минуты, иначе можно просто-напросто замерзнуть. Скотт встал за своим узелком. Наклонившись всем телом вперед, пододвинул этот не чувствующий боли груз к краю крышки холодильника и несильным ударом ноги толкнул его вниз.

Тут же упав на живот, он проследил, как пакет грохнулся на пол и один раз подпрыгнул. Затем до него донеслось шуршанье разворачивающейся бумаги. Скотт довольно улыбнулся. Груз не рассыпался.

Опять поднявшись на ноги, Скотт решил в последний раз пройти по крышке холодильника, чтобы посмотреть, не оставил ли он на ней чего-нибудь полезного для себя. Нашел газету.

Аккуратно сложенная, она лежала на цилиндрической коробке проводки холодильника. Ее испещренные буквами страницы были покрыты пылью. В тех местах, на которые попадали брызги от капавшей из протекающей раковины воды, дешевая бумага вздулась и буквы совсем размылись. Скотт увидел огромные буквы OST и понял, что это был экземпляр нью-йоркской «Глоб пост», газеты, из-за которой он вынес уже столько страданий.

Он смотрел на пыльные листы, и в его памяти ожил тот день, когда домой к нему пришел с деловым предложением Мел Хаммер.

Марти как-то проговорился о таинственном недуге Скотта своему знакомому Кивани, через которого слухи поползли по всему городу.

Скотт не принял предложения журналиста, несмотря на то что ему очень нужны были деньги. Ведь, хотя заключительную часть обследований медицинский Центр провел бесплатно, оставался невыплаченным значительный долг за первую серию исследований. К тому же он не вернул еще пятьсот долларов Марти и не выплатил по прочим многочисленным счетам, накопившимся за долгую, тяжелую зиму. Он не заплатил за зимнюю одежду, купленную на всю семью, за отопление, много задолжал за лечение, потому что после стольких лет, прожитых в Лос-Анджелесе, они физически плохо переносили зиму на Восточном побережье.

Но Скотт пребывал в состоянии, которое он называл периодом гнева и в котором постоянно ощущал копившуюся в нем от всех его невзгод злобу. Он с гневом отклонил предложение журналиста.

— Нет, покорно благодарю, я не хочу быть предметом нездорового интереса болезненно любопытной толпы.

Он набросился на Лу, когда она поддержала его решение, как ему показалось, без должного чувства:

— Что же ты хочешь, чтобы я обеспечивал тебя, изображая из себя ярмарочного шута?

Еще говоря все это, он уже знал, что в своем гневном ошибается и слова его не попадают в цель. Но этим гневом пылала вся его душа. И этот гнев довел его до такого состояния, в котором он еще никогда не был. До состояния крайней раздражительности, в корне которой был один лишь страх.

Скотт отвернулся от газеты и подошел к веревке. Погрузившись в воспоминания, от которых в душе

опять зашевелился гнев, Скотт небрежно перекинул тело через край крышки холодильника и, держась за веревку руками и ногами, заскользил вниз. Белая стена холодильника побежала у него перед глазами.

И тот гнев, который проснулся у него в душе от воспоминаний, был лишь слабым отголоском ярости, которая постоянно клокотала в его груди в те уже далекие теперь времена, ярости, с которой он бросался, теряя рассудок, на всякого, кто, как ему казалось, пытался шутить над ним.

Он вспомнил тот день, когда ему послышалось, что Терри сказала у него за спиной что-то неприятное. Он вспомнил, как, будучи ростом уже не выше Бет, он налетел на нее и стал уличать в якобы подслушанной им дерзости.

— Что ты слышал? — спросила она.

— Слышал то, что ты сказала обо мне!

— Ничего я о тебе не говорила.

— Зачем ты врешь, я же не глухой!

— Я, значит, вру?

— Да, ты врешь. Но я и так знаю, что ты сказала. Ты всегда говоришь это обо мне за глаза.

— Ну довольно, нам надоели эти твои истощные вопли. И только потому, что ты брат Марти.

— Конечно, конечно, ты же жена хозяина, ты ведь здесь главная!

— Не говори со мной так!

Дальше — больше, вопли, крики — пустые и бессмысленные.

Пока, наконец, Марти с мрачным лицом не позвал его тихим, спокойным голосом в свой кабинет. Скотт стоял перед письменным столом и бросал исподлобья на брата свирепые взгляды, всем своим видом напоминая злобного гнома.

— Малыш, мне неприятно это говорить, — сказал Марти, — но, может быть, пока тебя не вылечат, тебе лучше будет не выходить из дома. Поверь, я знаю, каково тебе сейчас, и ни в чем тебя не виню. Но... понимаешь, невозможно серьезно заниматься работой, когда...

— Значит, ты меня увольняешь.

— Подожди, успокойся, малыш, — сказал Марти. — Я не увольняю тебя. Ты будешь получать зарплату. Но, конечно, скромнее, — я ведь не очень богат, — но вам с Лу этого должно хватить. Да и потом, скоро все станет на свои места. И, с Божьей помощью, со дня на день должен прийти заем из военного ведомства. Вот тогда...

С глухим стуком ноги Скотта коснулись крышки плетеного стола. Не останавливаясь, он бросился бежать через огромное пространство крышки, поджимая от усилий губы, спрятанные в его густой, включенной белой бороде.

И зачем он увидел эту газету и опять погрузился в бесплодные воспоминания. Ведь память — такая пустая вещь. Все, что ей принадлежит, уже не принадлежит человеку. В памяти живут тени поступков и чувств, которые можно вернуть лишь в мыслях. Поэтому воспоминания не дают облегчения, а только ранят...

Скотт стоял на краю крышки стола и думал о том, как бы ему спуститься к свисающему снизу пруту. Он стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу и осторожно сгибая пальцы освободившейся ноги. У него опять начали мерзнуть ступни. Напомнила о себе боль в правой ноге. Во время сбора кусочков печенья он забыл о холоде и боли, потому что тело его от постоянного движения разминалось

и разогревалось. В довершение всего, у него опять заболело горло.

Скотт подошел к жестянке из-под краски, за ручку которой он ухватился, забираясь на стол, навалился на нее спиной и попробовал сдвинуть с места. Жестянка не поддавалась. Развернувшись, он уперся крепче ногами в пол и уже руками толкнул ее изо всех сил. Тщетно. Тяжело дыша от перенапряжения, Скотт зашел с другой стороны жестянки. С огромным усилием, но ему все-таки удалось выгнуть ручку жестянки так, что она теперь перегибалась через край стола.

Переведя дыхание, он уцепился руками за конец ручки и повис в воздухе. Нащупав ногами прутик, он надавил на него тяжестью своего тела.

Скотт осторожно положил одну руку на крышку стола. Затем, поймав равновесие, отпустил второй рукой ручку жестянки и быстро спустился вниз. Его ноги соскользнули с края прутика, но он успел судорожно выкинуть вперед руки и ухватиться за него. После этого опять заполз на прутик.

Через несколько секунд Скотт уже прыгал по перекладине стола.

Спуск по прутьям, выложенным лесенкой, не представлял трудности. Он был даже настолько прост, что Скотт, расслабившись, вновь погрузился в воспоминания. То скользя, то медленно и осторожно спускаясь по прутьям, он думал о том вечере, когда вернулся домой из магазина после разговора с Марти.

Он вспомнил, что вернулся домой, когда Лу с Бет ушли в магазин. В квартире было удивительно тихо. Скотт вспомнил, как зашел в спальню и, устроившись на краешке кровати, долго сидел, глядя не отрываясь на свои болтающиеся в воздухе ноги.

Скотт все пытался вспомнить, как долго он сидел так, пока не поднял взгляд на висевший с внутренней стороны двери комплект своей одежды. Встав с кро-

вати, он подошел к двери. Чтобы доставать одежду, ему приходилось становиться на стул. На мгновение он задержался с отчаянно тяжелым стулом в руках. Потом, сам не зная зачем, снял с вешалки свою куртку и надел ее.

Стоя перед зеркалом высотой в человеческий рост, Скотт смотрел на свое отражение.

Сначала он просто стоял и смотрел — руки его тонули в свободно болтающихся пустых черных рукавах, полы куртки доходили почти до щиколоток, куртка висела на нем огромным мешком. Он даже как-то не успел удивиться, настолько нелепо на нем сидела куртка. Побледнев, он просто вглядывался в себя.

А потом его будто стукнуло по голове. Словно он увидел это в первый раз.

На нем была его куртка.

Скотт хрипло захихикал. Вдруг умолк. И в полной тишине изумленно стал разглядывать свое отражение.

Он увидел ребенка, играющего во взрослого, и его стал разбирать глухой смех. Грудь заходила ходуном от сдерживаемого смеха, который больше напоминал рыдания.

Скотт не мог подавить в себе этот рыдающий смех, который душил его и прерывисто вырывался наружу сквозь дрожащие губы. Скотт уже трясся всем телом.

Слезы брызнули из глаз и потекли ручьями по щекам. Он опять посмотрел в зеркало. Затем, пританцовывая, сделал шаг, и куртка его распахнулась, пустые рукава разлетелись в разные стороны. Взвизгивая в сумасшедшем экстазе и согнувшись от колик в животе, он, как безумный, молотил себя кулаками по ногам. Смех вырывался из его горла коротким, прерывистым, придушенным хрипом. Скотт едва держался на ногах.

Ну и умора!

Он еще раз взмахнул рукавами и вдруг со всего размаха бухнулся на пол, смеясь и колотя по полу ногами. Пол отзывался на удары ног глухим стуком, который привел Скотта в еще большее иступление. Он извивался всем телом, раметав руки, ноги в разные стороны, дико мотая головой, и с губ его все срывался приглушенный смех, пока силы не оставили его вовсе. А потом, охая, он лежал на спине, не в силах пошевелиться, с мокрым от слез лицом. В правой ноге еще оставалось нервное подергивание. Ну и умора.

Внешне вполне спокойно он думал о том, что вот сейчас пойдет в ванную, возьмет лезвие и вскрыет себе вены, и искренне недоумевал, почему он все еще лежит, глядя в потолок, когда можно так просто решить все проблемы — надо лишь пойти в ванную, взять лезвие и...

Скотт съехал по толстой, как веревка, нитке на полку плетеного стола. Затем, подергав нитку, стащил вниз засевший наверху в расщелинах колышек, тут же укрепил его на полке и пополз вниз.

Как ни странно, но он никак не мог понять, почему все еще не покончил с собой. Безднадежность его положения, без сомнения, подсказывала именно такое решение всех проблем. Однако, хотя он часто жалел о том, что не смог решиться на этот последний шаг, Скотта всякий раз что-то останавливало.

Скотт не мог бы сказать, жалеет ли он о том, что не смог покончить с собой. Иногда ему казалось, что это его вовсе не волновало, а если и интересовало, то только в неясном, философском плане. Но с кем из философов случалось, как с ним, физическое уменьшение?

Его ноги коснулись холодного пола, и Скотт, бестрепко подобрав сброшенные сандалии, надел их — сандалии, сделанные им самим из прутиков. В них было много лучше, чем босиком. Теперь осталось оттащить пакет к своему ночному убежищу. После этого

он сможет снять мокрый халат и, нежась в тепле, отдыхать и спокойно есть. Скотт подбежал к пакету, горя желанием как можно быстрее разделаться с работой.

Пакет оказался настолько тяжелым, что двигать его можно было только очень медленно. Скотт продвинул пакет дюймов на десять и присел на него отдохнуть. Отдышавшись, встал и подвинул пакет еще дальше. Позади остались два массивных стола, скрученный шланг, садовая косилка, огромная лестница, широкая, вся в островках света равнина, которая вела к водогрею.

Последние двадцать пять дюймов он тащил свой пакет с едой, двигаясь спиной вперед, перегнувшись в поясе и рыча от натуги. Еще несколько минут, и он будет в безопасности, в теплой и мягкой постели, с сытым желудком. Стиснув зубы от усилия, Скотт резко поддернул пакет к подножию цементной глыбы. Жизнь все-таки стоила того, чтобы бороться за нее, даже если ее радость составляли самые простые физические удовольствия. Пища, вода, тепло. Скотт почувствовал себя счастливым.

Вдруг он испустил крик.

Огромный паук, уже поджидая его, свисал с верхнего края глыбы.

На какой-то миг их глаза встретились. Скотт застыл на месте у подножия глыбы, в ужасе глядя вверх.

Вдруг длинные черные ноги зашевелились, и, издав приглушенный стон, Скотт бросился в один из двух проходов, проделанных в глыбе. Уже убегая по этому сырому тоннелю, он слышал, как паук грузно свалился на пол.

«Так нечестно!» — прокричал его рассудок в отчаянии и ярости.

И это была последняя мысль Скотта. Панический ужас сковал своими железными объятиями всякую

способность думать. Боль в ноге мигом прошла, усталости как не бывало. Остался только ужас.

Выскочив наружу с другой стороны цементной глыбы, он бросил через плечо взгляд на черную раскачивающуюся тень паука, бежавшего за ним по темному тоннелю. Глубокий, во всю силу легких вдох, — и Скотт устремился к цистерне с топливом. Не было смысла бежать к кладке бревен — паук перехватил бы его на полдороге.

Мчась к ломаной коробке, стоявшей под цистерной, он еще точно не знал, что будет делать, когда добежит до нее, — его вел один лишь инстинкт самосохранения. В картонке лежали тряпки. Возможно, зарывшись в них, он спрячется от паука.

Скотт больше не оглядывался, в этом не было никакой необходимости. Он и так знал, что огромное раздувшееся тело паука, дико раскачиваясь из стороны в сторону, несло за ним на длинных черных ногах. И он знал, что если и добежит до коробки первым, то только благодаря тому, что у паука не хватало одной ноги.

В развевающемся вокруг тела халате, стуча по полу сандалиями, Скотт бежал через островки тусклого света. Воздух обжигал ему горло. Он яростно перебирал ногами. Вот уже над ним высится цистерна с топливом.

Когда несшийся по пятам паук оказался меньше чем в пяти дюймах от него, Скотт метнулся в тень от цистерны. Захрипев, он оттолкнулся ногами от цементного пола и прыгнул. Руки его отчаянно вцепились в свисавшую проволочку, и он медленно подтянул тело вверх. Затем, раскачавшись, прыгнул ногами вперед в отверстие в стенке картонки.

Болтая руками и ногами, он кувыркнулся в воздухе и упал на мягкую грудку белья. Приподнявшись, услышал, что паук, скребя лапами по стенке коробки, ползёт вверх. Скотт вскочил на ноги, но мягкое белье

под ним провалилось, он потерял равновесие и упал. Нелепо растянувшись всем телом, он бросил взгляд назад и увидел, что черный паук, яростно перебирая ногами, появился в треугольном вырезе в стенке картонки. Не мешкая, гадина протиснула свое тело вовнутрь и прыгнула вниз.

Со стоном Скотт привстал, но снова упал, ступив ногой в углубление в горе белья. Гора качнулась дважды. Первый раз, когда на нее упал Скотт, второй — когда на нее свалилось тело паука, который тут же бросился к своей жертве.

Барахтаясь в белье, Скотт уже не успел бы встать на ноги. В отчаянии оттолкнувшись ногами от мягкого белья, он упал навзничь. Приподнялся и опять грузно свалился, яростно разгребая руками белье, чтобы выбраться из него. Но все больше запутывался. Паук уже почти добрался до него.

Из глотки Скотта вырвался пронзительный крик отчаяния. Почувствовав, что паук поставил на его лодыжку одну из своих лап, он резко отпрянул назад. И свалился в открытую швейную коробку, захрипев от боли и неожиданности. Руки его все еще машинально двигались, как будто он пытался что-то нащупать. Огромный паук спрыгнул вниз и пополз по его ногам. Скотт завизжал от ужаса и отвращения.

Вдруг рука Скотта легла на холодный металл. Булавка! Едва дыша, он оттолкнулся ногами от белья и, падая навзничь, потянул на себя обеими руками булавку. Когда паук прыгнул на него, Скотт воткнул ее, как копьё, в живот гадины. Булавка заходила в его руках под тяжестью паучьего тела.

Паук дернулся назад и, соскочив с острия, отлетел на несколько дюймов. Выждав какое-то мгновение, он вновь бросился в наступление. Скотт встал на левое колено, правую ногу отставил для упора назад, головку булавки положил себе на бедро и, крепко

держа свое оружие в напряженных до боли руках, изготовился отражать второе нападение.

И опять паук напоролся на острие булавки, и опять отскочил назад, содрав одной из своих шевелящихся в воздухе колючих лап кожу на левом виске Скотта.

— Сдохни! Сдохни! Сдохни! — пронзительно кричал Скотт, едва ли отдавая себе в этом отчет.

Паук не издох. Но в нескольких дюймах от Скотта он дико дергался всем телом, будто не понимая, почему не может схватить наконец свою жертву. И вдруг опять бросился вперед.

На этот раз острие едва ли задело его, потому что он остановился и поспешно отполз назад. Скотт, не отрываясь, следил за гадиной, не меняя своего положения. Тяжелая булавка чуть-чуть дрожала в его руках, но острие было неизменно направлено на паука. Ощущение тяжести, оставленное на ногах пауком, не прошло, ныло место, где был содрана кожа. Скотт прищурился, пытаясь разглядеть своего врага, почти слившегося с мраком теней.

Скотт не помнил, как долго он так стоял и смотрел. Он не заметил никакого движения, но вдруг, как по волшебству, среди теней уже никого не оказалось.

От изумления странный звук, не то хрип, не то крик, задрожал у него в горле. Он встал на онемевшие ноги и огляделся кругом. Через весь подвал до него долетел рев, с которым опять заработал масляный обогреватель. С бьющимся сердцем Скотт резко развернулся, в ужасе подумав, что паук сейчас обрушится на него.

Скотт долго крутился так на одном месте, с трудом удерживая в руках тяжелую булавку, ставшую его оружием. Наконец его осенило — паук уполз.

Скотт почувствовал огромное облегчение, и на него волной обрушилась усталость. Булавка вдруг оказалась ему неподъемной и выпала из рук, с грохотом ударившись о деревянное дно коробки. Ноги подко-

сились, и Скотт свалился мешком, стукнувшись головой о булавку, которая только что спасла ему жизнь.

Некоторое время он лежал так, довольный, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Паук ушел. Он его прогнал.

Но очень скоро радость его омрачилась мыслью, что паук все же еще жив и, возможно, поджидает его на полу, готовый броситься на него, как только он вылезет из коробки. А может быть, паук опять караулит его под водогреем.

Скотт перевернулся на живот и уткнул лицо в руки. Чего он добился в итоге? На самом деле он все еще был во власти паука. Он не может всюду носить с собой булавку, а через день-другой вообще не сможет поднять ее.

Но даже если паук настолько испугался, что больше уже не решится нападать на него (во что Скотт ни капли не верил), все равно оставалось еще очень много проблем: через два дня опять нечего будет есть, с каждым днем становится все труднее доставать воду, каждый день приходится перекраивать и ушивать халат, нет никакой возможности выбраться из подвала, но что еще хуже — постоянно, не отпуская, его мучил страх перед тем, что должно было случиться в ночь с субботы на воскресенье.

Скотт с трудом встал на ноги и стал шарить в темноте руками, пока не нашел висевшую на петельках крышку коробки. Он перекинул ее и опустил на коробку. И вновь его окружила непроглядная тьма. «Что, если я задохнусь?» — подумал он. Нет, это его не волновало.

С тех самых пор, как он стал совсем маленьким, ему постоянно приходилось убегать. Он спасался бегством от насилия, физической расправы, которые ему несли мужчина, мальчишки, кошка, птицы и теперь вот паук; но что было ужаснее всего в его бегстве — он убегал и разумом: от жизни, от своих проблем и

страхов; отступал, пятился, уворачивался, поддавался, сдавался, капитулировал.

Он все еще жил, но было ли его существование разумным, или оно было лишь инстинктивным выживанием? Да, он все еще боролся за еду, воду, но, может быть, эта борьба была просто неизбежной, раз уж он выбрал выживание? И главное, что ему хотелось знать: был ли он самостоятельной, что-то значащей личностью? Был ли он индивидуальностью? В чем заключался смысл его существования? В том, чтобы выжить?

Этого он не знал, не знал. Возможно, что был невежественным человеком, который смотрит правде в глаза. Но не менее возможно и то, что он был лишь бледной тенью того, что называется человеком, и жил лишь по инерции, благодаря толчкам извне; им что-то двигало, а не он двигался сам, по своей воле; его что-то заставляло искать и бороться, а не он сам избирал этот путь.

Скотт не знал, как было на самом деле. Он спал, свернувшись калачиком, дрожа всем телом от холода. Он был уже не больше зернышка — и все никак не мог найти ответа на мучившие его вопросы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он встал и настороженно прислушался. В погребе было тихо. Паук, должно быть, вернулся в свои владения. И уж точно, если гадина все еще хотела убить Скотта, она уже снова пробовала залезть в картонку. Но он, вероятно, спал очень долго и крепко и ничего не слышал.

Почувствовав, что горло опять болит, Скотт поморщился и сглотнул. Его мучила жажда и голод. Осмелится ли он еще на один поход к водогрею? Скотт

тяжело выдохнул. Вопрос был праздный, ведь просто-напросто больше ничего не оставалось делать.

Пошарив вокруг себя, Скотт нащупал толстую, холодную, как лед, булавку. Взял ее в руки и, ощутив ее тяжесть, удивился тому, как легко орудовал ею вчера. Возможно, помог страх. Обеими руками Скотт поднял булавку и поместил ее у правого бедра. Выбираясь из швейной коробки и двигаясь по уходящей из-под ног, как зыбучие пески, горе белья к прорехе в стенке картонки, Скотт правой рукой волочил за собой булавку. Ее он сможет без труда схватить двумя руками и снова использовать как оружие, если появится паук. Впервые за много недель у него появилось ощущение относительной безопасности.

Подойдя к отверстию, Скотт осторожно высунулся и посмотрел сначала вверх, потом по сторонам и, наконец, вниз. Паука нигде не было видно. Скотт задышал чуть спокойнее. Просунул булавку в отверстие и, задержавшись лишь на миг, сбросил ее вниз. Булавка звякнула об пол и, откатившись на несколько футов, замерла. Торопливо Скотт выскользнул из картонки и прыгнул вниз. Когда он приземлился на пол, вновь с хрипотцой запыхтел водяной насос. Скотт, застигнутый врасплох этим звуком, схватил булавку в руки и встал так, будто изготoвился отбивать нападение паука.

Но никто на него не нападал. Он опустил свое сияющее копьё и, снова переложив его к правому бедру, направился к водогрею.

Выйдя из огромной тени топливного бака, он попал в бледный свет угасающего дня. За затянутыми тонкой дымкой окнами царил полный покой. Скотт прошел мимо больших колес косилки, поглядывая настороженно, не притаился ли за ними паук.

Наконец он вышел на открытое пространство и направился к находившемуся уже недалеко от него водогрею. Скотт посмотрел на холодильник, и перед

его мысленным взором встала газета, лежавшая там, наверху. И еще раз он пережил приступ ярости, случившийся с ним во время вторжения в его дом корреспондентов. Его поставили в туфли, которые были ему велики уже на пять размеров, и Берг сказал:

— Вот, дружище, ты как будто вспоминаешь то время, когда мог их носить.

Потом его ставили рядом с Бет, Лу, рядом с висящим на двери комплектом его старой одежды. Потом он стоял рядом с развернутой рулеткой, а огромная рука Хаммера, влезающая в кадр, показывала на отметку его роста. Потом его осматривали нанятые газетой для фотосъемок врачи. История его болезни перекраивалась на потеху миллионам читателей, в то время как он каждый день переживал душевные муки, метался ночью по постели и говорил себе, что расторгнет подписанный с газетой контракт, назависимо от того, нужны ли деньги или нет, возненавидит его Лу за этот поступок или нет.

Но, как бы там ни было, контракт он не расторг. И получал все новые предложения: о выступлениях по радио и на телевидении, на сцене и в ночных клубах. Предложения о выступлении со статьями, приходившие от самых разных журналов, исключая наиболее солидные, и от бойких газетенки типа «Глоб пост». Перед его домом стали собираться толпы зевак, иногда даже выпрашивавших автограф. Религиозные фанатики зазывали его к себе, в личных беседах с ним и по почте призывая принять их сомнительную веру. Приходили письма с непристойными предложениями от разочаровавшихся в нормальных половых связях женщин — и мужчин...

Когда Скотт подошел к бетонной приступке, на нем не было лица. Какое-то время он постоял, все еще думая о прошлом. Наконец взгляд его опять прояснился и устремился вперед. Скотт двинулся даль-

ше, все время помня о том, что, возможно, паук подкарауливает его наверху.

Скотт медленно забрался на надстройку, держа наготове булавку, и оглядел внимательно свое ночное убежище. Там никого не было.

Со вздохом облегчения он перекинул через край надстройки булавку и проследил, как она покатилась по бетонной поверхности и, столкнувшись с его кроватью, остановилась. После этого он спустился вниз за пакетом с печеньем.

За три раза он перенес все кусочки печенья в кучку рядом со своей кроватью. Теперь Скотт сидел и грыз кусочек печенья размером со свой кулак, мечтая о воде. Он не осмелился сходить к водяному насосу, потому что уже темнело и даже булавка не гарантировала полной безопасности.

Закончив есть, Скотт надвинул на свою кровать крышку коробки и с тихим стоном откинулся на губку. Он все еще чувствовал дикую усталость, потому что короткий сон в картонке почти совсем не прибавил ему сил.

Вспомнив о своем календаре, Скотт нащупал руками дощечку и кусочек угля. Небрежно поставил отметку. В темноте он мог перечеркнуть какую-нибудь другую отметку и внести путаницу в календарь. Но все это было уже неважно. В календаре значились среда, четверг, пятница и суббота.

А дальше уже ничего не будет.

Лежа в темноте, Скотт дрожал. Как и смерть, его конец было невозможно себе представить. Нет, его уход еще непостижимее. О смерти имелось хотя бы какое-то общее представление; она была частью жизни, хотя и самой таинственной ее частью. Но с кем и когда случалось вот такое, как с ним, уменьшение до полного исчезновения.

Он повернулся на бок и подложил под голову руку. Если бы он мог хоть с кем-нибудь поделиться своими

переживаниями. Если бы только с ним рядом была Лу и он мог бы смотреть на нее, касаться ее. И даже если бы она не догадывалась о его присутствии, ему все равно было бы много легче. Но он был одинок.

Скотт опять вспомнил о газетных сплетнях по поводу его недуга, вспомнил и то, как ему было противно участвовать в организованном газетой отвратительном спектакле и как, придя от всего этого в дикую ярость, он патологически возненавидел всю свою исковерканную жизнь. И в своей ярости он дошел до того, что однажды сорвался в город, влетел к редактору газеты, прорычал ему в лицо, что контракт разорван, и, слабая от душившей его ненависти, выбежал на улицу.

4 2 д ю й м а

В двух милях от Болдуина с сухим, как ружейный выстрел, хлопком лопнула шина.

Охнув от неожиданности, Скотт вцепился руками в руль. «Форд» накренился, и за ним потянулся широкий след от лопнувшей шины. Отчаянным усилием Скотт резко завернул машину вправо, оставив позади слева ограничительный барьер, который едва не протаранил своим «фордом». Руль ходил ходуном, и Скотт стал прижиматься к обочине.

Проехав еще сто пятьдесят метров, он затормозил и выключил зажигание. Побелевшие и дрожащие от напряжения руки, сжатые так, словно он все еще держал ими руль, упали Скотту на колени. Какое-то время он сидел так, сверля свирепым взглядом дорогу и не говоря ни слова.

Неожиданно он разразился бранью.

— Ах ты, сукин сын. — От приступа ярости по спине у него пробежала дрожь.

— Давай еще, — произнес он уже вполне спокойно, но голос его все же выдавал готовый вырваться

наружу взрыв бешенства. — Давай еще. Так ее. Говорю же. Давай еще, ну же. — Он клацнул зубами.

— Мало одной шины, — глухо проговорил Скотт сквозь сжатые зубы. — Чтоб заглох этот генератор. Вдребезги этот радиатор. Чтоб ее разнесло, эту чертову машину! — выплеснулась на ветровое стекло бушующая ярость.

С закрытыми глазами, в полном изнеможении он откинулся на спинку сиденья.

Через несколько минут Скотт поднял дверную ручку и толкнул дверцу. На него налетел холодный ветер. Подняв ворот куртки, он вытащил из машины ноги и сполз с сиденья.

Он упал на гравий лицом вниз, успев, однако, выставить вперед руки. Чертыхаясь, быстро встал и что было силы бросил через дорогу камень. «Вот пошла невезуха. Не удивлюсь, если камень влетит в стекло проезжающей машины да засветит какой-нибудь пожилой даме в глаз, — в раздражении подумал он. — Эта чертова невезуха!»

Скотт стоял, весь дрожа, и глядел на свою машину, безнадежно завалившуюся на спущенную шину. «Здорово, — подумал он, — просто здорово. Как я, черт возьми, смогу заменить ее?» Скотт нервно заскрежегал зубами. Он был не в силах теперь сделать даже этого. Ну и, разумеется, Терри не смогла сегодня присмотреть за детьми, значит, Лу осталась дома. Все как назло.

Озноб пробрал его, несмотря на то что он был в куртке. Было холодно.

«И это майским-то вечером холодно. И в этом не везет. Даже погода против меня, — Скотт закрыл глаза. — Мне пора в психушку!»

Нет, не может же он так просто стоять здесь. Надо пойти и позвонить в ремонтную службу.

Скотт не двигался, пристально вглядываясь в дорогу. «Ну, позвоню я туда, — думал он, — придет механик, заговорит со мной, посмотрит на меня и

узнает; и будет исподтишка глазеть на меня, а то и открыто — как Берг вечно таращится — тупо, вызывающе, будто хочет сказать: «Господи Иисусе, да ты же уродец».

А потом механик будет болтать с ним, задавать вопросы, высказывая снисходительное дружелюбие, как здоровый человек перед уродом.

Скотт медленно сглотнул. Даже ярость он перенес бы легче, чем это надругательство над собственным духом. По крайней мере, ярость была для него борьбой, движением вперед против чего-то. Унизительный разговор с механиком стал бы полным поражением, которое придавило бы его своей тяжестью.

Скотт устало выдохнул. Да, но как еще выбраться отсюда? Он должен непременно добраться до дома. При любых других обстоятельствах он мог бы позвонить Марти; но в данном случае ему было как-то неловко обращаться к брату за помощью.

Скотт засунул руку в карманы куртки и побрел по посыпанной гравием обочине дороги.

«Плевать мне на это, — твердил он сам себе, — плевать мне на то, что я подписал контракт. Я устал изображать из себя подопытного кролика, которым потчуют миллион читателей».

В своей одежде, бывшей в пору разве что маленькому мальчику, Скотт упорно шел вперед, все ускоряя шаг.

Его осветили лучи фар, и он, не останавливаясь, отошел еще дальше от дороги. Скотт, разумеется, и не собирался просить подвезти его до города.

Темная громадина проехала мимо него. Затем раздалось громкое шуршание шин по асфальту, и, подняв глаза, Скотт увидел, что машина затормозила. Его губы напряглись. «Я предпочитаю пройтись». Одними губами он стал произносить эти слова, репетируя свой ответ на предложение подвезти его.

Дверца распахнулась, и из машины высунулась голова в фетровой шляпе.

— Один идешь, паренек? — спросил мужчина сиплым голосом. Говорил он, не вынимая изо рта выкуренную наполовину сигару.

Медленно, нехотя Скотт подошел к машине. Да, в общем, все было нормально. Мужчина принял его за мальчика. Этого и следовало ожидать. Разве не было такого, что однажды его отказались пропустить на вечерний сеанс в кино из-за того, что с ним не было никого из взрослых? Разве однажды в баре его не заставили показать удостоверение личности, прежде чем подали спиртное?

— Один идешь, парнишка? — еще раз спросил мужчина.

— Да вот, иду домой, — ответил Скотт.

— И далеко тебе? — Голос мужчины был не грубый, но чуть-чуть хриловатый. Скотт увидел, что незнакомец закивал головой, явно сочувствуя ему.

— Да вот, до ближайшего города, — сказал Скотт. — Вы не могли бы подвезти меня, мистер? — спросил он уже совсем тонким, детским голоском.

— Конечно, малыш, конечно, — ответил мужчина. — Полезай ко мне, и *bon voyage*¹ тебе и моему старичку «плимуту» пятьдесят пятого года. — Его голова исчезла в кабине так быстро и ловко, как голова напуганной черепахи, ищущей спасения под панцирем.

— Спасибо, мистер.

Скотт понимал, что для него играть по-настоящему роль мальчика было чем-то вроде самоистязания. Он стоял рядом с машиной, пока грузный мужчина не уселся, крихтя и ерзая, за руль. Затем и сам Скотт юркнул на сиденье.

— Вот ты здесь сиди так, малыш.. Осторожно!

¹ Счастливого пути (фр.).

Скотт подскочил, почувствовав под собой толстую руку незнакомца. Мужчина убрал ее с сиденья, поднес к своему лицу и проговорил, тихо посмеиваясь:

— Ты повредил мне правую конечность, малыш. Отдавил пальцы. Что скажешь?

Когда Скотт снова сел, на лице его появилась нервная, натянутая улыбочка. В машине густо пахло виски и дымом сигар, и он начал кашлять себе в кулак.

— Поднять якоря, бродячее племя, — весело объявил мужчина. Тихонько ударив рукой по переключателю скоростей, послал его вниз: машина вздрогнула и покатила по шоссе.

— Fermez la porte¹, малыш, fermez эту проклятую porte.

— Уже закрыл, — ответил Скотт.

Мужчина бросил на него восхищенный взгляд.

— Ты понимаешь по-французски, малыш. Замечательный мальчик, такой воспитанный, образованный. Ваше здоровье, сэр.

Скотт едва заметно улыбнулся своим мыслям. Ему тоже хотелось опьянеть и расслабиться. Но он целый вечер пил в темном закутке бара, пил, чтобы напиться, и ни капли не опьянел.

— Ты живешь в этой гнилой местности, дружище? — поинтересовался неугомонный незнакомец и принялся похлопывать себя по груди.

— В ближайшем городе, — ответил Скотт.

— В ближайшем городе, бегущем навстречу огням, — произнес мужчина, все еще похлопывая себя по груди. — В близлежащей деревушке, в соседнем селении Хамлет — Хамлет. А, Гамлет. Быть или не быть, вот в чем — черт возьми, созвучная пара! Все королевство тому, кто мне отыщет пару — на ночь, — и он рыгнул, издав звук, похожий на протяжное рычание леопарда.

¹ Закрой дверцу (фр.).

— Выключите осветитель приборной доски, — сказал Скотт, надеясь на то, что опьяневший мужчина вспомнит о руле и возьмется за него своими непослушными руками.

Мужчина бросил на него изумленный взгляд.

— Гениальный мальчик. Аналитический ум. Боже, я влюбился в этого гениального мальчика, — и в машине, пропахшей плесенью и затхлостью, раздалось дребезжащее «хи-хи». — Mon Dieu!¹

Скотт напрягся всем телом, увидев, что сосед его наклонился к приборной доске и перестал следить за дорогой. А мужчина с силой загнал свою электрическую зажигалку в розетку для подзарядки и выпрямился, задев Скотта плечом.

— Так ты живешь в ближайшем городе, mon cher², — сказал он. — Это... потрясающая новость. — И он еще раз рыгнул, опять издав звук, похожий на рычание леопарда. — Вот пообедал со стариной Винсен. Эх, старина Винсен. — И опять из его глотки вырвался какой-то странный звук, который мог означать начало как приступа веселья, так и приступа удушья. — Старина Венсен, — грустно произнес здоровяк.,

Зарядившись, зажигалка щелкнула, и мужчина вырвал ее из розетки. Скотт краем глаза взглянул на соседа, пока тот раскуривал потухшую сигару.

Широкие поля фетровой шляпы прикрывали пышную шевелюру. Раскалившаяся добела спираль зажигалки осветила лицо мужчины, и Скотт увидел густые брови, нависшие над блестящими в темноте глазами, нос с широко раздувающимися ноздрями и толстые губы. Это было лицо озорного мальчишки, таращащегося на мир своими удивленными глазенками.

Клубы дыма раскурившейся сигары окутали лицо.

— Очень смысленный парнишка, черт возьми, — сказал мужчина. Он пронес руку мимо углубления в

¹ Мой бог! (фр.)

² Мой друг (фр.).

приборной доске, и зажигалка с глухим стуком упала на пол. — Руки-крюки, — пробурчал мужчина и нагнулся, чтобы поднять ее. Машину начало дико бросать из стороны в сторону.

— Я подниму ее, — бросил Скотт. — Осторожно!

Мужчина выровнял машину и похлопал Скотта по голове своей мягкой ладонью. Потом едва слышно произнес:

— В высшей степени добродетельный паренек.

— Я всегда говорил, — и он, хрюкнув, опустил стекло и харкнул на дорогу. Забыв, что именно он всегда говорил, мужчина спросил сквозь икоту. — Ты живешь где-то неподалеку?

— В ближайшем городе, — ответил Скотт.

— Винсен — вот был друг, говорю тебе, — сказал мужчина печально. — Друг. В самом истинном смысле этого истинно славного слова. Друг, помощник, компаньон, товарищ.

Скотт бросил взгляд назад, на промелькнувшую за окном автостанцию. Судя по виду, она была закрыта. Он подумал, что лучше ему доехать до Фрипорта и связаться по телефону с кем-нибудь.

— Он напирал на то, — продолжал мужчина, — что нужно когда-то надеть на себя власяницу семейной жизни. — Он повернул голову к Скотту. — Ты понимаешь меня, малыш? Боже, благослови его наивность, ты понимаешь?

Скотт сглотнул и ответил:

— Да, понимаю.

Мужчина выпустил изо рта целый клуб дыма. Скотт закашлялся.

— И что, был мужиком, а стал, понимаешь, каким-то деградантом, лакеем, рабом, настоящим роботом. Ну и, короче, увидел я потерянную душу, какого-то сморчка. — Мужчина тупо уставился на Скотта. — Понимаешь, что я хочу сказать, малыш? Понимаешь?

Скотт посмотрел в окно. «Я устал, — подумал он. — Я хочу лечь спать и забыть, кто я и что со мной происходит. Я просто хочу лечь спать».

— Ты живешь где-то здесь? — спросил мужчина.

— В ближайшем городе.

— Точно так.

На мгновенье мужчина замолчал, потом его опять прорвало:

— Женщины. Вот из-за кого жизнь мужчины начинается отдавать душком. — Рыгнул и снова: — Да поразит их всех сифилис. — Он взглянул на Скотта. Машина тем временем уже неслась прямо на дерево. — И дружище Винсен навсегда потерял для мужского племени. Проглочен зыбучими песками...

— Мы врежемся в дерево.

Мужчина повернул голову.

— Понял. Ложимся на курс, кэп. Все опять в порядке. Идем туда, где друг — это...

Он опять уставился на Скотта, склонив голову набок, как покупатель, придирчиво осматривающий товар.

— Тебе... — поджав губы, сказал он, пытаясь угадать возраст Скотта. — Тебе двенадцать. Первый ученик?

У Скотта першило в горле от дыма сигары.

— Первый, — ответил он. — Осторожно!

Мужчина выровнял машину и, перестав смеяться, рыгнул.

— Неиспорченный возраст. Время еще не загубленных надежд. Вот так, дружище. — Его мощная рука упала Скотту на ногу и сжала ее. — Двенадцать, двенадцать лет. Опять стать двенадцатилетним — вот было бы здорово.

Скотт вытащил свою ногу из тисков. Мужчина еще раз сдавил ее и затем опять взялся рукой за руль.

— Эх... так-так. Еще раз впервые переспать... — Губы его скривились в презрительной гримасе. — Ну,

это как первый раз станцевать рок или первый раз на чем-нибудь проехаться.

— Я могу выйти в...- начало было Скотт, увидев впереди открытую бензоколонку.

— Но эти женщины, они такие склочные, — убежденно сказал мужчина, на котором был мятый темный костюм. — Настолько склочные, что доймут самого спокойного. — И он опять устался на Скотта заплывшими жиром глазками. — Ты-то будешь жениться, дружище?

«Если бы я за эти дни не разучился смеяться, — подумал Скотт, — я бы сейчас захохотал».

— Нет, — ответил он. — Послушайте, можно мне выйти...

— Мудрое, благородное решение, — сказал здоровяк. — Слышу достойного, приличного человека. Эти ж е н щ и н ы. — Он устался широко раскрытыми глазами в лобовое стекло. — Чтоб их всех поразил рак. Они разрушают исподтишка, бьют без промаха, они... О, пророк, скажи всю правду, — ужасные создания. — Мужчина посмотрел на Скотта. — Эй, мальчик, — сказал он, смеясь, рыгая и икая одновременно.

— Мистер, я выйду здесь.

— Я повезу тебя во Фрипорт, мой мальчик, — сказал мужчина. — Нас ждет Фрипорт! Страна веселья и неожиданных утех! Аркадия местных хлыщей и прощелыг. — Мужчина посмотрел на Скотта в упор. — Тебе девчонки-то нравятся, дружище?

Вопрос застал Скотта врасплох. Все это время он не придавал серьезного значения пьяному монологу соседа. Но этот вопрос произвел на него такое сильное впечатление, что, когда он взглянул на мужчину, тот вдруг показался ему еще крупнее.

— Но я живу не во Фрипорте, — сказал Скотт. — Я...

— Он р-робок! — и хриплое хихиканье здоровяка вдруг перешло в рычание: — О робкая юность, любовь моя. — Его рука опять легла Скотту на ногу. Скотт

поднял взгляд на мужчину, и лицо его вытянулось. В нос ему ударял густой запах виски и дым сигары. Кончик сигары то разгорался, то потухал, разгорался и потухал.

— Я выхожу здесь, — сказал Скотт.

— Ладно тебе, паренек, — сказал здоровяк, следя одновременно за дорогой и за Скоттом. — Ночь еще юна. Правда, время детское: едва перевалило за девять. И потом, — продолжал он сладким голосом, — у меня в холодильнике ждет тебя аж целый килограмм мороженого. Не порция какая-то, а...

— Пожалуйста, выпустите меня здесь. — Через штанину Скотт чувствовал горячую руку мужчины. Он попытался отодвинуть от него ногу, но ничего из этого не вышло. Сердце от испуга забилося часто-часто.

— Ну, успокойся, дружище, — сказал мужчина. — Мороженое, торт под веселую похабщину, — что еще могут ожидать от вечера два странника, как мы с тобой? А?

Рука мужчины сжала ногу Скотта так, что тому стало не по себе.

— А! — вскрикнул Скотт, морщась от боли. — Уберите свою руку! — добавил он уже более низким голосом.

Мужчина переменялся в лице, услышав в голосе Скотта раздражение взрослого человека и решимость дать отпор.

— Остановите, пожалуйста, машину, — произнес Скотт гневно. — Осторожно!

Мужчина резко отвернул машину от обочины.

— Не волнуйся, малыш, — сказал он, выдав голосом свое возбуждение.

— Я хочу выйти, — у Скотта уже тряслись руки.

— Мой милый мальчик, — сказал вдруг мужчина жалостливым голосом, — если бы тебе были знакомы, как мне, унылое одиночество и...

— Останови машину, черт возьми!

Выражение лица мужчины стало суровым, и он рявкнул:

— Как ты разговариваешь со старшим, грубиян! — Вдруг он отдернул правую руку и отвесил Скотту такой шлепок, что того отбросило к дверце.

Скотт быстро выпрямился. Его охватил панический страх при мысли, что сил у него не больше, чем у мальчишки.

— Дружок, прости меня, — тут же сказал мужчина, икая. — Я больно тебя ударил?

— Я живу за следующим поворотом, — проговорил натянутым голосом Скотт. — Остановите здесь, пожалуйста.

Мужчина вырвал изо рта сигару и бросил ее на пол.

— Я обидел тебя, — сказал он плаксивым голосом. — Я обидел тебя непристойными словами. Пожалуйста, прости меня. Посмотри на то, что за этими словами, под этой маской веселости. За ними — черная печаль, полное одиночество. Ты это понимаешь, дружище? Ты еще молод, и ведомы ли тебе мол..

— Мистер, я хочу выйти, — сказал Скотт голосом ребенка, полусердитым, полуиспуганным. И самым ужасным в том, как он это сказал, было то, что Скотт уже сам не мог понять, играл ли он или это было искреннее чувство.

Мужчина свернул к обочине шоссе.

— Что ж, тогда покинь меня, — сказал он с горечью в голосе. — Ты ничем не отличаешься от всех остальных, ты такой же, как все.

Дрожащими руками Скотт открыл дверцу машины.

— Доброй ночи, мой милый принц, — сказал здоровяк, пытаясь найти в темноте машины руку Скотта. — Доброй ночи тебе, и пусть твой ночной покой наполнится самыми добрыми сновидениями. — Хриплавая икота прервала его прощальную речь. — А я

поеду дальше — голодный, холодный... опустошенный. Ты не поцелуешь меня один раз? На прощанье, на...

Но Скотт уже выскочил из машины и побежал прямо к автостанции, которую они только что проехали. Мужчина, повернув свою большую голову, смотрел назад, на убежавшего от него во все лопатки мальчика.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Раздавался глухой стук: как будто кто-то стучал молотком по дереву; как будто какой-то учитель, пытаясь казаться спокойным, барабанил огромным ногтем по классной доске. Этот стук тяжело отдавался в спящем мозгу. Скотт зашевелился на кровати и перевернулся на спину, судорожно разбросав руки. Тут-тук-тук. Скотт застонал. Затем слабо приподнял руки и снова их уронил. Тук. Тук. Уже в полудреме он раздраженно заворчал.

Вдруг капля воды разбилась о его лицо.

Захлебываясь и пытаясь откашляться, Скотт подскочил на губке. Сверху раздавалось хлюпанье воды. Еще одна капля задела его плечо.

— Что? — заспанным рассудком он пытался вспомнить, где находится, и понять, что с ним происходит. Широко раскрытые испуганные глаза бегали, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь. Тук! Тук! Казалось, гигантский кулак обрушивается на дверь, или нет, ужасных размеров молоток стучит по кошмарно огромной кафедре в чудовищно просторном зале суда.

Сон слетел. Скотт чувствовал, как вздрагивает грудь под ударами отчаянно бьющегося сердца.

— Боже праведный, — пробормотал он и перекинул ноги через край губки.

Они погрузились в тепловатую воду.

Ахнув от неожиданности, Скотт отдернул ноги и закинул их обратно на губку. Ему казалось, что

удары раздаются все чаще и чаще. Тук-тук-тук! Перехватило дыхание. Боже, что это...

Морщась от сотрясения, производимого в голове стуком, Скотт опять спустил ноги с кровати и погрузил их в теплую воду. Торопливо встал, затыкая изо всех сил пальцами уши. Тук, тук, тук! Скотту казалось, что он стоит внутри барабана, по которому кто-то с неистовством стучит огромными палочками. Хватая воздух ртом, пошатываясь, он двинулся к краю крышки коробки. Поскользнулся на неверной поверхности мокрого пола и, ударившись со всей силы правым коленом о цемент, закричал от боли. Со стоном поднялся на ноги и тут же снова поскользнулся.

— Чертов пол! — взорвался Скотт, но едва услышал себя в почти оглушающем шуме. В бешенстве он уперся ногами в пол, встал, поднял край крышки и проскользнул под ним наружу. Опять поскользнулся и упал, сильно стукнувшись об пол локтем. Острая, как нож, боль пронзила руку. Скотт вскочил, но капля воды тяжело хлопнулась ему на спину, и он снова растянулся на полу. Изгибаясь, как выброшенная на берег рыба, Скотт вдруг увидел, где протекает водогрей.

— Боже мой, — промычал он, морщась от боли в колене и локте.

Скотт встал, глядя на то, как разбиваются о крышку коробки и цементный пол капли воды. Теплая вода стекала по его лодыжкам. Он увидел еще один водопад, меньше первого, который падал с края цементной приступки и рассыпался по полу погреба.

Долгое время Скотт стоял в нерешительности, глядя на падающую воду и чувствуя, как к телу прилипает теплый, намокший халат.

И вдруг из груди его вырвался крик:

— Печень!

Он стремглав бросился обратно к крышке, скользя по полу и с трудом удерживаясь на ногах. Поднял крышку за один край, едва устояв; поскользываясь

на каждом шагу, прошел с ней немножко вперед и накрыл свою кровать. Отпустив крышку, он бросился бежать по губке, слыша, как под ногами хлюпает, вырываясь из разбухших пор, вода.

— Нет!

Он не мог поднять наверх отяжелевший от воды пакет. С перекошенным от страха и ярости лицом, Скотт разрывал пакет, и мокрая бумага расплзлась под его руками как салфетка. Светло-серая масса, в которую слиплись набухшие от воды кусочки печенья, поразила его своим видом. Он зачерпнул ее ладонью и почувствовал, как она тягуче потекла скисшей овсяной кашей. С проклятиями стряхнул с руки капаящую массу, и она, перелетев через край приступки, рассыпалась полусотней вязких, серого цвета капелек.

Скотт встал коленками на губку, не обращая никакого внимания на лившуюся на него отовсюду воду. Его взгляд был прикован к кучке кусочков печенья; от ненависти к преследовавшему его року губы сжались в одну тонкую бескровную полоску.

— Что толку? — бормотал он, резко сжав кулаки. — Что толку? — Капля воды упала прямо перед ним, и Скотт с яростью обрушил на нее свой кулак. Потеряв равновесие, он свалился на губку лицом вниз. Под тяжестью его тела ноздреватая поверхность губки поддалась, и снизу в Скотта ударили потоки воды.

Трясаясь от ярости, он перепрыгнул на приступку и крикнул, не понимая, к кому именно обращает свой гневный выкрик:

— Вам не удастся сломить меня!

Стиснул зубы, и в следующем его выкрике прозвучали непреклонность воли и вызов року:

— Вам не удастся сломить меня!

Он загреб пригоршни сырого печенья и высыпал его в сухом безопасном месте на нижней черной полке водогрея.

«На что годится сырое печенье?» — спросил рассудок.

«Оно высохнет!» — ответил Скотт.

— «Оно раньше сгниет», — не унимался рассудок.

— «Заткнись!» — прорычал Скотт и подумал: «Боже».

Затем скатал, как снежок, шарик печенья и бросил его в водогрей. Шарик расплылся по металлу.

Вдруг Скотт засмеялся. Неожиданно все, что произошло в последние минуты, показалось ему уморительно смешным: он, ростом в четыре седьмых дюйма, в халате, похожем на мешок, стоит по щиколотку в теплой воде и бросает в водогрей шарики из мокрого печенья. Откинув назад голову, он разразился громким смехом, потом сел в теплую воду и стал бить по ней ладонями, поднимая вокруг себя целые фонтаны брызг. Он стащил с себя халат и принялся кататься голышом в теплой воде. «Ванна! Я принимаю чертову утреннюю ванну», — пронеслось в голове.

Спустя некоторое время Скотт встал и вытерся еще сухим в некоторых местах платком, обмотанным вокруг губки. Затем выжал халат и повесил его сушиться.

— У меня болит горло, — сказал Скотт сам себе. — Ну и что? Придется подождать ему своей очереди.

Он сам не смог бы объяснить, почему ему вдруг стало так весело, почему он вдруг отдался глупому развлечению. Без сомнения, его положение было плачевным, и Скотт догадывался, что, когда человеку становится совсем уж тяжело, он уже не может видеть вещи такими, какие они есть, он замечает в них кучу нелепицы и либо смеется, либо впадает в сарказм.

И, насколько мог, Скотт представил, как бы он себя повел, если бы через край приступки сейчас перевалил паук, — он засмеялся бы.

Зубами, ногтями Скотт оторвал от платка лоскут тонкой материи и уже проверенным способом сделал из него халат, связав узлами концы. Торопливо надел свою новую одежду: ему необходимо было добраться до швейной коробки.

Подняв тяжелую булавку, он сбросил ее на пол. Затем слез с цементной приступки и снова взял в руки свое оружие. «Мне придется теперь подыскать другое ночное убежище», — подумал Скотт. Необходимость сделать это даже веселила его. Возможно, ему еще придется забраться по стене огромной скалы за ломтиком сухого хлеба. И это тоже его веселило. Качая головой в такт своему шагу, Скотт шел подпрыгивающей походкой к картонке, а над ним через окна струился в погреб солнечный свет.

Он чувствовал себя как после разрыва контракта с газетой. Тогда его ожидали все неоплаченные счета, безжалостная нужда и проблемы устройства в жизни. Он пытался вернуться к работе, умолял об этом Марти, и тот нехотя согласился. Но ничего из этого в итоге не получилось. Его положение становилось все хуже и хуже, и однажды он сорвался.

Тереза увидела, как он пытался вскарабкаться на стул, и, подняв его, как маленького мальчика, усадила. Он истошно завопил на нее и смерчем ворвался в кабинет Марти. Но, прежде чем успел произнести хоть слово, брат швырнул в него через стол письмо. Оно пришло из Управления по делам ветеранов. В суде военного ведомства было отказано.

Вечером того же дня, когда Скотт возвращался на машине с работы, у него в полуквартале от дома спустила все та же шина. Он залился истерическим хохотом и забылся до того, что свалился со своего специального кресла на обыкновенное сиденье, а оттуда, корчась от смеха, рухнул на пол.

Такая реакция на злоключения была способом самозащиты. Механизмом, изобретенным рассудком

для предупреждения нервного срыва. Она давала избавление от гнетущего бремени неудач, когда терпеть их становилось совсем уж невозможно.

Подойдя к коробке, Скотт забрался в нее, даже не посмотрев, не подстерегает ли его там паук. Большими шагами он подошел к швейной коробке и нашел в ней маленький наперсток. Ему пришлось приложить все свои силы, чтобы взгромоздить наперсток на грудку из одежды и пропихнуть его в отверстие в стенке коробки.

Скотт катил наперсток по полу, как пустую бочку литров на двести. За ним волочилась булавка, воткнутая в халат.

Оказавшись возле нагревателя, он сначала хотел попробовать затащить наперсток на цементную приступку, но, подумав, решил, что тот слишком тяжел для этого, и подкатил его к основанию приступки. Под падающим вниз потоком воды наперсток быстро наполнился до краев.

Вода была грязновата, но это не имело никакого значения. Скотт зачерпнул ее пригоршнями и умыл лицо — это была роскошь, которой он не позволял себе уже несколько месяцев. Ему также очень хотелось сбрить свою густую бороду, вот это было бы действительно здорово. Может, булавкой? Нет, не получится.

Скотт отхлебнул воды и скорчил гримасу: «Не очень хороша». Ну ничего, охладится. Теперь ему не придется ползать так далеко вниз к насосу.

Поднатужившись, он сумел отодвинуть наперсток от водопада; от толчка по воде пошли волны. Прислонив булавку к наперстку, Скотт вскарабкался на его край и оттуда, окруженный легким облаком брызг, взгляделся в свое отражение в воде.

Скотт недовольно заворчал. Перемена слишком бросалась в глаза: маленькая головка, сморщенный кулачок — по сравнению с тем, что было до болезни.

Но за исключением размера, все осталось как прежде, до последней черточки: те же зеленые глаза, те же темно-каштановые волосы, тот же широкий нос, сужающийся к кончику, те же очертания рта, те же уши и полные губы. Скотт оскалил зубы. И они все такие же, чуть-чуть, правда, начали портиться: он их давно не чистил. Но они все же сохраняли свою белизну благодаря тому, что каждый день он протирал их мокрым пальцем. Удивительно. Пожалуй, концерны, выпускающие зубную пасту, вылетели бы в трубу, начни он рекламировать свое невольное открытие.

Скотт все всматривался в свое лицо. Оно казалось необычайно спокойным для человека, каждый день жизни которого был полон ужасов и опасностей. Возможно, что жизнь по законам джунглей, если не брать в расчет возможность смерти, способна оказывать успокаивающее действие. Без сомнения, в ней нет места мелочным обидам, противоречивым ценностям человеческого общества. Она незатейлива и лишена надуманных переживаний и источающих зло страстей. Ответственность всякого существа в мире, живущем по законам джунглей, сводится к одной проблеме — выживанию. В этом мире не надо вести политические игры, вступать в финансовые баталии и участвовать в сумасшедших гонках вверх по социальной лестнице. В этом мире каждый решает только один вопрос: быть или не быть.

Скотт поводил рукой по воде, и она зарябилась. «Прочь, лицо, — подумал он, — ты ничего не значишь в этой моей жизни в погребке». То, что его когда-то считали красивым, Скотту показалось сейчас очень глупым. Он был совершенно один в своем мире, и с ним рядом не было никого, кому могли бы понравиться или доставить удовольствие красивые черты его лица.

Скотт соскользнул по булавке вниз. И, вытирая мокрое от брызг лицо, он думал о том, что от прошлой жизни ему осталась лишь одна его любовь к Луизе. Она была его последним знаменем, не спущенным перед роком.

Любить, когда взаимность фатально невозможна, любить безгрешно, бескорыстно — это настоящая любовь.

Он только что измерил линейкой свой рост и уже возвращался к водогрею, когда вдруг раздался громкий скрип, оглушительный грохот, и по полу разлился ослепительный солнечный свет. Тяжело ступая, в подвал спускался какой-то гигант.

Скотт оцепенел.

От ужаса он прирос к полу и широко раскрытыми глазами глядел на исполинскую фигуру, надвигавшуюся на него, на нависавшие над его головой тапки, которые с грохотом опускались вниз, сотрясая пол. Сердце Скотта бешено стучало не только потому, что он был потрясен неожиданной встречей с огромным, как гора, существом, но и от мысли, мелькнувшей у него вопреки сковавшему его ужасу, что он и сам когда-то был таким же вот исполином. Запрокинув голову, раскрыв от ужаса рот, Скотт испуганно глядел на приближающегося к нему гиганта.

Вдруг его пронзил молнией инстинктивный позыв к самосохранению, прогнавший прочь мысли и сбросивший с него оцепенение, и Скотт кинулся бежать к краю широко разливавшейся по полу тени. Пол дрожал все сильнее. Скотт слышал резкий скрип громадных тапок, которые вот-вот должны были размазать его, как жука.

Вскрикнув, он покрыл еще один ярд и прыгнул на свет, выставив вперед руки. Рухнул на пол и, пытаясь смягчить падение, перекатился через плечо. Широочен-

ная подошва тапки обрушилась рядом, в нескольких дюймах от него.

Великан остановился. Из бездонного кармана он вытащил отвертку длиной с семизэтажное здание (как показалось Скотту), и сел на корточки перед водогреем. Черная тень при этом уткнулась под него, как в бурный омут.

Шлепая по воде, Скотт обогнул правый тапок великана — головой он доставал только до верхнего края подошвы. Остановившись у цементной приступки и подняв глаза, стал всматриваться в колосса.

Очень высоко — так высоко, что даже приходилось прищуриваться, — Скотт разглядел лицо великана: нос — крутой склон, с которого он мог бы съехать на лыжах; ноздри и уши — огромные пещеры, по которым он мог бы ползать, волосы — густой лес, в котором, пожалуй, можно было бы и заблудиться; рот — огромная, закрытая пропасть; зубы (гигант вдруг оскалил их) — столбы, между которыми Скотт просунул бы руку; зрачки — шары, высотой с него самого; радужная оболочка глаза, настолько широкая, что он мог бы пролезть через нее; ресницы — черные сабли.

Скотт молча глядел на великана. Вот какая она теперь, Лу — чудовищно высокая, с пальцами, толстыми, как ствол красного дерева, с ногами, как у слона, какого не носила еще на себе земля, с двумя мягкими остроконечными пирамидами грудей.

И вдруг огромная фигура задрожала в пелене наворачнувшихся на глаза слез. Прежде Скотт никогда так тяжело не переживал этого.

Не видя ее, представляя ее ростом с себя, он, даже зная, что все это невозможно, думал все же, что сможет дотронуться до Лу, поднять ее на руках. Теперь его самообман стал очевиден. И образ Лу был безжалостно вычеркнут из его памяти внезапно навалившимся разочарованием.

Скотт стоял и тихо плакал. Он даже не обратил никакого внимания на то, что великан поднял его губку и с рыком динозавра отшвырнул куда-то. Состояние духа в это утро у Скотта менялось сумасшедшими скачками — панический страх, опустошенность, безудержная веселость, умиротворенность, ужас и вот опять опустошенность. Он стоял около приступки и смотрел, как великан снимает стенку водогрея, высотой с небоскреб, отставляет ее в сторону и залезает отверткой в открывшееся ему чрево.

Холодный ветер налетел на Скотта, и он резко, до боли в шее, повернул голову.

Дверь!

— Боже мой, — пробормотал он, поразившись своей собственной недогадливости. Стоять, опустив в безутешной печали руки, в то время как выход из заточения ждет его.

Скотт опрометью бросился к выходу. Но вдруг, чуть не упав, отскочил в сторону, поняв, что великан может увидеть его и принять за маленькое насекомое, бегущее по полу.

Не отрывая взгляда от высящейся перед ним громадной фигуры, он попятился вдоль приступки к стене. Затем, развернувшись, кинулся бежать к огромной тени от топливного бака. Все еще не спуская глаз с великана, Скотт пробежал под баком, мимо веревочной лестницы, под красным металлическим столом, под плетеным столиком и впервые даже не вздрогнул, когда опять раздался оглушительный рев заработавшего масляного обогревателя.

Оставив позади со стуком ковырявшегося в механизме водогрея великана, Скотт подбежал к подножию лестницы из погреба.

Первая ступенька уходила вверх на пятьдесят футов. Скотт шагал в ее прохладной тени, глядя вверх, через ее отвесную стену, на разливавшийся по

погребу золотым потоком свет: было все еще раннее утро, и дверь погреба выходила на восток.

Скотт пустился бежать вдоль одной из плит ступеньки, высматривая, где бы он мог забраться наверх. Но нашел лишь узкий вертикальный проход у дальнего правого конца плиты, где между двумя плитами цементный раствор потрескался и осыпался, оставив похожую на желобок расщелину шириной с его тело. Ему придется карабкаться вверх, как альпинисту, — упираясь в стенки спиной и подошвами сандалий, медленно и осторожно подталкивая себя ногами вверх. Подъем предстоял ужасно сложный, и, чтобы выбраться из погреба во двор, надо было преодолеть семь ступенек. Вскарabкаться по семи отвесным стенам, высотой по пятьдесят футов каждая. А если уже после первой ступеньки у него не останется сил...

Нитка. Она может помочь. Он бегом вернулся к плетеному столу и, подергав за нитку, сорвал с полки стола укрепленный там колышек. Затем, бросив взгляд на великана, который все еще сидел на корточках перед водогреем, Скотт побежал обратно к ступеньке, волоча за собой толстую нитку. Теперь все зависит от везенья.

Изо всех сил Скотт бросил колышек вверх. Но до верха ступеньки тот так и не долетел. Но даже если бы он смог забросить колышек на ступеньку, едва ли бы тот зацепился за что-нибудь на гладкой поверхности. Скотт подтащил нитку к обнаруженной им узкой расщелине и стал осматривать ее стенки, пытаясь отыскать какую-нибудь трещину, в которой мог бы засесть колышек. Но, увы, безрезультатно.

Он бросил колышек на пол и двинулся нервным шагом, то и дело сбиваясь на бег, вдоль неприступной ступеньки. Как загнанный зверь, Скотт вдруг развернулся и побежал обратно. Нет, должен быть какой-то выход. Месяцы он провел в погребе, ожидая этого момента, ползими пережил в своем холодном заточе-

нии, выжидая, когда кто-нибудь откроет огромную дверь и он выберется на свободу. Но он такой маленький. Нет, нет — нельзя думать об этом. Выход есть, из любого положения есть выход. Пусть трудный, но выход есть всегда. Надо верить в это. Скотт бросил еще один беспокойный взгляд на сидевшего возле водогрея великана. Как долго он еще будет возиться там? Несколько часов? Минут? Нельзя терять ни секунды.

Швабра!

Скотт опять бросился бежать, дрожа всем телом на холодном ветру. Ему следовало бы надеть свой теплый халат. Но времени на переодевания нет. К тому же тот халат, возможно, еще не высох. Наперсток. Интересно, перевернул великан его своими чудовищными ножищами или нет, а может, он его расплющил в лепешку?

— Ну и что? — зарычал Скотт. — Я все равно выберусь отсюда.

Он резко остановился перед шваброй, стоявшей у холодильника.

Густая щетка швабры была покрыта паутиной. Скотт точно знал, что ее оставила не черная вдова, но паутина напомнила ему о брошенной возле водогрея булавке. Стоит ли вернуться и попробовать взять ее?

От отбросил и эту мысль. Это тоже уже не важно. Он не намерен оставаться здесь. И только на этой мысли можно позволить себе сосредоточиться.

— Я выберусь отсюда, вот и все! Я выберусь!

Скотт схватил руками одну из щетинок, толщиной с добрую дубинку, и потянул ее изо всех сил на себя. Та не поддавалась. Потянул еще раз, но с тем же успехом. Он схватил другую щетинку и резко ее дернул. Та ничуть не поддавалась. Раздраженно выругавшись, он схватил руками еще одну щетинку и потянул, потом еще одну и еще. Но ни одна не поддавалась.

И все-таки Скотт потянул еще один волосок. Потянул изо всех сил, упираясь ногами в щетку, забыв про все на свете. Волосок вытянулся настолько легко, что Скотт от собственного же усилия отлетел назад и упал спиной на цементный пол. От боли он издал пронзительный крик. И тут же ему пришлось быстро откатиться в сторону, чтобы увернуться от падавшего прямо ему на голову волоска.

Морщась от боли в спине, Скотт с усилием поднялся на ноги. Присев, крепко схватил руками волосок и медленно поволок его к ступеньке, где и положил перпендикулярно ее стене. Тяжело дыша, он стоял, положив руки на бедра. Солнечный свет, лившийся над головой, был похож на раскрученную из рулона светящуюся материю, настолько плотную, что Скотту казалось: он мог перебежать по ней из погреба во двор.

Скотт закрыл глаза и сделал несколько быстрых глотков холодного мартовского воздуха. Затем побежал к дальнему концу волоса. Подняв его и, прислонив к шершавой поверхности цементной стены, стал поднимать все выше и выше, подтягивая на себя нижний конец так, что угол наклона волоска становился все более острым. А великан не услышит, как он здесь царапает по стене? Нет, конечно, не услышит. Громадные уши не способны уловить такой слабый звук.

Когда угол наклона волоска составил 70° , Скотт уронил болевшие от перенапряжения руки, устало опустил голову, жадно хватая ртом воздух. Хоть и холодной была цементная ступенька, он прислонился к ней, не замечая этого. В глазах от изнеможения заребило, и погреб медленно поплыл, растворяясь в пелене. Масляный обогреватель затих. В гулкой тишине до Скотта долетал стук инструментов великана.

Когда сознание вернулось к Скотту и в руках улеглась дрожь, он взглянул на волосок — и тяже-

лый вздох разочарования вырвался из его груди. Волосок был не таким уж длинным, как представлялось; более того, он фактически оказался даже еще короче из-за того, что средняя часть его под собственной тяжестью провисала вниз. Даже если Скотт доползет до верхнего конца волоска, от края ступеньки его еще будут отделять добрые восемь-десять футов. Восемь-десять футов совершенно гладкой, отвесной цементной стены.

Дрожащей рукой он провел по волосам и подумал: «Вам не удастся сломить меня», опять обращаясь к неведомым злым силам. Изрезанное морщинами и складками лицо застыло в напряженной маске. Он все равно будет подниматься здесь, вот и все, а страхи и сомнения — прочь!

Скотт осмотрелся. У стены рядом со штабелем бревен высилась гора из камней, листьев и щепок. Давным-давно, еще в той жизни, которая представлялась ему теперь больше воображаемой, чем реальной, он в порыве столь несвойственной ему аккуратности смел их в одну кучу.

Скотт побежал к этой куче мусора. Она возвышалась над ним горой из валунов и гигантских бревен, некоторые из них были для него величиной с дом. Мог ли он надеяться на то, что ему удастся оттащить к подножию ступеньки хотя бы несколько камней или бревен, чтобы, подняв на них волосок, покрыть пять из восьми-десяти футов? Оставшиеся три или пять футов он попытается преодолеть, подпрыгнув вверх, как однажды уже сделал, карабкаясь на крышку стола.

— Но ты же чуть не сорвался тогда вниз, — напомнил он сам себе. — И если бы не та ручка от жестянки из-под краски...

Но Скотт отклонил это предостережение. В этот момент оно не могло быть убедительным доводом против восхождения. Ведь вся его жизнь, до послед-

него движения и вздоха, с того самого момента, как он свалился в этот треклятый погреб, была исполнена надежды на то, что он выберется отсюда именно по этим ступенькам. В начале заточения он раз сто забирался и спускался по ним, но всякий раз на его пути к свободе оказывалась закрытая дверь. И когда Скотт подумал, как легко он раньше забирался по ступенькам, ему стало не по себе. Как ужасно, жестоко, что сейчас, когда дверь наконец открылась, ступеньки превратились для него из невысоких стен в почти неприступные скалы.

Первый камень оказался настолько тяжелым, что его не удалось даже сдвинуть с места. Высматривая камни поменьше, Скотт двинулся по склону горы, то и дело спотыкаясь о торчащие края камней и выступающие бревна. Его беспокойный взгляд перебегал от одного углубления между камнями к другому. «Что, если в одном из углублений-проходов прячется паук?» С тяжело бьющимся сердцем Скотт шел дальше по изломанному склону, пока наконец не нашел плоский камень, который ему удалось сдвинуть.

Мучительно медленно протаскивая свою находку по полу, он плотно придвинул ее к ступеньке. Выпрямившись, отступил назад. Камень был чуть выше его коленок. Значит, нужен еще один.

Вернувшись к горе мусора, Скотт продолжил поиски. Наконец ему удалось найти еще один камень, похожий на первый, и в придачу еще кусочек коры. Уложенные друг на дружку камни и кора поднимут его примерно на нужную высоту. И более того, в кусочке коры он обнаружил небольшую канавку, в которой можно будет закрепить конец волоска.

Ворча от удовольствия, Скотт подвинул не очень-то легкий второй камень к ступеньке. Затем, стиснув зубы, напрягся до дрожи в теле и взгромоздил второй камень на первый. В спине что-то хрустнуло. Выпрямившись, Скотт почувствовал острую боль в мышцах

спины. «Ты разваливаешься на части, Кэри», — сказал он себе. Это было даже забавно.

Он заметил, что второй камень немножко шатается, и ему пришлось всунуть кусочки картонки в щели между камнями. Покончив с этим, Скотт забрался на камни и попрыгал на них. Ну вот, теперь маленькая приступка готова.

Он беспокойно взглянул на великана, который все еще ковырялся в водогрее, — сколько у него еще осталось времени? Скотт соскочил вниз и, застонав от боли в спине, медленно вернулся к горе. Больное горло, поврежденная спина, трясущиеся руки. Что дальше? На него налетел холодный ветер, и он чихнул. А дальше — воспаление легких. Все это было, пожалуй, даже забавно.

С кусочком коры проблем было намного меньше. Тонкий конец Скотт положил себе на плечо и, пригнувшись, волочил кусочек за собой по полу. Похолодало. В голову вдруг ударила мысль, что он еще не знает, что будет делать, выбравшись из погреба. Если на улице действительно очень холодно, ведь от холода можно и умереть. Скотт прогнал эту мысль.

Без особого труда он поднял кору на камни и, прислонившись к приступке, стал осматривать ее.

Кора и волосок теперь находились рядом, и Скотт увидел, что канавка в коре была слишком узкой для волоска. Он недовольно хмыкнул: «Вот бегаешь, суетишься». Опять бросил тревожный взгляд на великана. Но откуда ему знать, сколько еще осталось времени. Что, если, когда он заберется на вторую ступеньку, великан закончит работу и выйдет? Если его не раздавят чудовищные тапки, то он просто-напросто застрянет на этой высокой ступеньке в полной темноте, в которой ничего не видно, и не сможет слезть вниз. Но долго думать об этом он не собирался. Случится так, и ему просто придет конец. Он выбо-

рется из погребца теперь или... Не может быть никаких или. Он не допустит никаких и л и.

Скотт поднял с пола маленький осколок камня и, забравшись на свою приступку, стал отковыривать им от края канавки в коре тонкие длинны волокна, пока наконец канавка не расширилась настолько, чтобы в не вошел конец волоска. Отбросив осколок, Скотт поднял край халата и вытер потное лицо.

Затем несколько минут стоял, глубоко дыша, пытаясь расслабиться. «Нет времени для отдыха», — ворчал рассудок. Но Скотт ответил: «Очень жаль, но отдохнуть придется, иначе наверх не залезть». Остается положиться на то, что великан еще не скоро закончит возиться с водогреем. Совершенно ясно: одним рывком наверх не забраться.

И вдруг в голове возник вопрос: «А зачем я все это делаю?»

На какое-то мгновение Скотт замер как вкопанный. Зачем он делает все это? Через несколько дней все закончится. Он исчезнет. Так к чему же тогда так напрягаться? К чему делать вид, что продолжаешь существовать, когда ты уже обречен?

Скотт замотал головой. Нет, так думать опасно. С такими мяслями ему быстро придет конец. Ведь если вдуматься, то все, что он делал и делает, лишено какой-либо логики. Но все же он не может остановиться. Может быть, потому, что он не верит, что в субботу всему придет конец? Как можно сомневаться в этом? Разве фатальный процесс прерывался хоть раз — хотя бы раз — с момента своего начала? Нет, такого не было. Седьмая часть дюйма от его роста долой каждый день, как по часам. Он мог бы даже разработать математическую теорию, основываясь на безупречном постоянстве своего падения в неотвратимое ничто.

Скотт вздрогнул. Странно, но мысли об этом действовали на него обессиливающе. Уже сейчас он чув-

ствсвал меньше сил. Усталось напомнила о себе. Уверенность начала таять. Затяни он с этими тягостными раздумьями, и ему пришел бы конец.

Скотт двинулся к волоску, нарочно пытаясь не обращать никакого внимания на усталость, вызванную приступом отчаяния. Он больше не позволит себе такой слабости. Он постарается забыться в работе.

Поднять волосок на кусочек коры оказалось делом чрезвычайно трудным. Одно дело, упираясь ногами в пол, подхватив конец волоска, поднимать его, подтягивая на себя по полу. И совсем другое — поднимать его над полом и затаскивать на возведенную приступку.

Во время первой попытки волосок выскользнул из рук и со стуком упал на пол, придавив носок одной из сандалий. Нога была прижата к полу, пока он не освободил ее, приподняв волосок.

Скотт привалился к приступке. Грудь сильно вздрагивала от судорожного дыхания. А если бы волосок упал прямо на ногу?..

Он закрыл глаза. «Не думай об этом, — предостерегал себя Скотт, — мужайся. Не думай о том, что могло бы случиться».

Со второй попытки ему удалось затащить нижний конец волоска на первый камень. Но, пока он переводил дух, волосок опрокинулся на него и чуть не сбил с ног. Ругаясь в бессильной злобе, он подтащил волосок к приступке и, почувствовав резкий прилив сил, поднял его еще раз на первый камень, но теперь уже, прежде чем опустить волосок, убедился, что тот прочно лежит на камне.

Со вторым камнем было еще сложнее. Рычаг здесь бы не помог, потому что поднимать конец волоска надо было от пояса почти к самым плечам, рассчитывая только на мышцы рук и спины.

Набрав полную грудь воздуха, Скотт поджал губы, поднатужился и, как штангист, взгромоздил волосок

на верхний камень. Осознание того, какой вес он поднял, к Скотту пришло, лишь когда он выпустил волосок из рук. Болезненное напряжение в спине и паху проходило очень медленно, как будто мышцы кто-то скрутил, отжимая из них влагу, и теперь они постепенно раскручивались. Скотт прижал ладонь к пояснице.

Немного погодя он был уже на приступке. Резко приподняв волосок, засунул его конец в канавку, затем еще некоторое время устанавливал в наиболее удобное для себя положение. Покончив с этим, присел, чтобы набраться сил для предстоящего подъема. Великан же все еще работал. У него есть еще время, конечно, есть.

Затем Скотт встал и в последний раз проверил, как держится волосок. «Хорошо», — подумал он. Сделал резкий вдох. Теперь можно выбираться отсюда. Скотт потрогал висящую кольцами на правом плече нитку. «Хорошо. Готов».

Он медленно и осторожно полз вверх по волоску так, чтобы тот не соскользнул по стене в сторону. Под его весом волосок еще больше прогибался и в какой-то момент соскользнул-таки в сторону. Скотту пришлось остановиться. Поддержув волосок всем телом, он вернул его в прежнее положение.

Переведя дух, Скотт снова полез вверх, плотно охватывая волосок ногами. От напряжения он вытянул губы вперед, крепко стиснул зубы. Бессмысленный взгляд его упирался в унылую серую цементную стену. Забравшись на ступеньку, он опустит вниз петлю нитки и с ее помощью затащит наверх волосок. Там, наверху, не будет камней для приступки, но он что-нибудь придумает. Вот уже поднялся на двадцать футов, двадцать пять, тридцать...

Заслонив собой солнце, над ним застыла гигантская фигура. Скотт едва не сорвался вниз. Пальцы чуть разжались, и его развернуло под волосок. Отча-

янно цепляясь руками за гладкую поверхность своего «шеста», он резким толчком остановил сползавшее вниз тело и вдруг обнаружил, что на него смотрят два светящихся зеленых кошачьих глаза.

От неожиданности у Скотта перехватило дыхание. Он впал в еще большее оцепенение, чем при появлении великана. Вцепившись в волосок руками и ногами, Скотт, словно погрузившись в гипнотический сон, испуганно глядел на кошку.

Усы-копья зашевелились. Припав к полу, расставив передние лапы и выгнув спину, огромная кошка с настороженным любопытством медленно приближалась. Скотт почувствовал на себе ее теплое дыхание, и его чуть не стошнило.

Едва не потеряв сознание, он съехал по волоску на несколько дюймов вниз, но резко остановился, услышав мелодичное урчанье, вырвавшееся из кошачьей глотки.

Скотт неподвижно висел на волоске. Усы кошки снова зашевелились. Он почувствовал подкатившую к горлу тошноту от ее дыхания. Помотав головой, увидел ее выступающие клыки, похожие на чудовищные кинжалы с желтыми краями, способные в один миг проткнуть насквозь его тело.

По спине Скотта пробежал холод. Он еще чуть-чуть спустился. Кошка подалась вперед своим изогнутым телом. «Нет!» — пронзительно вскрикнул рассудок. Скотт слился телом с дрожащим волоском. Его сердце тяжелым молотом билось о ребра.

Если он попробует спуститься, кошка бросится на него. Если он прыгнет, то сломает ногу, и кошка его съест. И, тем не менее, ничего не делать тоже нельзя. Скотт нервно сглотнул.

Не в силах что-либо сделать, он висел под пристальным взглядом огромной кошки.

Когда она подняла дрожащую от нетерпения правую лапу, Скотт затаил дыхание. Охваченный диким

ужасом, он следил за тем, как огромная серая лапа приближается к нему. Он не мог и пошевелиться. Глаза его от ужаса расширились. А он все висел, ожидая своей участи.

Когда лапа вот-вот должна была дотронуться до него, в один миг напряженное ожидание взорвалось бурей.

— Брысь! — пронзительно крикнул Скотт кошке в самую морду.

Та испуганно отскочила. А он, резко наклонившись телом в сторону, потянул за собой волосок, который, царапая по цементной стене, начал сползать вниз все быстрее и быстрее. Не глядя на кошку, Скотт держался за падавший волосок, пока до пола не осталось около пяти футов. Он прыгнул.

Ударившись ногами о цемент, он кувыркнулся вперед и упал ничком на ступеньку. Сзади, утробно рыча, прижимаясь к ступеньке, подбегала кошка. «Встать!» — завопил рассудок.

Вскочив, Скотт бросился вперед, но опять полетел на ступеньку. И упал на колени.

Кошка прыгнула и с такой силой опустила перед ним свои лапы, что когти, ударившись о цемент, высекли целый сноп искр. Хищница кровожадно раскрыла пасть — пышущую жаром пещеру, утыканную наточенными саблями. Пятясь вдоль стенки ступеньки, Скотт почувствовал, что нитка, скрученная кольцами, соскользнула с плеча. Схватив нитку, он швырнул ее кошке в самую пасть. Хищница, отплевываясь и давась, отскочила назад. Слетев со ступеньки, Скотт кинулся к горе мусора и юркнул в одну из пещер. Секундой позже у входа в пещеру обрушилась когтистая лапа кошки. Камень, по которому она попала, с шумом отскочил в сторону. Скотт залез в самую глубь пещеры, затем свернул в боковой проход. А хищница все продолжала бешено скрести по камням.

— Эй, киса.

Скотт резко остановился и, вытянув шею, стал прислушиваться к рокоту сочного голоса.

— Эй, кого ты там ловишь? — спросил голос. И Скотт услышал смех, похожий на раскаты отдаленного грома. — Что, загнала туда мышку?

Пол задрожал — это гигант затопал по нему своими тапками. Подавив крик, Скотт бросился по наклонному проходу, кинулся еще в один и стал метаться из стороны в сторону, пока не наткнулся на глухую стену. Перед ней он присел на корточки и, дрожа всем телом, стал чего-то ждать.

— Нашла мышку, да? — спросил голос совсем рядом, и у Скотта начала раскалываться голова. Он заткнул уши. И, несмотря на это, до него еще доносилось свирепое мяуканье кошки.

— Ладно, киса, сейчас посмотрим, может, мы ее найдем, — сказал великан.

— Нет, — крикнул Скотт и стал вжиматься в стенку. Он слышал скрежещущий, царапающий звук, с которым великан разбрасывал валуны. Этот звук, как нож, терзал его мозг. Скотт со всей силы прижал ладони к ушам.

И вдруг в него ударил свет. Он с криком нырнул в открывшийся ему проход. Яростно хватая руками воздух, пролетел вниз семь футов и больно упал на каменный выступ, поцарапав правую руку. В полной темноте рядом с грохотом свалился сверху валун, содрав кожу с правой ладони. В ужасе Скотт завонил.

А великан все приговаривал:

— Мы найдем ее, найдем.

Опять ударил свет. Хрипло застонав, Скотт полетел вверх и снова нырнул в темноту. Упавший сверху камень отскочил от пола и сбил его с ног. Перекатившись и снова вскочив на ноги, Скотт, немея от панического страха, бросился бежать по обваливающейся пещере. В него попал еще один камень, и он полетел головой прямо в стену.

Тьма крошечная окутала его разум, Скотт почувствовал на щеке теплую струйку крови. Ноги безвольно обмякли, руки распростерлись, как умирающие цветы. А камни все падали и падали, и вскоре вокруг выросла мощная стена могильника.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наконец, спотыкаясь и шатаясь, Скотт выбрался на свет.

Он остановился у самого зева пещеры и нехотя окинул унылым взглядом подвал. Великан ушел. А с ним и кошка. Стенка водогрея была прикручена на свое место. Все было как прежде: груды огромных предметов, тревожная тишина и угнетающее пространство. Его взгляд медленно двинулся к ступенькам, а по ним — вверх. Дверь заперта.

Скотт удрученно глядел на нее, чувствуя полную опустошенность от перегоревшего в нем желания выбраться наружу. Опять его борьба ни к чему не привела. И то, что он толкал валуны, ползал и карабкался по темным, как чернила, петляющим проходам в горе из камней, — это все тоже ни к чему не привело.

Скотт закрыл глаза. Перед ним закачалась гора камней, на которую он, слабея, падал мучительно долго вздрагивающим комочком боли. Боль, казалось, разлилась по всему телу: по рукам, ногам, наполнив собой горло, грудь, желудок. В голове гудело от тупой ноющей боли. Скотт не знал, мучил ли его голод или его тошнило. Руки его судорожно тряслись.

Волоча ноги по полу, он вернулся к водогрею.

Наперсток был опрокинут и лежал на боку. Оставшиеся в нем жалкие капли воды Скотт выпил, как мучимое жаждой животное, высасывая их из

похожих на чашечки выемок в стенках наперстка. Глотать было больно.

Покончив с водой, он медленно, с трудом передвигая изнуренное тело, забрался на цементную приступку. Его ночное убежище было разорено: губка, платок, пакет с печеньем, крышка коробки — все исчезло. Ковыляя, Скотт подошел к краю приступки и увидел, что крышка коробки валяется на полу. Она казалась очень большой и тяжелой. И у него уже не было сил, чтобы поднять ее наверх.

Скотт долго стоял в теплой дымке, окутавшей водогрей, и, слегка раскачиваясь, уныло оглядывал темнеющий погреб. Еще один день на исходе. Среда. Осталось три дня.

От голода желудок недовольно заурчал. Скотт медленно закинул голову и посмотрел вверх, туда, где он оставил сохнуть несколько кусочков печенья. Они были на месте. Тяжело вздохнув, Скотт подошел к ножке водогрея и вскарабкался по ней на выступ. Там он сел, свесив ноги, и стал есть печенье.

Крошки были еще влажными, но вполне съедобными. Скотт двигал челюстями вяло, часто и надолго останавливаясь. Он так устал, что у него не осталось сил даже на то, чтобы жевать. Он знал, что надо спуститься вниз за крышкой коробки, чтобы спать ночью под ней. Ведь вновь может заявиться паук, до сих пор приходивший почти каждую ночь. Но Скотт был совершенно измотан и решил спать прямо на выступе водогрея. А если придет паук... А, что думать об этом! И Скотт вспомнил одну ночь из своей далекой прошлой жизни во время службы в пехотном полку в Германии. Он тогда так устал, что лег спать, не вырыв для себя в земле укрытия, зная, что эта оплошность могла обернуться смертью.

Скотт медленно пошел по выступу и наконец набрел на углубление в стенке водогрея, перелез через

невысокий барьерчик и, ступив в темноту, улегся спать, положив голову на кончик отвертки.

Лежа на спине, он медленно дышал, не в силах сделать полный, во всю мощь легких, вдох, и думал: «Ну, что-то тебя еще ждет, коротышка?»

И вдруг его осенило. Вместо того чтобы мучиться с камнями да со щетиной, ему надо было просто-напросто забраться в низко свисавший рукав куртки великана и безо всяких мучений в один миг выехать из погребца. Собственная глупость взбесила его, но проявилось это лишь в том, что он скорчил презрительную гримасу и брезгливо причмокнул. «Дурак!» Но даже мысли, казалось, устало шевелились в мозгу. Лицо Скотта разгладилось, и по нему побежали морщинки.

Второй вопрос. Почему он не попробовал обратиться на себя внимание великана и заговорить с ним? Как это ни странно, вопрос не поднял в нем бури раздражения. Он только показался каким-то диким и лишь удивил Скотта. Может быть, потому, что сам Скотт был маленьким и чувствовал себя частью иного мира, из которого невозможно было докричаться до великана? А может быть, потому, что он теперь научился рассчитывать только на себя самого?

С горечью Скотт подумал, что, конечно, это было не так. Он оставался все таким же беспомощным и слабым. Может быть, только ошибался теперь чаще.

Скотт пошарил в темноте вокруг себя руками. Провел рукой по свежей царапине на предплечье. Дотронулся до разодранной ладони. Тихонько надавил локтем на разлившийся багровый синяк на правом боку. Пробежал пальцами по ободранному лбу и ткнул им в свое больное горло. Затем чуть-чуть привстал, и спину пронзила острая боль. Наконец он оставил в покое свои отдельные боли, дав им вновь слиться в одну большую, охватывавшую все его тело.

Веки дрогнули, глаза неожиданно для самого Скотта открылись, и он, ничего не видя, уставился в темноту. Он вспомнил, как очнулся в каменном могильнике, как чуть не сошел с ума от ужаса, как вдруг понял, что ему есть чем дышать и что нельзя терять голову, если он хочет выбраться наружу. Но тот миг, когда он осознал, что заживо погребен в мрачном склепе, был самым черным, страшным моментом его жизни.

Скотт удивился тому, что так уверенно назвал тот момент самым черным и страшным, а ведь откуда ему знать, что это было именно так. Пока он еще жив — за любым поворотом его может поджидать что-нибудь еще почернее и пострашнее.

Думать об этом Скотт уже не мог. Тот момент сейчас был для него самым черным, самым отчаянным за все его пребывание в подвале. Погруженный в такие раздумья, Скотт вспомнил один подобный момент из далекой прошлой жизни.

35 дюймов

Они только что вернулись домой от Марти. Скотт остановился возле окна в гостиной, а Лу понесла Бэт в спальню. Он не предложил жене свою помощь, потому что знал, что уже не смог бы взять на руки дочь.

Когда Лу вернулась из спальни, Скотт все еще стоял у окна.

— Ты собираешься снимать шапку и пальто? — спросила жена.

Не дожидаясь ответа, она вышла на кухню. Скотт стоял в своем детском пальтишке и в альпийской шляпе с красным пером, вставленным за ленточку. Он услышал, как Лу открыла холодильник. Глядя из окна на темную улицу, он слушал действующий на

нервы хруст кусочков льда, высыпанных на поднос, приглушенный хлопок пробки бутылки, шипение и бульканье содовой воды.

— Хочешь колы? — спросила Лу.

Скотт мотнул головой.

— Скотт?

— Нет, — сказал он и почувствовал, как сильно бьется у него пульс.

Лу вошла в гостиную со стаканом в руке.

— Ты собираешься раздеваться? — спросила она.

— Не знаю.

Лу села на кушетку и сбросила тапки. Затем сказала:

— Опять все то же.

Скотт ничего не ответил. Ему казалось, будто Лу разговаривает с ним как с ребенком из-за того, что он принимает близко к сердцу какой-то пустяк, в то время как она терпеливо пытается успокоить его. Ему хотелось бы излить на нее свой гнев, но явного повода для этого не было.

— Ты что, собираешься все время так стоять? — спросила Лу.

— Почему бы и нет, если мне хочется, — ответил Скотт.

Лу озадаченно посмотрела на него и на миг задержала взгляд. Скотт увидел отражение ее лица в оконном стекле. Она пожала плечами и тихо произнесла:

— Говори дальше, что еще?

— А это тебя не касается.

— Что? — Губы ее растянулись в грустную, усталую улыбку.

— Ничего, так просто... — теперь он действительно почувствовал себя мальчиком.

Ему показалось, что она очень уж шумно отпила колы из стакана. Лицо его раздраженно перекосилось.

— Не хлюпай! — завизжал его рассудок. — Пьешь как свинья!

— Ну, Скотт, выговорись. Тебе не станет легче от этого самоедства. — Голос ее звучал немного устало.

Скотт закрыл глаза и вздрогнул. «Вот до чего дошло, — подумал он. — Ужас прошел. Она смирилась». Хоть он и предвидел это, ему все равно было больно.

Вот он — ее муж. Когда-то в нем было росту шесть футов, а теперь он ниже их пятилетней дочери. Он стоит перед ней в своей нелепой детской одежде, а она говорит с ним со слабой мукой в голосе. Вот это-то и есть кошмар страшнее всех ужасов.

Уныло глядя в окно, Скотт прислушивался к шелесту листвы на ветру, и ему казалось, что это шуршат юбки женщины, спускающейся по бесконечно длинной лестнице.

Он услышал, как Лу сделала еще один глоток, и его опять охватило раздражение.

— Скотт, — позвала она.

«Притворная нежность», — подумал он.

— Сядь. От того, что ты все смотришь в окно, дела Марти лучше не пойдут.

Не оборачиваясь, Скотт заговорил:

— Ты думаешь, что меня это заботит?

— А разве не так? Разве мы оба...

— Сто раз не так, — оборвал он ее холодно. Холодность в детском голосе звучала до смешного странно. Как будто Скотт читал свою роль из несерьезной и неуклюжей школьной постановки.

— Но что же тогда? — спросила Лу.

— Если ты до сих пор ничего не поняла...

— Прошу тебя, дорогой, продолжай.

Скотт прицепился к слову:

— Ох, и трудно тебе, наверное, называть меня сейчас дорогим? — И его маленькое лицо напряглось. — А может быть, немножко неискрен...

— Нет, прекрати, Скотт. Неужели нет других проблем, кроме твоих домыслов?

— Домыслов? — Его голос чуть не сорвался на визг. — Ну конечно! Мне все только кажется! Ничего не изменилось. Все как прежде. А я только до...

— Ты разбудишь Бет.

К горлу сразу подкатило много гневных слов. Они мешали друг другу вырваться наружу, и Скотт, не в силах ничего сказать, удрученно курил.

Затем неожиданно он направился к входной двери.

— Куда ты собрался? — с тревогой в голосе спросила Лу.

— Прогуляться. А ты что, против?

— Ты будешь гулять по улице?

Ему захотелось пронзительно закричать.

— Да, — произнес Скотт дрожащим от сдерживаемого гнева голосом. — По улице.

— Ты думаешь, тебе стоит идти на прогулку?

— Да, я считаю, стоит.

— Скотт, я просто беспокоюсь за тебя, — взорвалась наконец Лу. — Неужели ты этого не видишь?

— Конечно. Да, конечно, ты беспокоишься. — Он толкнул дверь, но она не поддавалась. Краска бросилась ему в лицо. Бормоча какое-то ругательство, он толкнул дверь сильнее.

— Скотт, что я тебе сделала? Разве я сделала тебе что-нибудь плохое? Ну разве я виновата, что Марти лишился этого контракта?

— К черту этот проклятый... — Голос его задрожал. Дверь распахнулась и стукнулась о стену.

— А что, если тебя кто-нибудь увидит? — спросила Лу, вставая с кушетки.

— Счастливо, — бросил Скотт, с силой дернув за собой дверь, чтобы она хлопнула. Но и это у него не получилось. Старый косяк в последние месяцы безнадежно скособочился, и поэтому дверь, царапая по полу, тихо закрылась за Скоттом.

Он не стал оборачиваться, но быстрыми нервными шагами направился вдоль квартала к озеру.

Когда он отошел от дома на двадцать ярдов, дверь открылась.

— Скотт?

Сначала он не собирался отвечать, но затем все-таки нехотя остановился и, бросив через плечо: «Что?», чуть не разрыдался, услышав свой тонкий, слабый голосок.

Лу в нерешительности молчала, потом наконец спросила:

— Может, мне пойти с тобой?

— Нет, — ответил Скотт. И в голосе его не было ни гнева, ни отчаяния.

Задержавшись, Скотт невольно оглянулся, гадая, будет ли она настаивать на том, чтобы пойти с ним. Но Лу просто стояла, застыв в дверях.

— Будь осторожен, дорогой, — проговорила она.

Скотт едва подавил готовые вырваться из груди рыдания. Развернувшись, он заспешил по темной улице, так и не услышав, как она закрыла дверь.

«Дальше падать уже некуда», — подумал он. Что может быть унижительнее для человека, чем быть предметом жалости. Можно стерпеть ненависть, обиду, гнев, самое жестокое наказание, но жалость — никогда. Если человек становится достойным жалости, он обречен. Жалость — это участь беспомощных созданий.

Размышляя таким образом о вечных общечеловеческих страданиях, Скотт попытался отвлечь свой ум от собственных тягостных раздумий. Стараясь не думать о своей тяжелой доле, глядя на тротуар, он быстро пересекал островки света и вновь погружался в море тьмы. Но ум его на уловку не поддавался, что вообще свойственно пытливым умам. О чем Скотт просил его не думать, о том ум и начинал усиленно размышлять. Если Скотт просил его оставить какую-

нибудь мысль в покое, ум вгрызался в нее, как собака в кость. Так было с ним всегда.

Летними вечерами на озере бывало прохладно. Так было и в этот раз. Скотт поднял воротник своей куртки и пошел дальше, глядя на темнеющую впереди беспокойную воду. Поскольку день был будний, все кафе и закусочные на берегу озера были уже закрыты.

Чем ближе Скотт подходил к воде, тем отчетливее он слышал шорох волн на гальке.

Асфальт кончился. Скотт пошел по земле, и под ногами у него, словно живые, зашуршали листья и затрещали веточки. С озера дул холодный ветер. Он продувал курточку, и по телу от этого пробегала дрожь. Но Скотт не обращал на это внимания.

Пройдя еще ярдов сто, он вышел на открытую площадку с темным строением из грубого камня.

Это было немецкое кафе-закусочная. На площадке перед кафе стояло несколько десятков столиков и скамеек для еды на воздухе.

Пройдя между ними, Скотт вышел к озеру. Здесь он сел на грубую, с выщербленной поверхностью скамейку.

Печально глядя на озеро, Скотт представлял, что тонет в нем. Так ли уж это невозможно? Нечто подобное происходит с ним сейчас. Но нет, он упадет на дно, и тогда только настанет конец.

Он погружается в иную пучину.

Шесть недель назад они переехали к озеру, потому что на прежней квартире Скотт чувствовал себя как в мышеловке. Если он выходил на улицу, люди начинали глазеть на него. Материалы, собранные «Глоб пост» за первые полторы недели действия контракта, продолжали печататься и уже перепечатывались другими изданиями. О Скотте уже знала вся страна. Потоком приходили просьбы о встречах то тут, то

там. Репортеры денно и ночью топтались у дверей их квартиры.

Но больше всего досаждали обычные люди, зеваки или любопытные, которые непременно хотели взглянуть на уменьшающегося человека, чтобы потом думать про себя: «Слава Богу, я не такой».

И вот они переехали к озеру. Каким-то образом им удалось это сделать так, что никто об этом не узнал. Но жизнь здесь, как убедился Скотт, была ничем не лучше.

И этому было несколько причин.

Здесь была страшная скукотища, и она начинала угнетать. Процесс уменьшения шел изо дня в день, незаметно для глаза, ни на миг не останавливаясь, — дюйм в неделю, — напоминая такой точностью страшные часы, отсчитывающие время до начала казни. И вся ежедневная домашняя рутина подавляла своей монотонностью.

И время от времени Скотт взрывался приступами гнева, который таился в его душе загнанным зверем. По какому поводу — это было неважно. Главное, чтобы повод был.

Например, кошка.

— Клянусь Богом, если ты не выкинешь эту чертову кошку, я убью ее!

Игрушный гнев, голос не мужской и неубедительный.

— Скотт, она не делает тебе ничего плохого.

Он закатал рукав.

— А это что такое? Моя фантазия? — И Скотт показал ей рваный шрам.

— Она испугалась, вот и поцарапала.

— Что ж, я тоже испугался! Ты что, ждешь, когда она перегрызет мне глотку?

А то — нежность Луизы.

— Чего ты хочешь, унижить меня?

— Скотт, ты это выдумываешь.

— И только из-за того, что тебе очень захотелось дотронуться до меня!

— Это неправда!

— Неужели?

— Нет! Я пыталась, как могла...

— Я не мальчик. Не смей дотрагиваться до моего тела как до тела мальчика!

Или Бет:

— Скотт, неужели ты не видишь, что она не может этого понять?

— Но я, черт возьми, еще отец ей!

Все приступы гнева заканчивались одинаково. Он бросался в прохладный подвал, прижимался к холодильнику и так стоял, хрипло дыша, стиснув зубы, сжав кулаки.

Дни шли за днями, принося с собой новые испытания и мучения. Одежду для него ушивали, а мебель становилась все больше и неудобней. Бет и Лу казались ему больше. Финансовые заботы тревожили больше и больше...

— Скотт, я должна сказать тебе, что не понимаю, как мы сможем прожить на пятьдесят долларов в неделю. Нам ведь всем надо есть, одеваться, надо еще платить за... — Голос ее сорвался, и Лу в отчаянии покачала головой.

— Надо полагать, ты хочешь, чтобы я вернулся в газету?

— Я этого не говорила. Я просто сказала...

— Я слышал, что ты сказала.

— Хорошо, извини, если это тебя обидело. Но пятьдесят долларов в неделю! И что мы будем делать, когда придет зима? На что мы купим зимнюю одежду и топливо?

Он мотнул головой, словно пытаясь отогнать от себя необходимость думать обо всем этом.

— Ты думаешь, что Марти...

— Я больше не могу просить у Марти денег, — отрезал Скотт.

— Ладно. — Она больше ничего не сказала. Говорить дальше на эту тему было бессмысленно.

А если она, забывшись, раздевалась при свете, полагая, что он спит, Скотт обычно лежал, пристально глядя на ее обнаженное тело, вслушиваясь в нежный шелест ее ночной рубашки, закрывавшей волнами материи ее большие груди, живот, бедра и ноги. Раньше он никогда этого не замечал, а сейчас вот понял, что этот звук, как никакой другой, способен свести его с ума. И Скотт глядел на нее в таких случаях как человек, умирающий от жажды, который видит воду, но не может дотянуться до нее.

А потом, в последнюю неделю июля, не пришел чек от Марти.

Сначала они думали, что это произошло по чьей-то оплошности. Но прошло еще два дня, а чека все не было.

— Скотт, мы не можем долго ждать, — сказала Лу.

— А что у нас со счетом?

— На нем не больше семидесяти долларов.

— А, ладно... Подождем еще один день.

И весь следующий день он просидел в гостиной, уставившись взглядом в одну и ту же страницу книги, которую он якобы читал.

Не переставая, Скотт говорил себе, что надо вернуться в «Глоб пост» и дать им возможность продолжить серию материалов о себе. Или принять одно из многочисленных предложений о выступлении где-нибудь. Или позволить этим жадным до сенсаций журналам опубликовать его историю. Или разрешить какому-нибудь писателю кошмарных повестушек нацарапать книжицу о том, что случилось с ним.

Решился он на какой-нибудь из этих вариантов, — и у них было бы достаточно денег, и был бы положен конец бедности, которой до отчаяния боялась Лу.

Но мало было только говорить себе все это. Надо было преодолеть свое отвращение к роли предмета грубого любопытства толпы, что для Скотта было совершенно невозможно. И он пытался успокоить себя, повторяя без конца: «Завтра придет чек, завтра».

Но чек не пришел. И вечером следующего дня они с Лу поехали к Марти. Он сказал им, что лишился контракта с Фэйрчайлдом и поэтому ему пришлось свести до минимума деловые операции. Добавил, что чеков больше не будет. Затем дал Скотту сто долларов и предупредил, что больше на его помощь рассчитывать не стоит.

Холодный ветер обдувал Скотта. За озером лаяла собака. Скотт опустил глаза и стал смотреть на свои раскачивающиеся маятником ноги.

Теперь неоткуда ждать денег. Семьдесят долларов в банке, сто — в бумажнике. Что делать, когда кончатся эти деньги?

Скотт представил, как опять сидит в редакции газеты. Берг фотографирует, Лу строит глазки всем подряд, Хаммер задает бесконечные вопросы. В голове у него знаменами замелькали газетные заголовки. Меньше двухлетнего ребенка! Ест, сидя на высоком стуле! Носит детскую одежду! Живет в коробке из-под сапог! Сексуальные способности без изменений!

Скотт быстро закрыл глаза. Если бы у него была акромикррия. Тогда, по крайней мере, его оставило бы мужское желание, которое росло с каждым днем и уже сейчас казалось сильнее, чем до болезни. Иначе и не могло быть, потому что уже слишком давно не было освобождения от семени. Он больше не мог находиться рядом с Лу. Желание жгло, и с каждым днем его пламя разгоралось все сильнее, обрекая Скотта на неопишимо ужасные мучения и обостряя все страдания.

Скотт не мог разговаривать об этом с Лу. В ту ночь, когда она сделала ему недвусмысленное пред-

ложение, он почувствовал себя едва ли не оскорбленным, понимая, что для него на сексуальной близости с нормальной женщиной поставлен крест.

Смеюсь над гомиком!
Смеюсь я до упаду!

Вжав голову в плечи, Скотт поежился на скамейке. Щурясь в темноту, он разглядел неподалеку от себя три темных силуэта. Тонкие голоса подростков выводили песню.

Жизнь моя — блуждание в потемках.
Я заблудился, только что родившись.

«Юнцы, — подумал Скотт, — поют, растут и принимают это как должное». Он с черной завистью смотрел на них.

— Эй, да я вижу, там малыш какой-то, — сказал один из юнцов.

Поначалу Скотт не понял, что речь идет о нем. А когда понял, от волнения жестко сжал губы.

— Интересно, чего он там делает?

— Можя, он...

Остальное Скотт не расслышал, но по взрыву гогота догадался о том, что было сказано шепотом. Не без труда он сполз со скамейки и двинулся обратно к асфальтовой дорожке.

— Эй, да он уходит, — сказал один из ребят.

— Может, повеселимся немножко? — предложил второй.

Скотт сильно иснугался, но гордость не позволила ему броситься наутек и он продолжал идти ровным шагом. Сзади шаги юнцов участились.

— Эй, куда идешь, малыш? — спросил один из них. — Ишь, раскочегарился, как на пожар.

Все трое прыснули со смеху. Скотт дрогнул и ускорил шаг. Парни тоже прибавили шагу.

— Похоже, мы малому не нравимся, — сказал один.

— Ну, это нехорошо, — добавил второй.

Для Скотта это была погоня. Он чувствовал, что внутри у него вот-вот что-то оборвется. Броситься бежать? Нет, только не от троих юнцов. Каким бы маленьким он ни был, улепетывать от троих юнцов — это не для него. Ступив на склон, который вел к асфальтовой дорожке, Скотт быстро оглянулся. Парни нагоняли его. Он видел огоньки их сигарет, похожие на подрагивающих в воздухе светлячков.

Скотт еще не дошел до дорожки, когда парни догнали его. Один из них схватил его за руку и потянул назад.

— Отпусти, — процедил Скотт.

— Эй, малыш, куда идешь? — спросил державший его за руку парень. Голос у него был нахальный, с потугой на фамильярность.

— Я иду домой, — ответил Скотт.

На вид парню было лет пятнадцать-шестнадцать. На голове у него сидела бейсбольная кепка. Его пальцы крепко вцепились в руку. Скотту не было нужды смотреть на лицо парня, он почти угадывал его — худое, неприятное, прыщавое; из угла маленького, почти безгубого рта свисала сигарета.

— Малыш говорит, что идет домой, — сообщил парень.

— Неужто? — переспросил другой.

— Ого-го, — протянул третий, — это что-то.

Скотт попытался пройти, растолкав парней, но тот, что был в кепке, оттащил его назад в кружок.

— Малыш, ты лучше этого не делай, — сказал он.

— Нам не нравятся шустрые малыши, правда, ребя?

— Не-а, не нравятся. Да он такой неопытный. Нам такие не нравятся.

— Отпустите меня, — проговорил Скотт, и его неприятно поразила дрожь в собственном голосе.

Парень в кепке отпустил его руку, но круг не разомкнулся.

— Познакомься с моими приятелями, — сказал тот же парень. Лица его не было видно. В мерцании огонька сигареты Скотт увидел лишь бледную щеку да блестящие глаза. К нему наклонилась черная, сливающаяся с темнотой фигура.

— Это Тони. Скажи ему «здрaсте».

— Мне надо домой, — сказал Скотт, подавшись вперед.

Парень толкнул его назад.

— Э, да ты непонятливый, малыш. Ребя, малыш плохо понимает, — он старался говорить ласково, тоном правого.

— Малыш, ты чё, не понимаешь? — спросил другой парень. — Это забавно, а? Малышу надо бы быть попонятливее.

— Ты дурак забавный. А теперь...

— Эге-ге. Малыш считает нас дураками забавными, — вступил парень в кепке. — Слышите, ребя? Нас! — заигрывание исчезло из его голоса.

— Покажем ему, как мы любим забавляться.

Скотт почувствовал холод внизу живота. Не в состоянии побороть страх, он окинул взглядом парней.

— Послушайте, меня ждет мама, — сказал он, вздрогнув от звука собственного голоса.

— Хо-хо-хо, — протянул парень в кепке. — Мама ждет. Бог ты мой, во досада, а, ребя?

— Я сейчас расплачусь, — сказал другой. — Ой, мамочки, ой, я уже плачу. — И он злобно захихикал.

Третий парень заржал и игриво ткнул своего дружка кулаком в плечо.

— Живешь недалеко, малыш? — спросил парень в кепке и выпустил дым Скотту прямо в лицо. Тот закашлялся. — Эге, да малыш кха-кхакает, — произнес парень, пытаясь передразнить Скотта, — задыхается и кхакает. Во досада-то.

Скотт попытался еще раз протиснуться через парней, но его уже грубее, чем в первый раз, опять отпихнули назад.

— Не делай этого, — предупредил парень в кепке. Его голос опять стал добрым и дружелюбным.

— Нам вовсе не хочется обижать тебя, малыш, правда, ребя?

— Не-а, конечно, нам не хочется, — поддержал другой.

— Эй, давайте посмотрим, нет ли у него каких денегат при себе? — сказал третий.

Скотт почувствовал сильное напряжение внутри от соединения возросшего гнева и детского страха. Гнев доставлял ему теперь еще больше неприятностей, чем прежде. Из-за своей болезни он стал меньше и слабее, и поэтому у него не было сил излить этот гнев.

— Да-а, — произнес парень в кепке. — Ага. А у тебя есть шуршащие, малыш?

— Нет, — ответил Скотт раздраженно. И ахнул, потому что парень неожиданно ударил его по руке.

— Не говори со мной так, малыш. Не люблю шустрых.

Страх опять стал сильнее гнева. Скотт понял, что ему надо вести себя иначе, чтобы выпутаться из этой ситуации.

— У меня нет никаких денег. — Шея у него начала затекать от того, что, глядя на парней, он все время стоял с задранной головой. — Мне мама денег не дает.

Парень в кепке повернулся к своим друзьям.

— Малыш говорит, что мама ему совсем денег не дает.

— Подлая сука! — выругался другой.

— Да я ее по дешевке... — сказал третий, резко задвигая взад-вперед бедрами.

Парни громко рассмеялись.

— Эй, слышь, малыш, — сказал парень в кепке, — скажи своей мамаше, что Тони ее по дешевке того-самого.

— По дешевке? Это... бесплатно, — сказал Тони, и его веселость потонула в приступе неожиданной похоти. — Эй, малыш, у нее большие трусы?

Их хриплый гогот замолк, потому что Скотт кинулся между двоими из них. Но парень в кепке опять схватил его за руку и, резко развернув, дал пощечину и прычал.

— Говорил же — не делать этого.

— С-сукин... — закричал от злобы Скотт, сплевывая кровь. Последнее слово захлебнулось в рыке, с которым Скотт ткнул парня в живот.

— Гад, — завопил в ярости тот и ударил Скотта по лицу кулаком. От острой боли в голове Скотт завопил и отлетел на двух других парней. Из носа у него темной струей потекла кровь.

— Держи его! — проревел парень в кепке, и его дружки схватили Скотта за руки.

— Бить меня в брюхо, ах ты, сукин сын. Да я...

Он, видимо, еще не знал, как бы ему расквитаться со строптивой жертвой. Затем, придумав что-то, парень издал довольный хриплый смешок и вытащил из кармана брюк коробок спичек.

— Поставлю-ка я тебе горячую отметину. Понравится это?

— Отпустите! — Скотт яростно вырывался из рук парней. Он шмыгал носом, чтобы кровь не стекала ему на губы. — Прошу же! — И голос его сорвался на визг.

В темноте вспыхнула спичка, и Скотт увидел лицо парня. Оно было в точности таким, каким он представлял его себе.

Парень наклонился еще ближе.

— Эй, — вдруг сказал он изумленно. — Эге. — И на лице его появилась кривая ухмылка. — Да это

не малыш, — произнес он, вглядываясь в искаженное гримасой лицо Скотта. — Знаете, кто это?

— Че ты там бормочешь? — спросил один из его дружков.

— Это же тот мужик! Который уменьшается!

— Что? — не сумев сдержать удивления, одновременно спросили Тони и третий парень.

— Гляньте на него, гляньте, ради Бога!

— Черт возьми, отпустите, или я вас потом всех посажу, — бушевал Скотт, пытаясь скрыть приступ отчаяния.

— Заткнись, — приказал парень в кепке. На лице у него опять появилась ухмылка.

— Э-э, не видите, что ли? Это же...

Спичка погасла, и он зажег еще одну и поднес ее так близко к лицу Скотта, что тот почувствовал жар ее пламени.

— Ну, видите теперь? Видите?

— Да-а... — Оба дружка парня в кепке, раскрыв рты, ошарашенно глядели на Скотта.

— Да, это он. Я видел его по телику.

— И он еще пытался изображать из себя малолетку, — сказал парень. — Уродец, сукин сын, — добавил он сквозь зубы.

Скотт онемел. Гнев сменился отчаянием. Они узнали его и теперь могут разболтать об этом всем. Скотт судорожно дышал, обмякнув. Парень в кепке бросил на землю спичку и дал ему подзатыльник. «Ух». Голова Скотта упала на грудь.

— Так ты, значит, врешь, уродец, — сказал парень, тонко и напряженно засмеявшись. — Уродец — вот как тебя зовут. Что ты там говоришь, уродец?

— Что тебе надо? — спросил Скотт, задыхаясь.

— Что мы хотим? — передразнил его парень. — Уродец спрашивает, что мы хотим?

И парни засмеялись.

— Эй, — сказал третий, — давайте-ка стащим с него штаны и посмотрим, все ли у него там уменьшилось.

Скотт, как неустрашимый карлик, рванулся из рук державших его парней. Тот, что в кепке, отвесил ему еще одну пощечину. Щека запылала, перед глазами поплыли темные круги.

— Уродец не понимает, — сказал парень и учащенно задышал сквозь стиснутые зубы. — Он у нас глупый уродец.

Страх ножом полоснул Скотта по сердцу. Он понял, что этих парней бессмысленно уговаривать. Они лютой ненавистью ненавидели окружающий их мир и умели выразить это лишь насилием.

— Если вам нужны мои деньги, возьмите, — быстро сказал Скотт, пытаюсь выиграть время.

— Клянусь твоей сморщенной задницей, мы их возьмем, — с ухмылкой сказал парень и рассмеялся собственной шутке. — Эге, вот так-то, хорошо. — Веселость опять исчезла из его голоса, и он добавил холодно: — Держите его. Я вытащу бумажник.

В темноте Скотт напрягся всем телом. А парень в кепке тем временем обходил одного из своих дружков.

— У-у! — завопил один из парней, которого Скотт неожиданно саданул носком ботинка по голени. Руки, державшие левую руку Скотта, упали.

— У-у! — заорал вслед за первым второй парень и тоже отпустил руку. Скотт бросился в темноту, сердце его тяжелым молотом стучало по ребрам.

— Хватай его! — крикнул парень в кепке, и Скотт еще быстрее стал перебирать своими маленькими ножками, взбираясь по крутому склону.

— Ублюдок! — выкрикнул один из парней и бросился в погоню.

От быстрого бега Скотт начал задыхаться. Подбежав к асфальтовой дорожке, он зацепился за ее край и, яросто молотя воздух руками, едва успевая пере-

бирать ногами, полетел вперед. Наконец ему удалось поймать равновесие, и он снова бросился бежать. В боку страшно кололо. За спиной раздавался быстрый топот башмаков парней по бетону.

— Лу, — простонал Скотт на бегу, жадно глотая ртом воздух.

Впереди, метрах в ста шестидесяти от себя, он увидел свой дом. И вдруг понял, что бежать туда ему никак нельзя, потому что парни узнают, где он живет — где живет уменьшающийся человек.

Стиснув зубы, Скотт резко свернул в темную аллею. Он вытянул вперед руки, думая, что сможет открыть ближайшую дверь и, не останавливаясь, хлопнуть ею, чтобы парни подумали, что он скрылся за ней. Но этот дом стоял слишком близко к его дому. И, задыхаясь, Скотт продолжал бежать. Было слышно, что парни уже вылетели на аллею и их башмаки закрипели по гравию. Скотт обежал заднюю часть дома и бросился через двор.

Впереди был забор. Душа Скотта от страха ушла в пятки. Но остановиться было уже невозможно, и, на всей скорости подпрыгнув вверх, Скотт отчаянно вцепился руками в верхний край забора. Стал карабкаться вверх, соскользнул вниз, и снова — вверх.

— Поймал!

Чья-то сильная рука грубо схватила его за правую ступню, и от страха у Скотта в висках застучали молоточки. Он резко повернулся и увидел, что его тащит вниз парень в кепке.

В горле застрял безумный крик. Дернув ногой, Скотт заехал ею парню прямо в лицо. Тот с криком отпустил его и, закрыв руками лицо, пошатываясь, стал отходить от забора. Перебирая по доскам носками ботинок, Скотт перелез через забор и спрыгнул на землю уже с другой стороны.

Острая колючая боль пронзила лодыжку. Но Скотт не мог останавливаться. Подскочив со стоном, он,

прихрамывая, бросился наутек. За забором раздавались голоса двоих парней, подбежавших к своему приятелю.

Морщась от боли, Скотт побежал по изрытой площадке на соседнюю улицу, где обнаружил открытой крышку погреба.

Скользя и прыгая по высоким ступенькам, он на ходу развернулся и, потянув на себя тяжелую крышку, закрыл ее. Она упала Скотту на голову и отбросила его на холодный цементный пол. Скатываясь вниз по двум оставшимся ступенькам, Скотт попытался уцепиться за ручку крышки, но ничего из этого не вышло, и он упал на грязный пол.

Сгорбившись, Скотт сидел на первой ступеньке, переводя дыхание. Он чувствовал через брюки, что ступенька холодная и влажная, но от головокружения и слабости не мог встать.

Он никак не мог отдышаться, и его слабая грудь вздрагивала при каждом вздохе. Воздух обжигал горло. Резь в боку была такой острой, будто под ребра ему загнали отточенный кинжал. Голова вздрагивала от боли. Во рту все пылало и болело. По губам все еще текла кровь. Мышцы ног от холода свело судорогой. Обливаясь холодным потом, Скотт сидел и дрожал.

Вдруг он заплакал. И то был не плач, не рыдания отчаявшегося мужчины. Скотт был похож на мальчика, маленького мальчика, сидящего в холодном, сыром, темном погребе, плачущего от боли, испуга и от того, что потерял всякую надежду на спасение. Измученный, он сидел в незнакомом, неприветливом погребе.

Позже, когда опасность миновала, Скотт, промерзнув до костей, прихрамывая, поплелся домой.

Напуганная, измученная его долгим отсутствием Лу уложила его спать. Она все спрашивала, что же произошло, но Скотт молчал. В ответ он только тряс

головой. Лицо его ничего не выражало. Маленькая головка шуршала по подушке, медленно двигаясь из стороны в сторону, — и так, казалось, без конца.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пробуждение принесло с собой мучительное воспоминание о всех болях.

Пересохшее горло саднило так, будто было одной большой ноющей раной. Когда Скотт глотал, его лицо искажала гримаса боли. Тихо постанывая, он перевернулся на бок. Разодранный висок лег на ручку отвертки, и от пронзившей его острой боли Скотт проснулся.

Чуть приподнялся, но тут же с тяжелым вздохом откинулся назад, почувствовал жгучую боль в растянутых мышцах спины. Он лежал, глядя на покрытые пылью внутренности водогрея, и думал: «Уже четверг, и осталось три дня».

Правая нога подрагивала. Колено распухло. Скотт попробовал согнуть ногу и вздрогнул от парализующей боли, сменившей ноющее болезненное ощущение. На мгновение замер, ожидая, когда боль спадет. Затем ощупал лицо, поглаживая пальцами шрамы и царапины с запекшейся на них кровью.

Наконец он со стоном резко поднялся на ноги и, дрожа всем телом, оперся руками о черную стену. Как же это его так угораздило всего за несколько дней? За все три месяца, проведенные в погребке, с ним ничего подобного не случилось. Может, виной всему его рост? Может, чем меньше он становится, тем больше опасностей его подстерегает?

Скотт медленно перелез через барьерчик и прошел по металлическому выступу к ножке водогрея. Там он сбил ногой вниз несколько оставшихся крошек печенья и затем медленно, осторожно слез по ножке

водогрея на цементную приступку. Здесь его задержал приступ головокружения. «Четверг, четверг». Язык едва ворочался в пересохшем рту. Очень хотелось пить.

Скотт слез с приступки и заглянул в наперсток. Пусто. А вся вода, пролившаяся на пол, либо высохла, либо просочилась в маленькие дырочки в полу. Скотт уныло глядел в темную пасть наперстка. Все это означало, что ему придется бесконечно долго спустаться к другому наперстку, стоящему под баком с водой. Он печально вздохнул и, волоча ноги по полу, поплелся к линейке.

Три седьмых дюйма.

Флегматично, так, словно все шло по плану и грудь не сдавил внезапный порыв отвращения, Скотт оттолкнул от себя линейку, и она со стуком упала на пол. Ему стало тошно от всех этих измерений.

Он направился к огромной пещере, в которой, дребезжа, пыхтел водяной насос. Вдруг остановился, вспомнив о булавке. Ищущий взгляд медленно двигался по полу. Булавки не было. Скотт подошел к губке и заглянул под нее. Затем под крышку коробки. Нет, как провалилась. Вероятно, великан невзначай откинул булавку куда-то или она вошла по самую головку в подошву одного из его гаргантюанских тапок.

Взгляд Скотта переместился на высокую, как дом, картонку, стоящую под топливным баком. До нее, казалось, были целые мили. Скотт отвернулся. Нет, не пойдет он туда за другой булавкой. «Мне все равно, это уже не важно, будь что будет», — подумал он и снова двинулся к водяному насосу.

Скотт пришел к выводу, что был еще один уровень, ниже того, на котором человек либо смеется, либо ломается; что была еще одна ступенька вниз — к полному безразличию. Он дошел до этого уровня. Ни о чем уже не беспокоился. Все, что выходило за рамки

простых физиологических потребностей, уже его не интересовало.

Проходя под гигантскими ножками дерева с одеждой, Скотт посмотрел на верх скалы. «Интересно, — думал он, — паук там или нет? Возможно, эта гадина вцепилась своими семью ногами в паутину и спит там или дожевывает убитого жука... Я сам мог оказаться на месте этого жука». И, вздрогнув, Скотт начал озиаться. Он никогда не сможет смириться с существованием паука, каким бы подавленным ни был его дух. Это было просто невозможно. Ужас и отвращение к гадине слишком глубоко пустили корни в его душе. И лучше всего вообще не думать обо всем этом. Лучше не думать о том, что сегодня паук уже будет ростом с него, с телом, как три его тела, и с ногами, длинными и черными, толщиной с его ноги.

Скотт подошел к краю обрыва и посмотрел вниз, в огромный каньон-пещеру. Стоит ли игра свеч? Может быть, лучше вообще забыть про воду? Пересохшим горлом было больно глотать. Нет, вода — это не то, о чем можно забыть. Тряся головой, как сокрушающийся старик, Скотт встал на колени и перегнулся через край. Затем стал медленно спускаться по нитке. Пятьдесят футов два дня назад. Сегодня, возможно, все семьдесят пять. А завтра?

Что, если паук поджидает его внизу? Об этом даже помыслить было страшно, но он продолжал спускаться, уже не в силах остановиться, стараясь не думать о том, как будет забираться вверх. Почему у него не хватило предусмотрительности завязать на нитке на равных расстояниях друг от друга узлы? Сделай он это, и ему было бы много легче заползть вверх.

Сандалии наконец коснулись пола, и Скотт отпустил служившую ему веревкой нитку. По крайней мере, он не калечил бы так о стену свои пальцы, теперь такие маленькие.

Наперсток высился перед ним гигантской цистерной, край которой находился в добрых шести футах

над его головой. Если бы вода лилась через край, Скотт мог бы ловить ее пригоршнями. К сожалению, воды в наперстке было не так много, а это значило, что ему придется лезть на самый верх. Но как? Стенки наперстка, хоть и покрытые выступами, похожими на чашечки, были гладки и чуть-чуть наклонены к полу. Пытаясь опрокинуть наперсток, Скотт толкнул его, но тот под тяжестью наполнявшей его воды даже не шелохнулся. В глазах Скотта застыло отчаяние.

Нитка. Скотт, прихрамывая, медленно вернулся к стене, поднял тяжелый конец нитки и двинулся обратно. Нитка натянулась, и ее чуть-чуть не хватило до наперстка. Скотт отпустил нитку, и она поползла по полу назад к стене.

Он толкнул наперсток еще раз. Опустил руки. Слишком уж тяжел. Бесполезно. Снова пошел к нитке, думая: «Бесполезно. Я просто выброшу это из головы». Лицо у него при этом было мученическое. «Я все равно умру, так что за дело? Я умру. К чему суетиться?»

Скотт остановился, яростно кусая губы. «Нет, это все старая песня. Это как-то по-детски выходит: «Я проучу весь свет своей смертью». Ему нужна вода. Она сейчас есть только в этом наперстке. Либо он доберется до нее, либо погибнет, причем никому от этого не станет ни тепло, ни холодно.

Скрежеща зубами, он стал ходить кругом, выискивая небольшой камень. «Зачем я продолжаю бороться?» — спросил себя Скотт в сотый раз. «С чего я так надрываюсь? Инстинкт? Воля?» Больше всего его раздражали эти вопросы и постоянные размышления о том, что же им двигает.

Сначала его поиски не увенчались успехом. Бормоча себе что-то под нос, Скотт двинулся в ночь. А что, если здесь живет не один паук? А что, если...

Было бы много лучше, если бы еще давно его разум лишился своей ядовитой пытливости. Было бы много лучше, если бы он закончил свою жизнь как все жуки,

вместо того чтобы ясно сознавать весь ужас каждого шага вниз. Проклятием было сознание того, что он уменьшается, а не само по себе уменьшение.

Даже теперь, когда его мучили жажда и голод, эта мысль остановила Скотта. И, стоя в прохладной тени, он принялся обдумывать ее.

Да, верно. Однажды он понял это, на короткий миг, и вновь забыл, погрузившись в физическое бытие. Но это действительно было верно. Пока он мог думать, в погребе не было ему равных. Хотя пауки и были больше него, хотя мухи и комары и могли бы накрыть его одним своим крылышком, его разум все равно оставался при нем и мог стать его спасением так же, как раньше был проклятием.

Заработал насос, и Скотта чуть не подбросило вверх.

Издав хриплый крик, он отскочил назад и со всего размаха налетел спиной на стену. Руками зажал уши. А шум насоса, казалось, обрушивался жесткими, плотными волнами и вдавливал, вдавливал его в стену. Скотт думал, что у него полопаются барабанные перепонки. Оглушительный, выворачивающий душу наизнанку грохот проникал даже сквозь прижатые ладони, в голове стоял звон, и казалось, что она раскалывается на части. Скотт уже ничего не сообщал. Как обезумевшее животное, спасаясь от моря шума, он вжимался в стену, — лицо перекошено гримасой ужаса, глаза застыли от боли.

Когда насос наконец заглох, Скотт мешком свалился на пол, зажмурился от неожиданности глаза и широко раскрыв рот. Голова онемела и распухла. Руки и ноги тряслись. «О, да, — вяло пытался подсучивать рассудок, — конечно, пока ты способен думать, тебе нет здесь равных».

— Дурак, — едва собрав силы, бормотал Скотт, — дурак, дурак, дурак.

Прошло некоторое время, он встал и опять принялся искать не очень большой камень. Наконец,

найдя подходящий, пододвинул его к наперстку и забрался на него. Оставалось еще три фута до края. Скотт присел, сжался в комочек и прыгнул.

Пальцы вцепились в край наперстка. И Скотт стал подтягиваться вверх, стуча и скользя ногами по гладкой стенке. «Вода, — думал он, почти чувствуя ее вкус во рту, — вода», — и даже сначала не заметил, что наперсток стал опрокидываться в его сторону.

А когда заметил, панический ужас сковал его. И, пытаясь вернуть наперсток в устойчивое положение, вместо того чтобы расслабиться, он еще крепче вцепился в край. «Отпусти!» — завопил рассудок, и Скотт, разжав руки, полетел вниз и грузно упал на край камня. Потерял равновесие, размахивая отчаянно руками, стал падать на спину и в конце концов грохнулся на цементный пол. От удара перехватило дыхание. А наперсток все падал вниз. С криком Скотт резко закрыл лицо руками, сжался и стал ждать, когда наперсток, обрушившись, раздавит его.

Но сверху обрушилась всего лишь холодная вода. Ничего не видя, захлебываясь, с трудом набирая в легкие воздух, он встал на колени. Еще одна волна упала на него, чуть не отбросив снова спиной на пол. Кашляя, отплевываясь, протирая глаза, Скотт встал.

Наперсток ходил ходуном, и вода, выпрыгивая из него, расплескивалась по цементному полу. Дрожа всем телом, судорожно дыша, Скотт слизывал холодные капли с губ.

Наконец, когда наперсток перестал раскачиваться так сильно, он осторожно приблизился к нему и подставил пригоршни под выплескивавшуюся воду. Она была настолько холодной, что стыли руки.

Напившись, Скотт попятился назад и чихнул. «О Боже, вот и воспаление легких», — подумал он. Зубы застучали от холода. Хлопчатобумажный халат нисколько не грел и влажно прилипал к телу.

Резкими, порывистыми движениями Скотт стащил его через голову, и холодный воздух обжег кожу. Надо

выбираться отсюда. Отбросив на пол мокрый халат, он побежал к нитке и быстро, как мог, полез по ней вверх.

Забравшись на десять футов, он почувствовал страшную усталость. Каждое новое движение вверх давалось все с большим трудом. Боль немилосердно терзала мышцы — острая, рвущая, когда он подтягивался вверх, тупая, пульсирующая, когда отдыхая, зависал.

Скотт не мог отдыхать больше нескольких секунд. С каждой остановкой он все больше замерзал. Его белое тело уже покрылось гусиной кожей, и он все полз вверх, тяжело вдыхая воздух сквозь стиснутые зубы. Уже не раз Скотт думал, что вот-вот упадет, не совладав с охватившей руки и ноги усталостью, от которой мышцы становились все более вялыми. Руки отчаянно цеплялись за толстую — для него — как веревка, нитку, ноги плотно обхватывали ее.

Задыхаясь, он прижался к цементной стене. И через мгновение снова полез, не глядя вверх, зная, что сделай он это, и ему никогда и ни за что уже будет не добраться до цели.

Пошатываясь, Скотт пошел по полу. Волны тепла и холода, казалось, обрушивались на него. Он прижал дрожащую руку ко лбу. Горячий и сухой. «Я заболел», — мелькнуло в голове.

Скотт нашел свой старый халат рядом с цементной приступкой. Он был весь в грязи, но сухой. Скотт страхнул грязь и надел его. Стало чуть теплее. Вздрагивая от усталости и ярости, все еще дрожа от холода, он двинулся по полу, собирая немногие оставшиеся кусочки мокрого печенья и забрасывая их на губку.

Из последних сил Скотт надвинул крышку коробки на губку и улегся в темноте на своей кровати, слабо дыша, с тонким хрипящим звуком, дрожавшим в горле. На погреб опустилась тишина.

Через несколько минут Скотт попробовал есть. Но глотать было очень больно. Снова захотелось пить. Он перекатился на живот, прижался пылающим лицом к мягкой губке и лежал так, устало сжимая и разжимая кулаки. Неожиданно Скотт почувствовал на лице влагу и стал вжиматься в губку, вспомнив, что прошлым утром она даже набухла от воды. Но те капли, которые ему удалось выдавить, оказались настолько гадкими на вкус, что его тут же вырвало.

И он снова повернулся на спину. «Что же мне делать?» — подумал в отчаянии. Из пищи у него остались лишь жалкие крохи печенья, лежащие сейчас здесь, под крышкой коробки. Вода есть только на дне каньона, в который ему уже не хватит сил спуститься. Из погреба никак не выбраться. И вот, в довершение всех бед, еще жар.

Скотт сильно потер горячий лоб. Воздуха не хватало. Жар могучей рукой придавил его к губке. «Я задыхаюсь», — подумал он. Затем резко приподнялся на губке, обвел вокруг воспаленными глазами, не в силах поднять голову. Бессознательно раскрошил правой рукой кусочек печенья и отшвырнул в сторону.

— Я заболел, — простонал Скотт, и его слабый голосок задрожал где-то рядом с ним. Он всхлипывал и от переполнившей его боли кусал зубами левый кулак, пока не прокусил кожу.

Затем со стоном откинулся назад и, безвольно распластавшись, глядел вверх сквозь щелочки воспаленных глаз.

Теряя сознание, он подумал, что слышит шаги паука по коробке. «Раз, два, три, — принялся считать нараспев мечущийся в бреду рассудок, — четыре, пять, шесть. Семь ножек у моей любви есть».

Морщась от отвращения, Скотт вспомнил тот день, когда роста в нем было двадцать восемь дюймов (как у годовалого ребенка) и он был похож на фарфоровую куклу, которая сбрасывала настоящие бакенбарды, купалась в тазу, сидела только на детском малень-

ком стульчике и носила перешитую одежду для младенцев.

Он стоял на кухне и кричал на Лу за то, что она предложила ему подработать, выступив с номером в эстрадном концерте, и ни словом не обмолвилась о том, как ей не хотелось бы говорить этого, а только пожимала плечами.

С багровым от раздражения личиком он вопил, не скупясь на слова, топая своими изящными ботиночками и свирепо глядя на нее, пока Лу вдруг не повернулась от раковины и не крикнула ему:

— Хватит пищать на меня!

В приступе бешенства, ослепившем его, он резко развернулся и бросился к входной двери, но налетел на кошку, которая тут же вцепилась в него когтями.

Лу подбежала к нему, пытаясь сразу же выпросить у него прощение. Она промывала рваную рану на его руке и извинялась. Но он знал, что в ней говорила женщина, извиняющаяся не перед мужчиной, но перед карликом, которого ей стало жалко.

И когда Лу перевязала рану, Скотт опять ушел в погреб, в котором в те дни прятался от всех невзгод.

Стоя рядом со ступеньками, он в гнев и боли оглядел погреб. Затем присел на корточки и, подняв с пола камешек, стал раскачиваться на пятках, думая обо всем, что случилось с ним в последние несколько недель.

Он думал о том, что деньги на исходе, Лу никак не могла найти работу, Бет все больше позволяла себе не слушаться его, из медицинского Центра так и не звонили, и о том, что тело его неуклонно, неумолимо уменьшалось. Думая обо всем этом, он еще больше распалялся, его губы побелели, рука стальным капканом сжала камень.

Увидев бежавшего от себя по стене паука, Скотт резко вскочил на ноги и со всей силы швырнул в гадину камень. Каким-то чудом камень пригвоздил к стене одну из восьми черных ножек паука. Гадина,

не пытаюсь освободить ее, уже на семи лапах бросилась наутек. Скотт остановился у стены и стал разглядывать похожую на живой волос, извивающуюся паучью ножку. Побледнев, он подумал, что однажды его ноги будут вот такими же маленькими.

Тогда в это трудно было поверить.

Но теперь его ноги стали именно такими. И вся логика его существования, похожего на головокружительное скольжение вниз, неизбежно приводила только к одному выводу.

«Интересно, — спрашивал себя Скотт, — что будет, если я сейчас умру? Будет ли тогда мое тело уменьшаться? Или процесс уменьшения остановится? Разумеется, в мертвом теле остановятся все процессы».

В дальнем конце погреба, сотрясая воздух оглушительным ураганным ревом, опять заработал масляный обогреватель. С жалобным стоном Скотт заткнул уши. Не в силах унять бившую его дрожь, он лежал на губке, а ему казалось, что он лежит в гробу, на кладбище, во время землетрясения.

— Оставьте меня в покое, — едва слышно пробормотал Скотт. — Оставьте меня в покое. — Жалобно вздохнул и закрыл глаза.

Скотт дернулся всем телом и проснулся.

Масляный обогреватель все еще ревел. А может быть, он уже успел отключиться и вновь заработал? Сколько он спал? Секунды? Часы?

Скотт медленно сел, дрожа и чувствуя головокружение. Поднял трясущуюся руку и дотронулся ею до лба. Жар еще не спал. Он провел рукой по лицу и громко застонал:

— О Боже, я болен.

Слабыми рывками он пополз до края губки и соскользнул вниз. Руки так ослабели, что не выдержали веса его тела. Скотт с глухим стуком ударился ногами об пол и грузно осел всем телом, приглушенно вскрикнув от испуга.

Минуту-другую он сидел на холодном цементном полу, щурясь в темноту и раскачиваясь. Желудок от голода недовольно урчал.

Скотт попытался встать, и ему пришлось прислониться к губке. Ноздри раздувались от горячего прерывистого дыхания. Он сглотнул. «Я хочу пить». И слезы потекли по щекам. «Я не могу добраться до воды». И в отчаянии он ударил слабым кулаком по губке.

Через несколько минут Скотт перестал плакать, медленно повернулся и, шатаясь, побрел по темному погребу. Неожиданно натолкнувшись на стенку крышки коробки, свалился на пол. Недовольно бормоча, снова подполз к стенке крышки и просунул под нее сначала руки, потом спину, затем протиснулся внутрь всем телом.

Под крышкой было холодно, как в холодильнике, и по спине Скотта побежали мурашки. Он поднялся на ноги и прислонился к стенке крышки.

Была вторая половина дня, значит, он спал довольно долго. В окно, выходящее на юг, над кучей мусора, были видны лучи солнечного света. Скотт прикинул: два-три часа дня. Прошла половина еще одного дня; да нет, больше половины.

Резко развернувшись, Скотт совсем слабо ударил кулаком по стенке картонки и почувствовал острую боль в костяшках пальцев. Ударил еще раз. «Чтоб вас!» Прижав голову к картонной стенке, он заплакал навзрыд, вздрагивая всем телом.

— Глупо, глупо, глупо, глупо... — нечеловеческим, гортанным голосом проговорил Скотт нараспев, на одном дыхании, и замолк только когда из легких вышел весь воздух. Руки повисли как деревянные, и, закрыв глаза, он откинулся на картонку, дрожа от судорожного дыхания.

Когда сознание вернулось к нему, его голова была занята одной мыслью — о воде. Скотт медленно двинулся по полу. «Я не могу спуститься к баку, но мне

нужна вода, — думал он. — Больше нигде нет воды. А, постой, еще она капает в коробку печенья на холодиньнике, но... нет, так высоко мне не забраться. Но я умираю без воды». Опустив голову, ничего не видя, он шел вперед. «Хочу пить».

И вдруг — чуть не свалился в яму.

Какой-то ужасный миг Скотт раскачивался над самым краем, но устоял и осторожно отступил назад. Затем опустился на колени и стал вглядываться в черную впадину, просверленную в цементном полу. Ему казалось, что он смотрит в колодец, обрывающийся темной бездной на пятнадцать футов вниз.

Скотт вытянул шею и прислушался.

Сначала было слышно лишь его собственное тяжелое дыхание. Затем, замерев на секунду, он разобрал еще один звук — тихо капающей воды. Это было настоящим кошмаром — мучаясь от жажды, лежать на животе у края колодца и слушать, как тихо капает недосыгаемая вода. Язык беспокойно ворочался во рту, пытаясь пробиться через стену губ. Судорожно сглатывая пересохшим горлом, Скотт уже не замечал адской боли.

В какой-то миг он чуть не сорвался вниз головой и подумал в ярости: «Все равно. Я уже не боюсь смерти».

Скотт не знал, как ему удалось удержаться на краю. Что бы там ни было, инстинкт самосохранения мог сработать только на уровне подсознания, потому что помутившийся рассудок уже толкал его в похожую на колодец яму, к воде.

Скотт отполз от края и привстал на колени. Застыл в нерешительности. Затем снова вытянулся на полу, прислушиваясь к звуку капающей воды и вбирая его в себя, почти как воздух. Жалобно застонал. Опять резко поднялся на колени, встал, закачавшись от головокружения, и затем медленно пошел от ямы. Вдруг развернулся и двинулся назад к ее краю. Занес

над колодцем ногу и стал раскачивать ее, глядя вниз, в крошечную тьму бездны.

«О Боже, почему ты не...»

Скотт развернулся и, сжав кулаки, на деревянных от напряжения ногах пошел прочь от ямы. «Бессмысленно!» — рвался из груди крик. Почему он не решился броситься вниз? Почему бы не сделать этого, подобно нелепой героине известной сказки, Алисе, прыгнувшей в неведомый, другой мир?

Сначала Скотт подумал, что перед ним красная стена. Остановился и ткнул рукой. «Не камень и не дерево». Это был шланг.

Обходя его змееподобное тело, он вышел к одному из концов. Заглянул вовнутрь, в длинный темный туннель, уходящий изгибами далеко вперед. Шагнул на металлический ободок и, остановившись в канавке, подумал: «Иногда, когда поднимаешь шланг, из него вытекает оставшаяся с прошлого раза вода».

Тяжело вздохнув, ковыляя, он пустился бежать по скользкому туннелю, ударяясь о твердые стены в изгибах шланга. Что было сил он бежал по петляющему лабиринту, пока, повернув, как ему казалось, уже в сотый раз направо, не оказался по щиколотку в холодной воде. С благодарным вздохом Скотт присел на корточки и, зачерпнув дрожащими руками воду, поднес ее к губам. У воды был затхлый вкус, глотать было очень больно, но он никогда с таким наслаждением и так жадно не пил даже самые лучшие вина.

— Спасибо тебе, Господи, спасибо, — бормотал Скотт. — Это все, что мне нужно. Все, что нужно.

И, хрюкнув от удовольствия, подумал о том, сколько раз он ползал за водой по этой дурацкой нитке. Под бак с водой. Каким же ослом он был! Но сейчас это все уже было неважно. Потому что сейчас ему было хорошо.

И только когда Скотт двинулся по туннелю обратно к выходу, он понял, что его успех был в действительности палкой о двух концах. Насколько

этот успех улучшил его плачевное положение? На некоторое время он продлит его крошечное существование — положим. И даст возможность, не мучаясь от жажды, встретить конец, который точно наступит. Так успех ли это? А может быть, ему не суждено увидеть свой конец?

Выйдя из шланга на пол погреба, Скотт ощутил, насколько он ослабел от болезни и, что еще хуже, от голода. Болезнь можно умиловить отдыхом и сном. А чем успокоишь голод?

Взгляд Скотта двинулся к высокой скале. Стоя в тени шланга, он глядел вверх, туда, где жил паук. В погребе еще была пища — это Скотт знал наверняка. Ломтики сухого хлеба, которого ему с лишком хватило бы на два дня. И этот ломтик лежал на высокой скале.

И вдруг простая до ужаса мысль развеяла его надежды на еду. У него нет сил, чтобы взобраться на скалу. Но даже если бы невероятным напряжением воли он сделал это, на пути к ломтику хлеба оказался бы паук. И у него уже не хватит смелости схватиться с гадиной еще раз — с этой черной гадиной, в три раза больше него, вселяющей в него панический ужас.

Голова упала на грудь. Что ж, остается ему сделать только одно. Он отступил от шланга и двинулся к губке. А что еще можно сделать? Разве у него есть выбор? Разве не находится он в руках неумолимого рока? Роста в нем всего три седьмых дюйма, так на что он может надеяться?

Что-то заставило его взглянуть на стену скалы.

Вниз по ней бежал огромный паук.

В ужасе издав истошный крик, Скотт бросился наутек. Прежде чем паук успел добежать до пола, он пролез под крышку коробки и забрался на губку. И когда черный, с лйцеобразным телом паук забирался на крышку, Скотт, стиснув до боли зубы, уже готов был услышать первые звуки омерзительной,

царапающей симфонии, издаваемой лапами этой гадины.

Теперь, когда его караулит этот дрожащий от нетерпения людоед, нет вообще никакой надежды на то, что удастся добраться до ломтика хлеба. Скотт закрыл глаза. Его душили отчаянные рыдания, а над головой у него царапал, скрежетал по крышке паук.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Все было как в горячечном бреду: он снова оказался в Колумбийском Пресвитерианском медицинском центре на обследовании. Скрипучий, глухой, нерешительный голос. Это доктор Силвер говорит ему:

— Нет, у вас не акромикрия, как мы предполагали раньше. Да, тело уменьшено, но железы гипофиза не затронуты, нет и побочных признаков: волосы не выпадают, цианоза конечностей не наблюдается, как и синюшной окраски кожи и угнетения половой функции.

Для того чтобы установить содержание креатина и креатинина в его организме, были проведены анализы мочи — очень важные, поскольку они могли бы дать точную картину того, как работают его яички, надпочечники и как распределяется азот в организме. Анализ показал:

— Мистер Кэри, у вас отрицательный азотный баланс. Ваш организм выбрасывает больше нитрогена, чем сохраняет. А так как нитроген — один из самых важных строительных материалов клетки, то вполне естественно, что вы уменьшаетесь.

Дисбаланс креатина вызывал дальнейшие неполадки в системе обмена веществ: фосфор и кальций также выводились из организма в больших пропорциях, чем должны выводиться эти вещества, играющие важнейшую роль в формировании скелета.

Ему был прописан АКТХ, возможно, чтобы приостановить разрушение тканей. АКТХ не действовал.

Затем последовали долгие научные дискуссии о том, какие дозы гормонов гипофиза следует применять для его лечения. Врачи бормотали, что это могло бы сохранить азот в организме и, возможно, наладить нормальное формирование белка.

Однако это было весьма опасно. Поскольку реакция организма на этот гормон абсолютно непредсказуема, и даже лучшие вытяжки плохо переносятся и дают часто побочные эффекты.

— Неважно. Давайте попробуем. Ведь хуже уже не будет, — говорил Скотт.

Лекарство назначили.

И вновь ничего.

И, наконец, сделали хроматографический снимок, на определенных участках которого каждый элемент в организме оставляет свой специфический след. И был найден новый элемент, новый токсин в его организме.

И тут начались расспросы. Не попадал ли он когда-нибудь под воздействие химических веществ, нет, не бактериологического оружия, а именно химикатов, например, инсектицидов.

Сначала ничего, только тихий, беспорядочный ужас, а потом, как озарение, вспомнилось: Лос-Анджелес, июльский субботний вечер. По дороге из дома в магазин, как раз когда он проходил между рядами домов по аллее, обсаженной деревьями, из-за угла неожиданно вывернул, опрыскивая деревья, грузовик. Скотт попал в ослепивший его ядовитый туман, который жег кожу, разъедал глаза. В сердцах он обругал водителя.

Могло ли это быть причиной заболевания?

— Нет, не могло, — сказали ему.

Это было только начало. Должно было случиться еще что-то, невероятное, неслыханное — то, что превратило едва ли настолько опасный инсектицид в смертельный, разрушающий гормоны роста яд.

И врачи начали искать это ч т о - т о, задавая бесконечные вопросы, вороша прошлое. Это продолжалось до тех пор, пока однажды его не осенило. Он вспомнил тот день на яхте, ту стену брызг, окативших его, и то неприятное резкое жжение, которое они принесли с собой. Эти брызги были радиоактивными.

Да, было именно так. Поиски причины были наконец закончены. Радиация превратила инсектицид в чудовище. Один случай на миллион. Скотт получил именно такое количество инсектицида в сочетании именно с такой дозой радиации, именно в такое время, что радиация бесследно исчезла, оставив после себя смертельный яд.

И этот яд, не затронув самого гипофиза, нарушил его функцию, связанную с поддержанием нормального роста. И это он, этот яд, изо дня в день заставлял организм Скотта превращать азот в отходы; и это он, этот яд, так воздействовал на креатин и фосфор, что они выбрасывались, как ненужные. И этот яд, лишив кости кальция и сделав их мягкими и пластичными, позволил им понемногу уменьшаться. И именно он свел на нет все попытки исправить положение гормональными препаратами, нейтрализуя их.

И именно он, этот яд, превращал Скотта в уменьшающегося человека.

И что же, исследования закончились? Ни в коем случае, потому что существовал единственный способ победить токсин — антитоксин. Поэтому Скотта отправили домой. И пока он сидел так, в Центре шли поиски антитоксина, который мог бы спасти его.

Он лежал, вытянув руки вдоль тела и сжав до боли кулаки. Почему, почему днем и ночью должен он думать о тех днях? Тех днях страшного напряже-

ния, когда он с нетерпением ожидал стука в дверь или резкого телефонного звонка. Он был словно в подвешенном состоянии. Он не мог ни о чем думать. Его воспаленный разум не мог ни на что опереться. Оставалось только ждать.

Он вспоминал бесчисленные хождения на почту, где он абонировал ящик, в который письма опускали два-три раза в день вместо одного. Тот мучительный путь, который он проходил тогда, когда ему хотелось бежать, так хотелось, что от этого желания его трясло. Каждый раз, когда он входил на почту, его руки немели, сердце тяжело стучало. Он пересекал мраморный прямоугольник пола, склонялся над ящиком и заглядывал внутрь. И когда там были письма, его руки начинали трястись так сильно, что он едва попадал ключом в замочную скважину. И, буквально выдирая письма из ящика, он лихорадочно читал обратный адрес. Из Центра писем не было. От внешне пронзавшего его чувства, что жизнь уходит от него, Скотт, казалось, прирастал к полу и ноги его становились как ватные.

А когда он переехал к озеру, его мучения усилились, потому что теперь ему приходилось ждать, когда Лу сходит на почту — ждать, стоя у окна. Как только Скотт видел, что жена идет по улице к дому, его руки начинали трястись. И он всегда догадывался, что писем нет, по тому, как медленно она шла, и все же никогда не мог поверить, пока Лу не сообщала ему об этом.

Скотт перевернулся на живот и яростно впился зубами в губку. Мыслить для него губительно — вот страшная правда. Если бы не думать, не сознать, — о, Господи, блаженное безмыслие. О, если бы он мог разорвать свой мозг так, чтобы только мутные вязкие капли ненавистного вещества капали с кончиков пальцев. Почему бы не...

Затаив дыхание, Скотт резко приподнялся, не обращая внимания на неожиданный приступ головной боли.

Музыка.

— Музыка? — едва слышно пробормотал он. — Откуда в погребѣ музыка?

К тому же он знал, что она играет не в погребѣ, а наверху. Это Луиза слушала по радио Первую симфонию Брамса. Он уперся локтями в губку и полуоткрыл рот, сдерживая дыхание и вслушиваясь в мощный ритм первой фразы мелодии. Она едва доносилась до него, как будто он стоял в фойе концертного зала, слушая оркестр через закрытые двери. Наконец сдерживаемое дыхание прорвалось наружу, но он не шелохнулся. Его лицо было спокойным, глаза застыли. И даже теперь это был все еще прежний мир, и он оставался частью этого мира. Звуки музыки рассказывали ему об этом. Там, наверху, где-то очень далеко, Луиза слушала эту музыку. Здесь, внизу, он, невероятно крошечный, тоже слушал ее. И это была музыка для них двоих, и это было прекрасно.

Скотт вспомнил, как незадолго до падения в погреб он мог слушать музыку, только убавляя громкость настолько, что Луиза не могла расслышать ее: иначе музыка, причиняя головную боль, превращалась в грохот, который бил по ушам, как звон посуды, пронзал мозг, как нож.

Внезапный крик или смех Бет напоминал выстрел над ухом, от которого лицо его перекашивалось, и он затыкал уши.

Брамс. Лежать в подвале пылинкой, ничтожеством и слушать Брамса. И даже в его жизни, такой невероятной, этот момент казался самым причудливым.

Музыка смолкла, и Скотт взглянул вверх, прислушиваясь к приглушенному голосу женщины, которая была его женой. Ему казалось, что сердце его вот-вот остановится. И на какой-то миг он вновь ощутил себя частью старого мира. Губы его произнесли имя — Лу.

Лето заканчивалось, и девушка-подросток, работавшая в бакалейной лавке на берегу озера, вернулась в школу. И Лу, подавшая месяц назад заявление о приеме на работу, заняла ее место.

Ей смутно представлялось, что Скотт присмотрит за Бет, когда она получит работу. Но теперь это было мучительно ясно: он вообще не мог позаботиться о ней, поскольку едва доставал до ее груди. Более того, не хотел даже попытаться. Поэтому Лу договорилась с соседской девушкой, закончившей среднюю школу, чтобы та сидела с Бет, пока она на работе.

— Бог свидетель, у нас не так много денег, чтобы платить ей, — говорила Лу, — но нам не из чего выбирать.

Скотт ничего не отвечал ей даже тогда, когда она сказала, хотя ей очень больно было это говорить, что днем ему лучше сидеть в подвале, если он не хочет, чтобы девушка узнала, кто он такой, поскольку было очевидно, что его не примут за ребенка. Скотт только пожал в ответ хрупкими плечиками и вышел из комнаты.

В первое утро перед работой Лу приготовила для него бутерброды и два термоса — один полный кофе, другой — воды. А он сидел за кухонным столом на двух толстых подушках, его похожие на карандаши пальчики обвивались вокруг чашки дымящегося кофе, и по лицу его было совсем незаметно, слышит ли он, что ему говорит Лу:

— Этого тебе должно вполне хватить. Возьми с собой книгу и читай. Поспи днем. Это будет совсем не страшно. Я приду домой пораньше.

Скотт разглядывал капельки жира от сливок, плававшие на поверхности кофе. Потом он медленно начал поворачивать чашку, так, чтобы она издала неприятный скрипучий звук, всегда раздражавший Лу.

— Бет, заломни, что я тебе говорю. Ни одного слова о папе. Ни единого слова. Ты поняла?

— Да, — кивнула Бет.

— Что я сказала? — проверила Лу.

— Чтобы я не говорила ни слова о папе.

— Об уродце.

— Что? — спросила Лу, глядя на него.

А он смотрел в чашку. Она не переспросила его: с тех пор, как они поселились на озере, у него появилась привычка бормотать что-то себе под нос. После завтрака Лу спустилась с ним в погреб, прихватив с собой складной стульчик. Она вытащила свой чемодан из горы коробок между баком с топливом и холодильником и, раскрыв его на полу, положила в него подушечки.

— Вот, на этом ты можешь прекрасно поспать.

— Как собака, — проворчал он.

— Что?

Скотт смотрел на нее, как разозленная кукла.

— Я думаю, девушка едва ли захочет сюда спускаться, — продолжала Лу. — Правда, она может здорово шуметь. И поэтому все-таки лучше запереть дверь.

— Нет.

— А вдруг она спустится?

— Я не хочу, чтобы ты запирала дверь.

— Но, Скотт, что, если...

— Я не хочу, чтобы дверь была заперта.

— Хорошо, хорошо. Я не буду запирать ее. Будем надеяться, девушка не захочет заглядывать сюда.

Он молчал.

Лу проверила, все ли у него есть, склонилась над ним, как всегда чмокнула его в лоб, поднялась по ступенькам и опустила дверь, а Скотт все стоит и стоял в центре погреба. Он смотрел, как она прошла мимо окна, как ее юбка волновалась на ходу, подчеркивая красоту ее ног.

И когда она исчезла из виду, Скотт все еще стоял и смотрел в окно.

Опустив свои маленькие ручки, он медленно сжимал и разжимал кулачки. Взгляд его застыл. И он казался погруженным в мрачные размышления об относительных ценностях бытия и смерти.

Наконец оцепенение соскользнуло с него. Он глубоко вздохнул и осмотрелся, поднял руки, как бы сдаваясь, а затем безвольно уронил их на бедра.

— Здорово, — сказал он.

Скотт забрался с книгой на стул, раскрыл ее в том месте, где лежала сделанная из кожи закладка с надписью «Вот здесь я уснул», и начал читать.

Он прочитал одно место дважды, и книга выскользнула и упала ему на колени: он думал о Лу, о том, что уже никак не сможет обнять ее, потому что едва ли был выше ее колен. Ему не хватает мужественности, понял он, стиснув зубы. Лицо его оставалось неподвижным. Он случайно столкнул книгу с подлокотника и услышал, как она громко хлопнулась о цементный пол.

Наверху Скотт услышал шаги Лу, направлявшейся к входной двери. Они затихли, а когда начали раздаваться снова, то Лу уже была не одна, и до Скотта донесся голос девушки, чистый, высокий, звонкий и самонадеянный.

Через десять минут Лу вышла. И перед домом несколько раз чихнул и взревел прогреваемый мотор «форда». Затем, несколько минут спустя, машина, постреливая, уехала. Остались только два голоса — соседской девушки Кэтрин и Бет. Он слушал, как, то тише, то громче, говорила Кэтрин, и ему хотелось узнать, что она говорит и как выглядит.

Размечтавшись, по неясному голосу он попробовал представить ее. Ростом пять футов шесть дюймов, с тонкой талией и длинными ногами, молодой крепкой грудью, остро торчащей под ее блузкой. Со свежим юным лицом, светло-русыми волосами и белыми зу-

бами. Он представлял ее легкие, порхающие движения и голубые глаза, блестящие, как ягоды.

Скотт поднял с пола книгу и попробовал читать, но не смог. Перед его глазами мутными ручейками бежали фразы, слова прыгали по странице. Скотт вздохнул и неловко пошевелился в кресле. Созданный им образ девушки возбудил его, и ее тугие груди, как апельсины, рельефно обрисовывались под тонким шелком.

Злобно вздохнув, он прогнал сладкое наваждение. «Нет, только не это», — приказал он себе.

Скотт поджал ноги, обхватил их руками, уперся подбородком в колени и сидел так, напоминая ребенка, ожидающего появления Санта Клауса.

Но прежде чем его фантазия набросила занавес на дерзкую, нахальную девчонку, она успела наполовину стащить блузку. И вновь на его лице появилось напряженное выражение, такое, как у человека, который, тщетно испытав все средства, погрузился в апатию. Хотя где-то глубоко внутри, подобно бурлящей во чреве вулкана лаве, кипело его желание.

Когда на заднем крыльце хлопнула дверь и голоса Бет и девушки поплыли по двору, в неожиданном возбуждении Скотт соскользнул с кресла и побежал к груде коробок, лежавших рядом с топливным баком. Там он постоял с минуту, при этом сердце его бешено стучало. И наконец, подавив сильное чувство досады, он вскарабкался на эту груду и стал смотреть через окно, затянутое паутиной.

Горестные морщины разочарования пробежали по его лицу.

Вместо пяти футов шести дюймов — пять футов три дюйма. Вместо изящной талии и стройных ног — узловатые мышцы и жир. А юная крепкая грудь потерялась в складках длинного грубого свитера. Свежее юное лицо оказалось вульгарным, прыщеватым, светло-русые волосы — грязно-каштановыми. Оставалось слабое напоминание о белых зубах. Ну, а дви-

жения были «легкими», как у птички — довольно крупной птички. Цвета глаз он не смог разобрать.

Наблюдая, как Кэтрин ходит по двору, он видел ее жирные ягодицы, обтянутые потертыми грубыми штанами, и босые ноги, всунутые в тряпичные тапки. Прислушался к ее голосу.

— О, да у вас есть погреб, — сказала она.

Скотт увидел, как изменилась в лице Бет, и весь напрягся.

— Да, но он пустой, — торопливо ответила Бет. — Там никто не живет.

Кэтрин, ничего не подозревая, рассмеялась.

— Надо думать, никто, — согласилась она, заглядывая в окно.

Скотт отшатнулся, а потом понял, что она все равно ничего не сможет увидеть из-за бликов на стеклах. Он смотрел за ними, пока они не скрылись за углом дома. Потом заметил, как они мелькнули в окне над кучкой мусора и исчезли. Бормоча что-то, Скотт спустился с груды коробок и подошел к креслу. Поставил один из термосов на подлокотник и снова взял книгу. Затем, усевшись, налил в красную пластмассовую чашечку дымящегося кофе и сидел так, раскрыв на коленях книгу, не глядя в нее и медленно прихлебывая обжигающий напиток.

«Интересно, сколько ей лет», — думал он.

Скотт вздрогнул на подушечке, ресницы задрожали, и глаза открылись.

Кто-то поднимал крышку погреба.

Охнув, он перекинул ноги через бортик чемодана как раз в тот момент, когда кто-то, не удержав крышку, выпустил ее и она с шумом упала. Глядя в ужасе на ступеньки, он с усилием поднялся на ноги. Крышка опять стала подниматься, и узкая полоска света побежала по полу, расширяясь.

Быстро, в два приема схватив термос с кофе и книгу, Скотт нырнул под топливный бак. Когда дверца, открываясь, опять с грохотом упала, он скользнул

за большую картонную коробку с одеждой. Чувствуя слабость, Скотт прижал к груди книгу и термос. Почему он, злобно упираясь, запрещал Лу закрыть дверь на замок? Да потому, что ему не хотелось сидеть в погребе, как в тюрьме. Но зато в тюрьму никто чужой не вошел бы.

Он услышал осторожные шаги по лестнице, шарканье тряпичных тапок и перестал дышать. Когда девушка вошла в погреб, Скотт вжался в темноту.

Кэтрин хмыкнула. Он слышал, как она шла по погребу, как толкала, пробуя ногой, кресло. Ее не удивит, что здесь есть кресло? Ей не покажется странным, что оно стоит в центре погреба? Скотт сглотнул пересохшим горлом. А чемодан с подушечками? Ну, это сойдет за лежбище кошки.

— Боже, какой бардак! — воскликнула Кэтрин, шаркая по цементному полу ногами.

Он мельком увидел ее толстые икры, когда она задержалась перед водогреем. Услышал, как она барабанит пальцами по его эмалированной поверхности.

— Водогрей, — пробурчала себе под нос девушка, — м-м.

Кэтрин зевнула, и Скотт услышал, как она, с удовольствием потягиваясь, напряженно выдохнула и хрюкнула.

— Там-да-да-ди-дам-да, — напевала девушка, подражая гуденью водогрея. Затем двинулась дальше.

«Боже мой, — подумал он, — бутерброды и второй термос. Всюду сует свой нос», — взорвался рассудок.

— Ха, крокет, — проговорила девушка.

Спустя некоторое время он услышал, как, проговорив: «Ну, ничего», она поднялась по ступенькам и дверь с грохотом упала, сотрясая весь погреб. Так что если Бет спала, то она бы проснулась.

Когда Скотт выполз из-под топливного бака, он услышал, как хлопнула задняя дверь и шаги Кэтрин раздались уже над головой. Он поднялся и снова

поставил термос на подлокотник кресла. Теперь ему придется разрешить Лу закрывать дверь на замок.

«Чертова глупая малявка...»

Скотт вышагивал по погребу, как посаженный в клетку зверь. Любопытные стервы! Ни одной нельзя доверять. В первый же день этой чертовке приспичило облазить весь дом. Она, наверное, залезла уже всюду: в бюро, в сервант, в платяной шкаф.

А что она подумала, увидев его одежду? Как ей объяснит это Лу — или уже объяснила? Скотт знал, что жена назвала Кэтрин вымышленную фамилию. Поскольку почту не приносили домой, можно было не опасаться, что ее разоблачат.

Единственная опасность заключалась в том, что Кэтрин, возможно, читала статьи о нем в «Глоб пост» и видела фотографии. Но если б это было так, она бы, наверное, заподозрила, что он прячется в погребе и сунула бы нос во все дыры. А искала ли она вообще?

Через десять минут, потянувшись за бутербродами, он обнаружил, что их нет. Кэтрин забрала их.

«О, Боже», — Скотт в исступлении колотил кулаками ручку кресла и почти хотел, чтобы эта стерва услышала его, спустилась к нему, и он обложил бы ее за все дурацкие выходки.

Он погрузился в кресло и снова случайно зацепил книгу, она с шумом упала на пол. «Черт с ней», — подумал он.

Скотт выпил весь кофе и сидел, обливаясь потом, сверля злобным взглядом темноту. А наверху, в доме, Кэтрин ходила и ходила, казалось, прямо по его мозгам.

«Жирная гусеница», — раздалось в его измученной крошечной головке.

— Конечно, давай. Запри меня на замок, — процедил он.

— Но, Скотт, — с мольбой в голосе сказала Лу, — ты же сам так решил. Неужели ты хочешь, чтобы она случайно нашла тебя?

Скотт молчал.

— Если дверь не будет заперта, она опять может спуститься сюда. Я не думаю, что она заподозрила что-нибудь, увидев пакет с бутербродами. Но если она еще раз найдет...

— Пока, — бросил Скотт, отвернувшись.

Лу взглянула на него, потом тихо сказала:

— До свиданья, Скотт. — И поцеловала его в макушку. Он отшатнулся.

Пока она поднималась по ступенькам, Скотт стоял, нервно похлопывая себя свернутой газетой по правой ноге.

«И потекут один за другим серые дни, — подумал он, — бутерброды, кофе, чмок в макушку на прощанье, шаги по ступенькам, опускающаяся дверь и шелканье замка».

И когда он в первый раз увидел и услышал все это, от ужаса у него похолодело под ложечкой, перехватило дыхание, и он чуть не заорал. Увидев ноги уходящей Лу, Скотт зажмурил глаза и сжал губы, сдерживая рвущийся из горла крик.

О, Боже правый, теперь он узник-монстр, которого добрые и нормальные люди запирают в погребе, чтобы мир не узнал об ужасной тайне.

Постепенно напряжение ослабло, и снова им овладело покорное безразличие. Он взобрался на кресло, закурил сигару и, попивая кофе, начал небрежно перелистывать последний номер «Глоб пост», который вчера принесла Лу. Маленькая заметка на третьей странице. Заголовок: Где же уменьшающийся человек? Под ним: «Со дня исчезновения никаких известий. Уже три месяца!»

«Нью-Йорк: Три месяца назад Скотт Кэри, «уменьшающийся человек», названный так из-за уменьшения тела, вызванного

болезнью, исчез. С тех пор никто не знает, где он».

«Вам-то какая нужда? Хотите новых фотографий?» — подумал Скотт с иронией.

«Из управления Колумбийского Пресвитерианского медицинского центра, где наблюдался Кэри, сообщают о том, что не могут дать никакой информации о его местонахождении».

«Они все не могут дать мне антитоксин, — думал он. — Один из лучших медицинских центров страны! И вот я здесь. Усыхаю, пока они там ковыряются».

В сердцах он чуть было не сбросил с кресла термос, но вовремя понял, что хуже от этого будет только ему. Как обезумевший, он сцепил руки и до боли сжал пальцы, так что они побелели. Скотт разжал руки и, уронив их на подлокотники, с грустью смотрел на свои тонкие пальцы и на ярко-желтое дерево, из которого было сделано кресло.

«Глупо красить в такой цвет садовые кресла, — подумал Скотт. — Каким же идиотом, должно быть, был их прежний хозяин».

Извиваясь, Скотт сполз с кресла и стал вышагивать по полу. Нельзя так просто сидеть и тупо глядеть, надо еще что-то делать. Читать ему не хотелось. Его взгляд беспокойно скользил по погребу. Чем бы заняться, что бы поделаться... Импульсивно он подскочил к стене, схватил швабру и начал мести пол. Да, его следовало подмести: кругом было грязно, валялись какие-то камешки и щепки. Размашистыми, быстрыми движениями он сгреб весь этот мусор в кучу рядом со ступеньками и отбросил щетку к холодильнику.

Чем заняться теперь? Скотт снова уселся, налил еще кофе и сидел так, нервно постукивая ногой по ножке кресла.

Задняя дверь дома хлопнула, и он услышал голоса Бет и Кэтрин. Не вставая с кресла, Скотт посмотрел в окно и через секунду увидел их голые ноги.

И все-таки он не усидел на месте. Соскочил с кресла, подошел к груде коробок и забрался наверх.

Они стояли около крышки погреба в купальниках: Бет — в красном с оборками, Кэтрин в бикини нежно-голубого цвета с блестками. Скотт смотрел на тугие, готовые вырваться из-под сдерживающей их, как узда, ткани полушария грудей.

— О, твоя мама заперла дверь, — сказала Кэтрин. — Зачем она это сделала?

— Да я не знаю, — ответила Бет.

— Я думала, мы поиграем в крокет.

— Ну, не знаю, — пожала плечами Бет.

— А где лежит ключ от замка?

— Не знаю, — еще раз пожала плечами Бет.

— Ну, хорошо... давай поиграем в мячик.

Скотт присел на коробки и стал смотреть, как Кэтрин ловит красный мяч и кидает его Бет. И только через пять минут поймал себя на мысли, что ждет не дождется, когда мяч выскользнет из рук Кэтрин и ей придется нагнуться, чтобы поднять его. И, осознав это, неуклюже съехал с коробок на пол и побрел к креслу.

Он сел в него, резко выдохнул, пытаясь отогнать таким образом терзавшие его мысли. Что же с ним, в конце концов, происходит? Девочка, четырнадцати, ну, от силы пятнадцати лет, низенькая, кругленькая, а он глядит на нее с вожделением.

— Что, я в этом виноват? — выпалил он, давая выход своему раздражению. — Что же мне теперь, в монахи идти?

Он видел, как тряслись его руки, когда он наливал воду, как вода выплескивалась из красной пластмассовой чашечки и стекала по его запястью. Скотт чувствовал, как она лилась ледяной струей в его пересохшее, пылающее горло. «Сколько же ей лет?» — подумал он.

Скотт стиснул зубы так, что у него заходили желваки. Сквозь мутное стекло он глядел на Кэтрин, читавшую журнал, лежа на животе.

Растянувшись на одеяле, она лежала боком к нему, одной рукой подперев подбородок, другой лениво перелистывая страницы.

В горле у Скотта пересохло, но он не замечал этого даже тогда, когда начало першить и ему пришлось откашляться. Удерживая равновесие, он цеплялся маленькими пальчиками за шероховатую поверхность стены.

«Нет, — подумалось ему. — Ей не меньше восемнадцати. Ее тело так развито: этот мощный бюст, широкие бедра. А если ей и пятнадцать, то она ужасная акселератка».

Его передернуло, и ноздри его хищно раздулись. «Какая, к черту, разница? И какое мне до нее дело?» Глубоко вздохнув, Скотт уже собирался спуститься вниз, когда Кэтрин согнула правую ногу и стала лениво покачивать ею в воздухе.

Он буквально пожирал ее глазами, они скользили по ее телу — вниз по ногам, через холм ягодниц, вверх по склону спины, по белым плечам, вниз по стремящейся к земле тяжелой груди, по животу и ногам и снова вниз.

Скотт закрыл глаза. В оцепенении спустился вниз и поплелся к креслу. Влез в него, провел пальцем по лбу, и рука его упала, а голова откинулась на деревянную спинку.

Он снова встал и пошел к коробкам. Забрался наверх, ни о чем не думая. «Да, вот так вот, взгляни еще разик на двор», — злобно подшучивал его рассудок.

Сначала Скотт подумал, что Кэтрин зашла в дом. В горле предательски заворчал. А потом он увидел, как она стоит около двери погреба и, поджав губы, оценивающе смотрит на замок.

Скотт сглотнул. «Неужели она догадалась?» — мелькнуло в голове.

Это была жуткая минута: он готов был кинуться к двери и закричать: «Спускайся, спускайся ко мне, милая девочка!» От едва подавленного желания губы его сильно задрожали.

Девушка прошла мимо окна. Он буквально проглотил ее глазами, как будто видел в последний раз. Когда она скрылась, он сел на коробки, прислонившись спиной к стене, разглядывая свои тонкие лодыжки, тоньше полицейской дубинки. Задняя дверь хлопнула, и шаги Кэтрин вновь раздались над головой.

Скотт был выжат. Ему казалось, расслабься он хоть на йоту больше, и его тело потечет по коробкам на пол, как густой сироп по сложенным горкой шарикам мороженого.

Он не представлял, сколько просидел так, когда со скрипом открылась и вновь захлопнулась задняя дверь дома. Скотт вздрогнул и испуганно поднялся.

Кэтрин прошла мимо окна, крутя на пальце связку ключей. У него перехватило дыхание. «Она залезла в бюро и нашла запасные ключи». Скользя и прыгая, он заспешил вниз. И уже внизу, в последний раз прыгнув, подвернул правую ногу и поморщился от боли.

Схватил пакет с бутербродами, запихнул в него термос, а недоеденную пачку печенья кинул на холодильник.

Он суетливо огляделся. Газета! Скотт бросился к ней, схватил и услышал, как девушка подбирает ключ к замку.

Засунул свернутую газету на полку плетеного столика и, схватив книгу и пакет с бутербродами, бросился в темную яму, сделанную в полу, где стояли бак и водяной насос. Он заранее обдумал, что, если Кэтрин попытается еще раз проникнуть в погреб, он спрячется здесь.

Скотт спрыгнул со ступеньки на сырой цементный пол. Замок на двери, лязгнув, открылся, и его со скрежетом вынули из металлической скобы. Он осторожно перешагнул через несколько труб и, скользнув за высокий холодный бак, положив пакет и книжку, стоял, тяжело дыша, а дверь поднялась, и девушка спустилась в погреб.

— Запирать погреб, — медленно проговорила она с презрением в голосе. — Как будто я что-то стибрю.

Оскалив стиснутые зубы, Скотт беззвучно прорычал

— Безмозглая сука.

— Хм, — промычала Кэтрин, и ее тапки зашаркали по полу. Она опять пнула кресло, ударила ногой по масляному обогревателю, так, что тот глухо загудел.

«Не распускай ноги, дура», — взорвалось в мозгу Скотта.

— Крокет, — сказала девушка, и Скотт услышал, как вынимают крокетный молоток из сумки.

— Хм, — опять промычала Кэтрин с некоторым удовольствием. — Вперед! — и молоток громко щелкнул по цементу.

Скотт осторожно подвинулся вправо, цепляясь рубашкой за холодную шероховатую поверхность стены; ему было холодно. Девушка ничего не слышала, напевая:

— У-гу, воротца, клюшки, мячики, приз...

Она торжествующе мяукнула.

Он стоял, подглядывая за ней. Кэтрин склонилась над спортивной сумкой. А так как, загорая, она ослабила лямки лифчика, он уже почти не скрывал ее груди, свисая вниз. И даже в полумраке Скотт разглядел молочно-белую кожу в том месте, которое обычно недоступно ни солнцу, ни взгляду.

«Нет! — закричало что-то в его голове. — Назад! Она увидит тебя».

Потянувшись за мячом, Кэтрин наклонилась еще ниже, и лифчик соскользнул.

— Опп, — довольно произнесла она, укладывая крокетные принадлежности в сумку.

Скотт прижался затылком к прохладной сырой стене, жар волнами разливался по его щекам.

Когда Кэтрин ушла, заперев за собой дверь, Скотт вышел из своего укрытия. Он положил пакет и сумку на кресло рядом, ощущая, как от напряжения наливались кровью и горели все его мышцы.

— Я не могу, — бормотал он. Его голова тряслась. — Я не могу, не могу. — Скотт не знал, что именно он не может, но знал, что это что-то очень важное.

— Сколько лет этой девушке? — спросил он вечером, не отрывая глаз от книги, как будто этот вопрос был случаен и не важен для него.

— Думаю, лет шестнадцать, — ответила Лу.

— Да? — сказал он, будто забыв, о чем спрашивал.

Шестнадцать. Возраст незагубленных надежд. Где-то он уже слышал эту фразу.

Скотт отбросил ее, он — маленький изящный гномик, который сидит на коробках и уныло смотрит на дождь, на то, как капли стучат по земле, разбрасывая комочки грязи на карнизе.

На его лице застыла маска невыразимой скорби. «Не нужно впадать в отчаяние, — пронеслось в мозгу, — не нужно».

Он икнул. Потом, тяжело вздохнув, слез с кучи и неуверенно пошел к креслу. «О, возлюбленное оранжевое кресло!» — приветствовал его Скотт и, развернувшись, ловко вспрыгнул в него.

«Хопс!» — поймал он ускользавшую из руки бутылку виски. «О, возлюбленная хмельная бутылка!» Он хихикнул. Погреб, танцуя, поплыл в желтой дымке вокруг головы. Скотт запрокинул бутылку, и виски горячей тоненькой струйкой полилось в него, обжигая желудок.

Глаза увлажнились. «Я пью Кэтрин! — яростно кричал его рассудок. — Я делаю это, соединив в один замечательный напиток талию, груди, живот и шестнадцать лет, — и теперь я все это пью». Его кадык ходил ходуном, и виски журчало в горле. «Пить! Пить! И от этого у вас в желудке будет горько, а во рту так сладко, как от меда. Я пьян, и я хочу остаться пьяным», — мелькало в голове. Интересно, почему такая светлая мысль не посещала его раньше? Ведь эта бутылка, которую он держал сейчас перед собой, три месяца томилась в буфете, а до этого — два месяца в баре на старой квартире. Пять месяцев мучительного небрежения. Он похлопал коричневое стекло бутылки и страстно поцеловал ее. «Я целую тебя, жидкая Катерина. Я лобзаю капли твоих сладостных, теплых уст».

«Все просто, — пронзила мысль. — Она много меньше Лу. Вот почему я все это чувствую».

Скотт вздохнул. Он укачивал на коленях пустую бутылку. Кэтрин закончилась. И можно заткнуть горлышко. Сладкая девушка, дурманящим напитком ты плывешь теперь по моим сосудам.

Неожиданно он вскочил и изо всех сил бросил бутылку об стену. Она разлетелась вдребезги, и сотни осколков, пахнувших виски, затанцевали по холодному цементу. «Прощай, Кэтрин». Скотт уставился в окно. «Почему это должен идти дождь? — подумал он. — Да, почему? Почему бы не быть солнцу, чтобы прелестная девушка могла лежать во дворе, в купальном костюме, а он мог бы смотреть на нее с тайным вожделением — слабым утешением в его горестях».

Нет, должен идти дождь. Это определили звезды.

Он сидел на краешке кресла, болтая ногами. Шагов наверху не было слышно. Что она там делает? Что делает эта прелестная девушка? Не прелестная — уродливая. Что делает там эта уродина? Кому дело до того, красавица она или уродина? Но что делает эта девушка? Он смотрел на свои болтающиеся

ноги. Потом пнул воздух ногой. «Получи, и еще получи».

Скотт застонал. Поднялся и стал прохаживаться по погребу. Он глядел на пелену дождя и на заляпанные грязью окна. Сколько сейчас времени? Может, уже за полдень. Он больше не может терпеть.

Скотт поднялся по ступенькам и толкнул дверь. Конечно, она заперта, и Луиза в этот раз забрала все ключи с собой.

— Уволь ее, — пробурчал он злобно в это утро. — Она врунья.

А Лу ответила:

— Мы не можем, Скотт. Просто не можем. Я возьму все ключи. Все будет хорошо.

Скотт уперся спиной в дверь и попробовал приоткрыть ее. Ему стало больно. Со злостью выкрикнув в воздух, он боднул дверь головой и свалился на ступеньку. В голове все плыло и кружилось. Он сидел, бормоча что-то под нос, сжимая руками череп. Скотт знал, почему ему хотелось, чтобы Лу уволила девушку: он не мог больше видеть ее, но сказать об этом Лу было выше его сил. Самое большее, что она могла сделать в этом случае, это предложить ему невозможную близость и тем самым обидеть его. Он не согласился бы на это.

Скотт выпрямился, улыбаясь в темноту.

«Здорово я одурачил ее. Я одурачил ее. Так стянул бутылку виски, что она никогда и не узнает об этом».

Он сидел так, тяжело вздыхая, представляя Кэтрин, склоняющуюся над спортивной сумкой, и ее медленно соскальзывающий лифчик. Скотт резко встал, снова ударившись головой о крышку. Спрыгнул со ступенек, не обращая внимания на боль. «Я снова одурачу ее! У меня есть все основания для того, чтобы так вести себя», — решил Скотт, с трудом карабкаясь на груды коробок. С пьяной кривой ухмылкой на лице он нажал на защелку окна и надавил на низ рамы.

Ее заело. От напряженных усилий лицо его покраснело.

«Чтоб тебя, дурацкая деревяшка...»

«Сукин...»

Окно резко поднялось, и Скотт упал, растянувшись на подоконнике. Потом оно так же резко опустилось, заехав Скотту по макушке. Черт с ним!

Он заскрежетал зубами. «Сейчас, — глупо сказал он миру. — Сейчас мы посмотрим». Он выбрался под дождь, не сопротивляясь вовсе пламени сжигавшего его плотского желания.

Скотт встал и поежился. Его взгляд устремился в окно столовой, а дождь застилал ему глаза, ручейками сбегал по лицу. И капли барабанили по его щекам. «А что же теперь?» — подумал он. Холодный воздух и дождь охладили его пыл.

Скотт осторожно шел вокруг дома, прижимаясь к кирпичному фундаменту, пока не оказался перед крыльцом. Подбежал к ступенькам и поднялся к двери. «Что ты делаешь?» — раздалось в голове. Ответа он не знал. Рассудок не участвовал в этой вылазке. Скотт встал на цыпочки и украдкой заглянул в окно столовой. Никого. Он прислушался, но ничего не услышал.

Дверь в комнату Бет была заперта — скорее всего, она спала. Его взгляд переместился на дверь ванной. Тоже закрыта. Скотт опустился на пятки и вздохнул. Слизнул капли дождя с губ. «Что теперь?» — снова раздалось в голове.

Дверь ванной комнаты открылась.

Вздвигнув, Скотт попятился от окна, услышав легкие шаги на кухне, которые вскоре затихли. Подумав, что девушка прошла в гостиную, он опять подобрался к окну и встал на цыпочки. У него перехватило дыхание. Она стояла у окна, глядя во двор и прикрываясь желтым банным полотенцем. Он едва ли чувствовал, как дождь поливает его и струйки воды, беспорядочно сплетаясь, бегут по его лицу. Его рот

раскрылся. А взгляд медленно опускался по гладкому изгибу спины к тому месту, где начиналась темная ложбинка, идущая вниз и разделяющая два мускулистых, похожих на луковицы полушария ее белых ягодич.

Он не мог отвести от нее глаз. Его руки тряслись. Девушка пошевелилась, и Скотт увидел на ее теле капельки воды, блеснувшие, как маленькие шарики желатина. Он с трудом втянул в себя неприятный, сырой воздух.

Кэтрин уронила полотенце.

Заложив руки за голову, она, казалось, упивалась густым воздухом. Скотт увидел, как дрогнула и приподнялась ее левая грудь, сосок напоминал темный наконечник копья. Она раскинула руки и, изогнувшись, потянулась.

Когда она повернулась, он все еще дрожал всем телом от напряжения. Скотт быстро отпрянул от окна, девушка не заметила его, потому что его макушка едва ли возвышалась над карнизом. Он увидел, как Кэтрин наклонилась за полотенцем. Как отвисли ее тяжелые белые груди. Потом она выпрямилась и вышла из комнаты.

Скотт опустился на пятки, и ему пришлось ухватиться за перильца, чтобы не упасть, так как ноги его подкашивались. Он почти повис, дрожа под дождем, лицо его окаменело.

Спустя минуту Скотт, спотыкаясь от внезапной слабости, спустился по ступенькам и побрел, держась за стены дома, к погребу. Влез в окно и закрыл его за собой. И, все еще дрожа, спустился с груди коробок.

Завернувшись в старый свитер, Скотт сидел в кресле. Зубы его стучали, и он весь дрожал от холода.

Немного погодя Скотт снял с себя одежду и повесил ее сушиться над обогревателем. Стоя рядом с топливным баком в своих высоких коричневых ботинках, набросив на плечи свитер, он глядел в окно.

Наконец, когда бездействие, напряжение, мысли стали невыносимы, Скотт начал стучать ногой по картонной коробке. Он стучал до тех пор, пока нога не заболела, а стенка коробки не порвалась почти до самого пола.

— Когда же ты успел простудиться? — спросила Лу, и в ее голосе зазвучали нотки раздражения.

Скотт простуженно прогнусавил:

— Чего же ты ожидала, если я прикован к этому чертову погребу целый день!

— Извини, дорогой, но... ну, может, я завтра останусь дома, чтобы ты целый день мог пролежать в постели?

— Не стоит, — ответил он.

Лу и словом не обмолвилась о том, что заметила исчезновение бутылки виски из буфета. Было бы хорошо, если бы она могла запереть не только дверь, но и все окна. Но поскольку Скотт знал, что в любой момент, когда захочет, может вырваться и шпионить за Кэтрин, его состояние становилось невыносимым.

Дни в подвале тянулись медленно. И если ему удавалось, он на час-другой погружался в чтение, но потом образ Кэтрин заслонял все, и он откладывал книгу.

Все было бы хорошо, если бы Кэтрин выходила во двор чаще. Тогда, по крайней мере, он мог бы смотреть на нее в окно погреба. Сентябрь увядал, дни становились холоднее, а Кэтрин и Бет все больше времени проводили в доме.

У него вошло в привычку брать с собой в погреб маленькие часы. Скотт объяснил это Лу тем, что хочет следить за временем, но на самом деле ему необходимо было знать, когда спит Бет, потому что только тогда он мог выбираться из погреба и подсматривать за Кэтрин. Он заставлял ее то сидящей на кушетке за чтением журнала, но это его не удовлетворяло; то

когда она гладила и по какой-то причине была полураздета; то после душа, когда Кэтрин голая стояла перед окном. А однажды он увидел ее в спальне, загорающей голышом под переносной кварцевой лампой Лу. Это было в один из пасмурных дней, когда она не задернула шторы. И полчаса, не шелохнувшись, Скотт стоял у окна.

Дни текли за днями. Чтение было почти заброшено. Жизнь превратилась в одно бесконечное, болезненно-опасное приключение. Почти каждый день в два часа, просидев час-другой в напряженном ожидании, он выползал во двор, осторожно пробирался вдоль дома, заглядывал в каждое окно в поисках Кэтрин. Скотт считал, что день удался, если ему выпадало застать ее полностью или хотя бы наполовину раздетой. А если она была, как случалось чаще всего, одета да к тому же занималась каким-нибудь полезным делом, он злой возвращался в погреб и весь остаток дня дулся, и весь вечер срывал злобу на Луизе. А ночью, независимо от того, насколько удачной оказывалась вылазка из погреба, Скотт не мог сомкнуть глаз, ожидая с нетерпением, когда настанет утро, ненавидя и презирая себя за эту слабость и все же не в силах совладать с нею. Он ворочался, грезя о Кэтрин, которая являлась ему все чаще и во все более соблазнительном виде. И в конце концов Скотт стал находить утешение в этих сладостных грезах.

Утром же, торопливо проглотив завтрак, он спустился в погреб, где долго, очень долго ждал двух часов дня, когда с гулко стучащим сердцем вылезал через окно во двор и подкрадывался к одному из окон дома.

Конец всему этому пришел совершенно неожиданно.

Стоя на крыльце, Скотт заглядывал в окно кухни, где Кэтрин в распахнутом банном халате Лу, под которым ничего не было, гладила белье.

Пошевелив ногой, он поскользнулся и с шумом упал, услышав голос девушки, которая с легким испугом вскрикнула:

— Кто там?

Задыхаясь от волнения, Скотт спрыгнул со ступенек и бросился наутёк вдоль дома. На бегу испуганно оглянулся и увидел застывшее от изумления лицо Кэтрин, которая глядела из окна кухни на улелепывавшую детскую фигурку.

И весь этот день он просидел, дрожа от возбуждения и холода, за баком с водой, не решаясь выйти из своего убежища, потому что был уверен, что Кэтрин, хоть она и не видела, где спрятался уродливый гном, заглядывает в погреб через окно. И, проклиная себя, Скотт с ужасом думал о том, что скажет ему Лу и какими глазами будет смотреть на него, узнав вечером от девушки о случившемся.

Он лежал, затаясь под крышкой коробки, и слушал, как скребется ползающий по картону паук.

Скотт облизал непослушным языком пересохшие губы и вспомнил о луже на полу. Пошарил вокруг себя — рука легла на кусочек сырого печенья. «Хочется пить, где уж тут есть всухомятку», — решил он и убрал руку от печенья.

По непонятной причине злое скрябанье паука мало его беспокоило. Скотт чувствовал, что нервный кризис миновал, дурные эмоции оставили его, на него навалилось спокойствие. Даже воспоминание не могло причинить боли, — даже воспоминание о том месяце, когда антитоксин наконец был найден и трижды введен ему, но безрезультатно. Все прошлые страдания как бы ушли в тень перед тем мучением, которое причиняли ему настоящая болезнь и унижения.

«Я подожду, — говорил он себе, — когда паук уйдет, и пройду по темной прохладе, и заберусь на скалу, и затем... Да, я сделаю это. Дождусь, когда

паук уйдет, поднимусь на скалу, и на краю ее наступит конец».

Скотт тяжело, не шевелясь, спал. И ему снилось, как он и Лу идут под сентябрьским дождем и он говорит ей:

— Мне приснился страшный сон, мне снилось, что я стал крошечным, с булавку.

А она улыбнулась и, поцеловав его в щеку, сказала:

— Что за глупости тебе снятся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Грохот разбудил Скотта. Его пальцы судорожно сжались, а глаза распахнулись. И был миг полной подвешенности: в душе что-то екнуло и зависло. Взгляд был бессмысленным, лицо — бледным, с едва заметной напряженностью, рот в зарослях бороды превратился в одну линию. Внезапно Скотт все вспомнил, и трагические морщины осознанного напряжения побежали от бровей к уголкам глаз и вокруг рта. Упавшие веки погасили взгляд, руки безвольно вытянулись. И только kloкочущее горло свидетельствовало о той боли, которая была вызвана этим грохотом. Через пять минут обогреватель, щелкнув, затих, и по погребу разлилась давящая тишина. Что-то проворчав, Скотт медленно сел. Боль в голове почти угасла и только изредка вспыхивала то тут, то там, и тогда лицо его искажала гримаса. Горло у него еще болело, тело было разбито и горело, но голова, слава Богу, прошла. Потрогав лоб, он почувствовал, насколько спал жар. «Целительная сила сна», — подумал Скотт. Облизывая сухие губы, он сидел, слабо покачиваясь.

«Как я уснул? Что за сила заставила меня уснуть, когда я готов был умереть?»

Ползком Скотт добрался до края губки и свалился на пол. Боль пронзила его ноги и утихла.

«О, если бы я мог поверить в то, что мой беспомощный сон имеет какую-то цель, что это, возможно, рука благого провидения остановила меня». Но он не мог. Это малодушие не пустило его к краю пропасти, наслав на него сон. И даже желая того, Скотт не мог назвать это малодушие жаждой жизни. Ему не хотелось жить, он просто не хотел умирать.

Ему не удалось сразу поднять крышку коробки, которая, став слишком тяжелой, рассказала ему о том, что он только еще собирался проверить линейкой, — что за ночь он еще уменьшился и рост его стал две седьмых дюйма. И, выползая наружу, Скотт ободрал бок об острый картонный край коробки. Крышка придавила колено так, что ему пришлось, изогнувшись, приподнять ее руками.

Выбравшись наконец, Скотт сидел на холодном цементе, ожидая, когда голова перестанет кружиться. В желудке было пусто, как в опорожненной бутылке. Он не стал измерять свой рост: в этом не было смысла. Он медленно шел, не оглядываясь по сторонам. На подгибающихся ногах Скотт двигался к шлангу. Почему же он спал? «Нипочему!» — произнесли его потрескавшиеся от жара губы.

Было холодно. Тусклый, неприятный свет сочился через окна. Четырнадцатое марта. Еще один день. Пройдя полмили, Скотт залез на металлический край шланга и побрел по его темному туннелю, слушая шаркающее эхо шагов в сандалиях. Ноги путались в нитках арматуры, а края халата волочились, цепляясь за них. Через десять минут петляющий темный лабиринт вывел его к воде, Скотт припал к ее прохладе и начал пить. Глотать было больно, но он был благодарен воде за то, что она есть. Скотт пил, в голове его промелькнуло видение: он выносит в сад такой же вот шланг, присоединяет его к крану и играет блестящей, искрящейся струей над газоном. А

сейчас — внутри, в таком же шланге, он, маленький, в пятую часть его диаметра, склоняется над водой и прихлебывает ее капельки из ладоней величиной с крупинку соли.

Видение ушло. Скотт привык к своим размерам, они стали реальностью, они больше не поражали его. Напившись, он двинулся по шлангу обратно, на ходу вытряхивая попавшую в сандалии воду.

«Марш вперед, — думал Скотт, — марш в... ничто. Март, четырнадцатое. Через неделю на остров придет весна. Я не увижу ее».

Выйдя из шланга, он подошел к коробке и остановился, опершись на нее. Его глаза медленно двигались, обшаривая погреб.

«Ну, — думал он, — что дальше? Забраться под крышку, снова лечь и забыться в бессильном сне?» Покусывая нижнюю губу, Скотт посмотрел на скалу, которая уходила вверх, к пауку.

«Остерегается!»

Скотт стал ходить вокруг цементной приступки, выискивая кусочки печенья. Нашел один грязный. И, отряхнув его, шел и задумчиво жевал. Ну, что делать дальше? Идти спать или... Скотт остановился и замер. В глазах его блеснул огонек, губы надулись.

«Что ж, у меня есть разум, и я его использую. Разве это не моя Вселенная? Разве не я определил ее ценность и смысл? Разве не я осмыслил закономерности подвальной жизни, я — единственное здесь разумное существо?» Здорово. Он запланировал самоубийство, но что-то остановило его! Называй это как хочешь — страхом, инстинктивным желанием выжить или припиши это высшей силе, охраняющей тебя.

Что бы там ни было, но так получилось, и он жил, его существование продолжалось. Он мог еще действовать, и последнее слово оставалось за ним.

«Браво, — пробормотал Скотт. — Ты можешь разыграть роль главного героя».

Туман в голове рассеялся, словно прохладный ветер прошел по иссушенной пустыне понятий. Эта абсурдная, нелогичная мысль расправила ему плечи, сделала его движения более уверенными. Он не замечал боли. И как будто в награду сразу за цементной приступкой нашелся большой обломок печенья. Скотт почистил его и съел. Вкус был ужасен, но его это не волновало, потому что это была пища.

Так что же он решил? Он знал, но боялся оставиваться мыслью на этом. Он скорее не сам шел, а его вело к громадной картонной коробке, под топливный бак. Он знал, что это должно быть сделано, и он знал, что сделает это или погибнет. Скотт остановился перед высявшейся перед ним громадой коробки. Однажды, вспомнил он, ему удалось пробить в ней дырку ногой. Это случилось, когда разочарование и раздражение, овладевшие им, переросли в приступ злобной ярости. Так странно, что такие приступы облегчали его существование и не раз спасали от смерти. Ведь разве не из картонки ему удалось перетащить два наперстка, один из которых он поставил под бак с водой, а второй под протекающий водогрей? Разве не в ней он нашел материал для халата? Не в ней нашел нитку, с помощью которой залез на плетеный стол и добрался до печенья? Разве не в ней он сражался с пауком, обнаружив вдруг с удивлением, что у него достаточно сил, чтобы дать отпор черной семиногой гадине. Да, и все это благодаря тому, что однажды, уже очень давно, воспаленный страшным, диким желанием, он пробил ногой дыру в картонке. Какой-то миг он простоял в нерешительности, думая, что следует поискать булавку, которую он нашел в картонке, но потом потерял. Однако решил не искать: бесплодные поиски обернулись бы потерей не только времени, но и бесценных, столь необходимых ему сил. Подпрыгнув, Скотт ухватился за край и, подтянувшись, через дырку вошел в коробку. Это далось ему с трудом, и он понял, что

еще труднее будет забираться на скалу, хотя намного проще, чем бороться... Нет. Он не позволит себе думать об этом. Если его что-то и остановит, то только мысли о пауке. И Скотт перестал думать об этом, и эти мысли копошились теперь только в подсознании.

Он съехал с кучи тряпья к краю швейной коробки и упал в нее. На миг его охватил панический ужас, когда он подумал, что не сможет выбраться оттуда. Скотт вспомнил о резиновой пробке с воткнутыми в нее иглами и булавками. Он подвинет ее к краю и сможет выбраться наружу. Найдя холодную иглку, поднял ее. «Боже, — пробормотал Скотт. — Она же как гарпун, да еще из свинца». Иголлка выскользнула из рук и с шумом упала. Он с минуту стоял, и печаль была на его лице. Неужели опять неудача и он не сможет затащить иглку по гладкой скале?

«Все просто, возьми булавку», — подсказал рас-судок. Скотт довольно зажмурился. «Конечно», — согласился он и принялся в темноте искать булавку. Но невоткнутой не было. Придется выдергивать ее из резиновой пробки.

Для начала ему надо было опрокинуть эту пробку, которая была в четыре раза выше него. Стиснув зубы, он напрягся и опрокинул. Затем, развернув пробку, выдернул булавку и прикинул: «Да, получше, чем игла, тяжеловата, но сойдет».

Однако как же волочь ее? Воткнув в халат — неудобно: она будет свисать, цепляться за поверхность, тем самым мешая ему, и чего доброго поранит. А, он привяжет к концам нитку и сможет закинуть булавку за спину. Скотт огляделся в поисках нитки. Бессмысленно было искать обрывок, который он швырнул в пасть кошке, тот наверняка потерялся.

Он пилил волокна толстой, как канат, нитки острием булавки до тех пор, пока не почувствовал, что может разорвать оставшиеся волоски руками. Пыхтя и сопя в сумраке пещеры, Скотт привязал один конец нитки к головке булавки, а другой — к острию, эта

петелька скользила, но, подумав, что и так сойдет, он закинул булавку за спину и приподнялся на носках, пробуя вес. Пойдет.

Так. Это все? Он стоял не в тревоге, но в раздумье, сдвинув брови. И хотя он не отдавал себе в этом отчета, ему было приятно просчитывать все возможности. Здесь явно была какая-то связь с той теорией, что счастье без борьбы невозможно.

Этот момент был полной противоположностью безысходным, беспросветным часам прошлой ночи. Теперь у него была цель. Да, возможно, думая так, он обманывал сам себя, но благодаря этому Скотт впервые за долгое время определенно чувствовал удовольствие. Хорошо, так что же ему нужно? С голыми руками взбираться будет трудно. Он был слишком маленький, необходимо что-то придумать. Хорошо. Если это скала, значит, он скалолаз. Чем пользуются скалолазы? Ботинками с шипами. У него их нет. Альпенштоком. Тоже нет. «Кошкой». Нет.

Ха, нашел! А что, если взять еще булавку и как-нибудь изловчиться и согнуть ее крючком? Тогда, привязав к ней длинную нитку, он сможет забросить и зацепить ее в какой-нибудь трещине в садовом кресле и подняться по ней. Это будет достаточное снаряжение. Возбужденный Скотт вытащил еще одну булавку из резиновой пробки и отмотал двадцать футов нитки — по его представлению. Затем выбросил булавки и нитку из швейной коробки, вылез сам и, затащив свои находки на гору, сбросил их через дырку и спрыгнул сам.

Он двинулся к цементной приступке, волоча за собой булавки и нитку. «Теперь, — подумал Скотт, — мне не хватает воды и пищи». Он остановился, взглянув в крышку коробки, и вдруг вспомнил, что на губке еще оставалось несколько кусочков печенья. Их можно было прихватить с собой, положив за пазуху.

А как быть с водой? Лицо его прояснилось: «Губка!» Почему бы не оторвать от нее маленький кусочек и, пропитав водой из шланга, не взять с собой. Именно так, вода будет капать, даже течь, но того, что останется, ему хватит на весь подъем.

Скотт не позволял себе думать о пауке. Он не позволял себе думать о том, что у него оставалось всего два дня, что бы он ни делал. К тому же он был слишком поглощен своими маленькими победами над частными трудностями и настоящим триумфом из-за победы над отчаянием, чтобы поддаться предательской рефлексии о неизбежном конце.

Вот так вот. Булавка закинута за спину, кусочки печенья и мокрая губка за пазухой, в руках — самодельный крюк.

Через полчаса Скотт был готов. И хотя его изматывали страшные усилия, потребовавшиеся для того, чтобы согнуть булавку (он протолкнул острие под цементную приступку и поднял головку булавки высоко, насколько смог), оторвать кусок губки, сходив с ним за водой, взять печенье и отнести все это к подножию скалы, Скотт был страшно доволен. Действуя, он жил. Желание покончить с собой исчезло, и казалось странным, что мысль об этом могла прийти в голову.

Возбуждение проходило, почти исчезло, когда, задржав голову, он смотрел на высоченные вершины садовых кресел, стоящих около стены, похожей на Эверест. Сможет ли он так высоко подняться?

В раздражении Скотт опустил глаза. «Не смотри, — приказал он себе. — Смотреть на весь этот страшный путь глупо. Ты можешь думать о нем только по частям, по переходам. Первый переход — до полки, второй — до сиденья первого кресла, третий — до ручки второго кресла, четвертый... — Он стоял в самом начале пути. — Больше ни о чем не думай, — приказал себе Скотт. — Решился лезть, так что тебе еще нужно?

И он вспомнил другой подобный момент в своем прошлом. Мысли о нем побежали в его мозгу, а Скотт забросил крюк и начал восхождение.

18 дюймов

Это казалось игрушкой гиганта — сверкающей, крутящейся, невероятной. Чертово колесо, как огромная бело-оранжевая шестерня плывущее по темному октябрьскому небу. Ярκο-красные кабинки «мертвой петли» проносились по вечернему небосклону, как падающие звезды. Карусель казалась яркой, гремющей музыкальной шкатулкой, в которой вращались и вращались, бесконечно прыгая и замирая в галопе, уродливые, со страшными нарисованными глазами лошади. Крошечные автомобили, поезда, трамваи, увешанные раскрасневшимися от радостных криков детьми, мчались, как веселые жуки, по кругу, который никогда не могли разорвать. Проходы между аттракционами казались ленивыми потоками неживых людей, которые, как железные опилки к магниту, прилипали к ярмарочным зазывалам; к киоскам с дешевой пищей; к сарайчикам, в которых можно проткнуть шарик безобразной, без всякого оперения стрелкой или сбить кегли, напоминающие молочные бутылки, грязным бейсбольным мячом; к бассейнам с пестрым мозаичным дном, усыпанным мелкой монетой. От многоголосого гомона толпы воздух, казалось, пульсировал, а прожекторы разрезали небо грозными лиловыми полосами.

Когда они подъезжали, какой-то автомобиль вывернул со стоянки, и Лу, втиснув «форд» на освободившееся место и плавно затормозив, заглушила мотор.

— Мамочка, а можно я прокачусь на карусели, можно? — возбужденно спросила Бет.

— Конечно, зайчик, — ответила Лу рассеянно и оглянувшись на Скотта, который, забившись в темный угол, сидел на заднем сиденье. Яркие карнавальные огни расплескивались по его бледной щеке, глазам, напоминающим крошечные черные бусинки, по его сжато, будто нарисованному одной чертой рту.

— Ты будешь сидеть в машине? — нервно спросила Лу.

— А что же мне еще остается?

— Так будет лучше для тебя.

Теперь это была ее постоянная фраза, которую она произносила с бесконечным терпением, как будто не могла придумать ничего лучшего.

— Конечно, — согласился Скотт.

— Мама, пойдем же, — торопила Бет, явно беспокоясь, — мы опоздаем.

— Хорошо, идем. — Лу толчком открыла дверцу. — Нажми кнопку, — сказала она, и Бет, стукнув кулачком по фиксатору замка, закрыла дверцу со своей стороны и, перебравшись через сиденье, вышла в другую дверь.

— Может, тебе лучше закрыться в машине? — предложила Лу.

Скотт не отвечал, его детские ботиночки глухо стучали по сиденью. Она, вымученно улыбаясь, добавила:

— Мы недолго, — и захлопнула дверцу.

Он смотрел на ее темную фигуру. Лу повернула ключ в замке, и Скотт услышал, как, щелкнув, кнопка опустилась.

Бет в нетерпении буквально потащила мать за руку через дорогу, и они вышли на переполненную людьми ярмарочную площадь.

Какое-то время Скотт сидел, спрашивая себя, зачем он так настаивал на том, чтобы ехать с ними, хотя с самого начала знал, что ему придется остаться в машине. Причина была очевидна, но он не хотел признаться в этом себе. Он кричал на Лу, пытаясь

скрыть стыд, который испытывал: оттого, что вынудил жену уйти из бакалейной лавки, оттого, что ей пришлось оставаться дома, поскольку другую няню для Бет она не решилась нанять, и, наконец, оттого, что его поведение заставило ее написать родителям и просить у них денег, — вот почему Скотт кричал на Лу и настаивал на том, чтобы ехать с ними.

Потом он встал на сиденье и подошел к окну. Подтащив лежащую подушечку, залез на нее и прижался носом к холодному стеклу. Скотт смотрел на аттракцион мрачным, безрадостным взглядом, выискивая Лу и Бет, но они уже растворились в медленно двигающемся людском море.

Он глядел на вращающееся чертово колесо, на людей, сидящих в раскачивающихся из стороны в сторону маленьких креслах, которые крепко держались за предохранительные поручни. Скотт взглянул на мертвую петлю: ее две гигантские «руки», поднимая переворачивающиеся вниз головой кабинки, неслись, скрещиваясь, как часовые стрелки. Он смотрел и на плавно крутящуюся карусель и, вслушиваясь, едва разбирая ее гремющую, дребезжащую и скрипящую музыку. Это был другой мир.

Когда-то давно мальчик по имени Скотт Кэри сидел на другом чертовом колесе, вздрагивая от сладкого ужаса и крепко держась за поручни побелевшими ручонками. Крутя баранку, как шофер, он катался на маленьких машинках. Замирая от страха и восторга, крутился, переворачиваясь снова и снова, на мертвой петле и чувствовал, как сосиски и воздушная кукуруза, леденцы и газировка, мороженое и пирожные смешиваются в животе. И Скотт мысленно прошелся по блестящей грезе других аттракционов, наслаждаясь той жизнью, которая воздвигала на пустыре такие чудеса за одну ночь.

«Почему я должен сидеть в машине?» — спрашивал он себя. А если люди увидят его? Они примут его за потерявшегося ребенка. А дети, если они и

узнают его, что с того? Он не собирается сидеть в машине, вот и все.

Единственная проблема заключалась в том, что он не мог открыть дверцу. Было трудно и наклонить переднее сиденье, и перелезть через него. Он не смог поднять ручки дверец и все дергал их, больше и больше злясь. Наконец пнул серую, в полоску дверцу и навалился на нее плечом.

— Вот черт, — проворчал Скотт и в порыве раздражения, крутнув ручку, опустил окно. Несколько секунд посидел на его краю, беспокойно болтая ногами, которые обдувал холодный ветер. Его ботинки ритмично постукивали по металлу.

— Я все равно пойду. — Зацепившись за край, он развернулся и, медленно распрямляя руки, повис над землей. Осторожно опустил одну руку, ухватился ею за ручку с внешней стороны и прыгнул.

«Ох!» Его пальцы соскользнули с гладкого хромированного металла, и Скотт, ударившись о борт автомобиля, мешком повалился на землю. На секунду он испугался, поняв, что не сможет забраться обратно, но страх быстро прошел: Луиза скоро вернется. Скотт обогнул машину, спрыгнул на мостовую и двинулся по улице.

Он отскочил назад, когда рядом проревела машина. Она пронеслась не меньше чем в восьми футах от него, но ее шум почти оглушил его. Даже скрип песка под ее колесами отзывался в ушах небывалым грохотом. Опомнившись, Скотт быстро пересек улицу, запрыгнул на высокий, ему почти по колено, тротуар, забежал в безлюдное место за палаткой. И, перейдя на шаг, двинулся вдоль темного, волновавшегося под порывами ветра брезента, слушая шум ярмарки.

Какой-то мужчина вывернул ему навстречу из-за угла. Скотт замер, и тот прошел, не заметив его. Что вообще свойственно людям? Они хотя и смотрят вниз, но замечают только кошек и собак. Когда мужчина

повернул на дорогу, Скотт двинулся дальше, ныряя под растяжки, удерживающие палатку.

Столб бледного, пробивавшегося из-под тента света лег на дорожку и остановил его. С щекочущим нервы любопытством Скотт посмотрел на обвисавший брезент. Потом, поддавшись внезапному порыву, опустился на колени, лег грудью на холодную землю и, приподняв уголок палатки, проскользнул под него и стал смотреть.

Он увидел перед собой круп двухголовой коровы. Она стояла в засыпанном соломой, огороженном канатами стойле, уставясь на людей четырьмя блестящими глазами. Она была мертва.

Первая за последние месяцы улыбка тронула его всегда напряженное лицо. Если бы Скотт составлял список тех вещей, которые он мог бы увидеть в палатке, то где-то в самом конце он, возможно, и записал бы стоящую задом к нему мертвую двухголовую корову.

Скотт оглядел палатку. Он не мог увидеть, что творилось на другой стороне: все закрывали толпящиеся в проходе люди. А с его стороны показывали шестиногую собаку с двумя высохшими, как пеньки, ногами; корову с человеческой кожей; козу с тремя ногами и четырьмя рогами; розовую лошадь и жирную свинью, «усыновившую» тощего цыпленка. Скотт смотрел на все это сборище, и легкая улыбка дрожала на его губах. «Монстров показывают», — подумал он.

И вдруг улыбка исчезла, потому что ему пришло в голову, что на такой замечательной выставке и он мог бы занять свое место, скажем, между цыплято-любивой свиньей и мертвой двухголовой коровой. Скотт Кэри — *homo reductus* — человек уменьшающийся.

Скотт вылез обратно в ночь и поднялся, машинально отряхнув свой вельветовый комбинезончик и курточку. Ему следовало сидеть в машине, он был дураком, что вышел из нее.

Но Скотт не стал возвращаться. Он не мог заставить себя вернуться. И, устало обогнув угол палатки, увидел гуляющих людей, услышал треск падающих под ударами бейсбольных мячей кеглей, хлопки выстрелов, слабые взрывы лопающихся шариков и неприятно поразивший его погребальный скрежет карусельной музыки.

Из задней двери одного из сарайчиков вышел какой-то мужчина. Он взглянул на Скотта, который не останавливался, торопясь скрыться за другой палаткой.

— Эй, мальчик, — окликнули его.

И он бросился бежать, на ходу высматривая себе укрытие. За тентами стоял фургон, Скотт кинулся к нему, присев за большим колесом с толстыми шинами, и стал осторожно выглядывать.

В пятнадцати ярдах он обнаружил все того же мужчину, который стоял, уперев руки в бока, и оглядывался по сторонам, что-то высматривая. Спустя несколько секунд мужчина, буркнув нечто непонятное себе под нос, ушел. Скотт поднялся, чтобы выйти из-под фургона, и вдруг замер. Кто-то пел прямо над его головой. Вслушиваясь, он напряженно сдвинул брови. «Если б я тебя любил бы, — пел голос, — то все время говорил бы».

Скотт вышел из-под фургона и взглянул вверх, на светящееся, занавешенное белыми шторками окно (откуда все еще был слышен робкий и потому сладостный голос). Испытывая страшное волнение, он смотрел на окно.

Счастливые вопли девочки на «мертвой петле» прогнали его грезы. Скотт отошел от грузовика, но потом, передумав, вернулся обратно и стоял там, около него, пока песня не смолкла. Затем он медленно пошел вокруг фургона, всматриваясь в его окна. И спрашивал себя, чем очаровал его этот голос.

Разглядев наконец в потемках ступеньки, ведущие к дверце с окном, он судорожно прыгнул на первую.

Слава Богу, она была не слишком высокой. Сердце бешено заколотилось, руки вцепились в перильца, как раз у его пояса, дыхание сотрясло тщедушную грудь. Не может быть!

Чуть-чуть не дойдя до верха, Скотт остановился перед дверью, которая теперь была немножко выше его. На стекле было написано несколько слов, но их невозможно было прочесть. Вдруг он буквально кожей ощутил что-то живое, страшное, напоминающее слабые электрические разряды, — не смог удержаться и, поднявшись еще на две ступеньки, застыл перед самой дверью.

У него перехватило дыхание. Это был его мир, тот мир, где такие, как он, могли сидеть в креслах или на кушетке, не проваливаясь в них с головой; подходить к столу и брать любую вещь, а не проходить под ним, не нагибаясь; включать и выключать лампы, а не стоять беспомощно под ними, как под деревьями.

Она вышла из маленькой комнаты и увидела его.

Мышцы головы внезапно дернулись. Скотт дрожал, глупо разглядывая женщину, возглас изумления готов был вырваться из его горла.

Женщина будто приросла к полу. Одна ее рука была прижата к щеке, а глаза расширились от потрясения. Время кончилось, его не было: она смотрела на него. «Это мираж, — настаивал его рассудок, — это только мечта».

Потом женщина медленно, напряженно двинулась к двери.

Скотт отпрянул. Чуть было не соскользнул с края ступеньки, но, налетев на поручень, устоял. Когда она открыла крошечную дверь, он не без напряжения выпрямился.

— Кто вы? — испуганно прошептала женщина.

Он не мог отвести взгляд от ее нежного лица, от точеного носика и губ, от ее зеленых, как бусины, глаз, от маленьких, напоминающих розовые лепестки ушек, едва видимых сквозь чистое золото волос.

— Пожалуйста, — сказала она, придерживая запахивающийся халат тонкими, белыми, как гипс, руками.

— Меня зовут Скотт Кэри, — ответил он сорвавшимся на писк голосом.

— Скотт Кэри, — повторила красавица. Имя было незнакомо ей. — Вы... — она смешалась, — вы... как я? Теперь его уже трясло.

— Да. Да!

— О, — казалось, выдохнула она.

Они смотрели друг на друга.

— Я... я слышал, как вы пели, — проговорил Скотт.

— Да, я... — и нервная улыбка, пробежав по бледным губам, исказила их. — Пожалуйста, — робко повторила она. — Вы не хотите зайти?

Скотт без колебаний шагнул в фургон. Все было так, как будто он знал ее всю жизнь и теперь вернулся после долгого путешествия. Он прочитал слова, написанные на двери: Миссис Том Большой Палец. Скотт глядел на нее со странной, темной страстью.

Красавица закрыла дверь и повернулась к нему лицом.

— Я... я была удивлена, — произнесла она, еще плотнее запахивая свой желтый халат. — Это так странно.

— Я знаю, — кивнул он, прикусив нижнюю губу. — Я уменьшающийся человек, — выпалил Скотт, желая, чтобы она знала это.

— О, — произнесла красавица, помолчав минуту-другую.

Скотт не знал, что звучало в ее голосе — разочарование, жалость или опустошенность. Их глаза встретились.

— Меня зовут Кларисса, — сказала женщина. Их руки соединились. Скотт, казалось, не мог дышать, воздух застревал в горле.

— Что вы здесь делаете? — спросила она, освободив руку.

Он сказал:

— Я... пришел, — это было все, что он смог проговорить. И продолжал смотреть на нее, все еще не доверяя своим глазам. Стыдливый румянец побежал по ее щекам. И, глубоко вздохнув, Скотт начал успокаиваться.

— Я... я... извините. Все дело в том, что я никогда... — беспомощно повел он руками, — никогда не видел таких... Это... — и он дернул головой. — Я не могу передать вам этого.

— Я знаю, я знаю, — торопливо вступила она, пристально посмотрев на него. — Когда... — и женщина запнулась, откашливаясь. — Когда я увидела вас перед дверью, я не знала, что подумать. — Кларисса нервно засмеялась. — Я думала, что схожу с ума.

— Вы одна? — неожиданно спросил Скотт.

Она с недоумением взглянула на него и переспросила:

— Одна?

— Я имею в виду ваше... имя. Ну то, на двери, — уточнил он, не понимая, что задевает ее за живое.

Кларисса успокоилась, и лицо ее смягчилось. Она грустно улыбнулась.

— А, это мой псевдоним, — и повела маленькими круглыми плечиками. — Это только мой псевдоним.

— А, я понял, — кивнул Скотт, сляясь проглотить тяжелый сухой комок, застрявший в горле. Он был в смятении. Кончики пальцев пощипывало так, будто они отходили после сильного мороза. — Я понял, — повторил он.

И они все смотрели друг на друга, словно не могли поверить в то, что все было наяву.

— Полагаю, вы читали обо мне, — добавил Скотт.

— Да, — ответила она. — Я сочувствую...

Перебивая ее, он мотнул головой:

— Это неважно. — Дрожь пробежала по его спине. — Так хорошо, что... — Скотт замер, глядя в ее мягкие глаза, и тихо-тихо пробормотал: — Так хорошо, что...

Его руки дрожали от подавляемого желания: ему хотелось протянуть их и коснуться ее.

— Так странно было увидеть эту... комнату здесь, — говорил он, нервно пожимая плечами. — Я так привык к огромным вещам, что, когда увидел маленькие ступеньки, ведущие сюда наверх...

— Я рада, что вы поднялись, — перебила Кларисса.

— И я тоже.

Она опустила взгляд, но тут же снова подняла глаза на Скотта, как будто боялась, что он исчезнет.

— Я здесь абсолютно случайно, — объяснила Кларисса. — Обычно я не работаю вне сезона. Но владелец здешних аттракционов, мой старый приятель, оказался в затруднительном положении, и я... в общем, я рада, что я здесь.

Они, не отрываясь, смотрели друг на друга.

— Постоянное одиночество, — сказал он.

— Да, — прервала она мягко, — может, и так.

Они опять помолчали. Кларисса беспомощно улыбалась.

— Если бы я остался дома, — снова начал Скотт, — я бы не увидел вас.

— Я знаю.

Дрожь короткими волнами пробежала по его рукам.

— Кларисса.

— Да?

— У вас прелестное имя, — сказал Скотт, а страсть, сотрясая его, пыталась вырваться наружу.

— Спасибо, Скотт.

Он прикусил губу.

— Кларисса, я хотел бы...

Она пристально смотрела на него. Потом без единого слова подошла, прижалась к нему щекой и замерла. А Скотт обнял ее и прошептал:

— О, Боже...

Кларисса всхлипнула и, неожиданно обхватив его руками, прижалась к нему.

Безмолвно обнявшись, они стояли в тихой комнате, и по их прижатым друг к другу щекам бежали слезы.

— Милый, милый, милый, — ворковала она.

Скотт отклонился и заглянул в ее сверкающие глаза.

— Если б ты знала, — надрывно произнес он. — Если б ты...

— Но я знаю, — сказала Кларисса, проведя дрожащей рукой по его щеке.

— Да, конечно, ты знаешь.

Скотт целовал ее и чувствовал, как мягкие призывные губы становятся жесткими, страстными, требовательными. Он крепко прижимал ее к себе.

— О Господи, снова быть мужчиной, — шептал Скотт, — только бы снова быть мужчиной и прижимать тебя так.

— Да. Прижми меня. Я так долго ждала этого.

Через несколько минут Кларисса увлекла его на кушетку, и они, улыбаясь, сидели там, крепко обнявшись.

— Это странно, — заметила она. — Ты кажешься мне таким близким, а ведь я никогда не видела тебя раньше.

— Это потому, что мы похожи, — отвечал он, — потому, что мы одинаково жалки в этой жизни.

— Жалки?

Скотт оторвал взгляд от своих ботинок.

— Мои ноги касаются пола, — изумленно сказал Скотт и затем меланхолично улыбнулся. — Такой пустяк, но ведь это впервые за все это время, — мои ноги касаются пола, когда я сижу. Знаешь, — Скотт нервно сжал ее руки. — Да, ты должна знать.

— Ты сказал, что мы жалки? — спросила Кларисса.

Он посмотрел на ее озабоченное лицо и спросил:

— А разве не жалки? Разве мы — не сама жалость?

— Я не думаю, — страдание мелькнуло в ее глазах, — я никогда не считала себя достойной жалости.

— О, извини, я сожалею. Я не хотел. — На лице его появилось раскаяние. — Просто я стал таким желчным. Я один, Кларисса. Всегда один. С некоторых пор я стал абсолютно одинок. — Скотт бессознательно погладил ее по руке. — Вот почему я чувствую такую тягу к тебе. Вот почему я..

— Скотт!!

Они прижались друг к другу, и Скотт почувствовал, как ее сердце, словно маленькая ручка, стучится в его грудь.

— Да, ты одинок. Так одинок. Я знала других, похожих на меня — похожих на нас. Я была даже замужем. — Ее голос, затихая, переходил в шепот. — У меня должен был быть ребенок.

— О, я..

— Нет, нет, не говори ничего, — умоляла Кларисса. — Но мне было легче: я была такой всю свою жизнь, и у меня было время, чтобы привыкнуть.

Скотт удержал рвущийся наружу крик и сказал, не мог не сказать:

— Когда-нибудь даже ты станешь для меня гигантом.

— Милый! — Она прижимала его голову к своей груди, вороша ему волосы. — Как страшно смотреть на свою жену и ребенка и видеть, как с каждым днем они становятся все больше и отдаляются.

Запах, исходивший от ее тела, был чист и сладок. Скотт впитывал ее аромат, стараясь забыть обо всем, кроме нее, и слушал ее чарующий голос, наслаждаясь каждой секундой.

— Как ты сюда попал? — спросила Кларисса, и Скотт рассказал ей.

— О, а жена не испугается за тебя?

— Не гони меня, — шептал он, останавливая ее. Как бы оберегая, она прижала его еще крепче к своей упругой груди.

— Нет, нет, нет. Оставайся столько, сколько.. — Кларисса умогла. Скотт услышал, как она опять нервно сглотнула, и спросил:

— Что?

Она с минуту колебалась, потом ответила:

— Но только мне надо еще раз выступить, — она тихонько отстранилась, посмотрела на часы: — Всего десять минут.

— Нет, — отчаянно прижался он к ней.

Ее дыхание стало отрывистым.

— Если бы ты мог задержаться у меня еще хоть чуть-чуть, самую капельку.

Скотт не знал, что и сказать. Он выпрямился и посмотрел на ее напряженное лицо, тяжело вздохнул:

— Я не могу. Она будет ждать. Она будет... — его руки нервно терлись о колени и наконец замерли. — Бессмысленно, — добавил он.

Кларисса наклонилась и, прижав свои руки к его щекам, поцеловала Скотта в губы. Его руки, дрожа, побежали по ее рукам, пальцы мягко перебирали шелк халата. Она обняла его за шею.

— Она что, так испугается, если... — начала было Кларисса, но прервалась, поцеловав его в щеку. Скотт все еще не мог ответить. Она отстранилась, а он посмотрел на ее залитое румянцем лицо. Ее взгляд избегал его.

— Ты не должен, прошу тебя, ты не должен думать, что я просто непристойная женщина. Я всегда была порядочной. Я только... — Пальцы нервно побежали, плавно скользя, по складкам ее шелкового халата. — Я только чувствую, как ты говорил, сильную тягу к тебе. В конце концов, этого не было бы,

если бы мы были как все. Но мы — нас только двое таких, и в тысяче миль вокруг нам не найти таких, как мы. Понимаешь, все не так, как... — Услышав топот тяжелых ботинок по ступенькам фургона и стук в дверь, Кларисса замолчала.

Низкий голос произнес:

— Десять минут, Клэр.

Она не успела ответить, потому что говоривший уже ушел, и теперь она сидела, дрожа и глядя на дверь, и наконец обернулась к Скотту и сказала:

— Да, твоя жена будет испугана.

Вдруг его руки сжались на ее руках, а лицо стало жестким:

— Я собираюсь все рассказать ей. Я не хочу оставлять тебя. Не желаю.

Кларисса бросилась к нему. Ее горячее дыхание жгло ему щеку.

— Да, расскажи, расскажи все. Я не хочу, чтобы ей было больно, я не хочу, чтобы она испугалась, но расскажи ей. Расскажи ей, как нам хорошо. Она не сможет ответить «нет».

Она отстранилась и поднялась, тяжело дыша. Ее дрожащие пальцы, пробежав по шелку халата, растегнули пуговицы, и он, шурша, соскользнул вниз, обнажив ее плечи, цвета слоновой кости, и повис на руке. Изящное тело Клариссы тонко очерчивало светлое белье.

— Расскажи ей, — почти со злобой крикнула она и, развернувшись, бросилась в другую комнату.

Скотт встал, глядя на полуоткрытую дверь. Он слышал торопливый шелест надеваемой одежды и стоял неподвижно, пока Кларисса не вышла.

Она остановилась напротив него, лицо ее было бледно.

— Я была несправедлива. Я несправедливо поступила с тобой. — Кларисса отвела взгляд. — Мне не следовало делать того, что я сделала.

— Но ты будешь ждать, — прервал ее Скотт и, схватив руку, сжал ее так, что Кларисса поморщилась от боли. — Кларисса, ты будешь ждать меня?

Сначала она посмотрела на него, потом вскинула голову, и глаза ее опалили Скотта.

— Я буду ждать.

Он вслушивался в стук ее высоких каблучков, когда она сбегала по ступенькам фургона, потом пошел по маленькой комнате, рассматривая мебель и трогая ее, и, наконец, войдя в другую комнату и поколебавшись секунду, сел на кровать Клариссы и взял в руки ее желтый шелковый халат. Ткань была гладкая и выскальзывала из пальцев, она сохраняла аромат женского тела.

Вдруг Скотт зарылся лицом в складки халата, жадно вдыхая этот сладостный запах.

— Но почему я должен говорить с Лу? Она будет только рада избавиться от меня. Она... она будет напугана, — вслух подумал он.

С усталым вздохом отложив халат, он поднялся. Затем прошел через фургон, открыл дверь, спустился по ступенькам и двинулся по холодной, окутанной ночью земле к автостоянке.

«Я расскажу ей, — думал Скотт, — расскажу и вернусь».

Подойдя к дорожке, он увидел Лу, стоявшую у машины, и тяжелое отчаяние навалилось на него: «Как же я смогу рассказать ей об этом?» Скотт стоял в нерешительности, и только когда какие-то подростки стали выходить с ярмарочной площади, кинулся через улицу.

— Эй, смотрите, карлик! — крикнул какой-то парень.

— Скотт! — Лу подбежала к нему и без лишних слов подняла его на руки. Ее лицо казалось злым и в то же время озабоченным. Вернувшись к машине, она открыла дверцу, свободной рукой потянув ее.

— Где ты пропадал?

— Гулял, — ответил Скотт.

«Нет, — кричал его рассудок, — Расскажи, Расскажи ей». В голове мелькнуло: Кларисса, сняв халат, говорит ему: «Расскажи ей!»

— Я думаю, ты мог бы догадаться, что я почувствую, когда, вернувшись, не застаю тебя в машине, — проговорила она, толкнув переднее сиденье, чтобы Скотт мог пробраться назад, в свой угол.

Он не шелохнулся.

— Ну, залезай, — сказала Лу.

Он быстро втянул воздух и затем выдохнул:

— Нет.

— Что?

Скотт сглотнул.

— Я не собираюсь, — ответил он, стараясь не замечать пристального взгляда Бет.

— Что бы болтаешь? — спросила Лу.

— Я, — он бросил взгляд на Бет, — я хочу поговорить с тобой...

— А разговор не может подождать до дому? Бет пора в постель.

— Нет, это не может ждать.

Ему хотелось завизжать от ярости, — это вернулось старое чувство, чувство того, что он был беспомощным, нелепым уродцем. Скотт мог бы догадаться об этом, когда оставил Клариссу.

— Но я не вижу...

— Тогда оставь меня здесь, — закричал он на жену. В голосе его не было ни силы, ни решимости. Он опять становился марионеткой, снятой с ниточек, хватающейся за что попало в поисках опоры.

— Что с тобой? — спросила Лу раздраженно.

Скотт поперхнулся, пытаясь задушить подкатившие к горлу рыдания. И вдруг, резко повернувшись, бросился через дорогу. То, что случилось потом, болезненной чередой картин и звуков пронеслось в его

голове: рев надвигающейся машины, ослепительный свет фар, скрип туфель подбегающей Лу, ее железные пальцы на его слабеньком теле, резкий, такой, что голова чуть не отлетела, рывок, которым Лу выдержала его из-под колес машины, скрип тормозов и шуршание шин этой машины, с которым она нырнула в сторону, а потом вернулась на свою полосу.

— Ты что, спятил?

— Почему меня не сбила машина? — произнес Скотт голосом, полным страдания, скорби и гнева.

— Скотт! — и Лу присела, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. — Скотт, что случилось?

— Ничего, — ответил он. Но тут же выпалил: — Я хочу остаться. Я остаюсь.

— Где остаешься, Скотт?

Он раздраженно сглотнул. Почему он должен чувствовать себя дураком, ничего не значащим болваном? Если раньше такое положение казалось закономерным, неизбежным, то теперь оно стало для него абсурдным, совершенно неприемлемым.

— Где остаешься, Скотт? — еще раз спросила Лу, теряя терпение.

Скотт поднял свое окаменевшее лицо и сказал уже почти бессознательно:

— Я хочу остаться с... ней...

— С... — Лу посмотрела ему прямо в глаза. Не выдержав ее взгляда, он опустил глаза, перевел их на ее длинные толстые ноги в брюках. Скотт до боли стиснул зубы, и у него заходили желваки.

— Есть одна женщина, — сказал он, боясь поднять глаза.

Лу молчала. Скотт взглянул на нее и увидел, что глаза ее блестят в слабом свете далеко стоящего фонаря.

— Ты имеешь в виду ту лилипутку из балаганного представления?

Скотт вздрогнул. Его покорило от голоса жены, в котором прозвучали брезгливость и отвращение. Нервно выдвинув вперед нижнюю челюсть и проведя языком по верхней губе, он добавил:

— Она очень добрая и чуткая. Я хочу остаться с ней на какое-то время.

— То есть на ночь?!

Скотт резко вжал шею в плечи:

— Как ты можешь... — в его глазах вспыхнул гнев. — Ты говоришь так, словно...

Но сдержался и, глядя вниз, на туфли жены, стал говорить, отчетливо произнося каждое слово:

— Я останусь с ней. Если хочешь, можешь за мной больше не приезжать. Можешь избавиться от меня, а я уж как-нибудь проживу.

— Боже, хватает тебе...

— Лу, это не просто слова. Говорю тебе, как перед Богом, это не просто слова.

Лу ничего не отвечала, и Скотт, взглянув на нее, увидел, что она пристально смотрит на него и что в глазах у нее застыло какое-то странное выражение.

— Ты не знаешь, ты просто ничего не знаешь. Ты думаешь, что это что-то... отвратительное, животное. Но нет, ты не права. Это много больше. Неужели ты не понимаешь? Неужели ты не видишь, что мы с тобой теперь слишком разные, между нами — пропасть. Но если ты можешь найти себе что-нибудь на стороне, то для меня это невозможно. Мы никогда не говорили с тобой об этом, но я полагаю, что когда со мной будет покончено, — а именно этим все и закончится, — ты выйдешь замуж за кого-нибудь другого. Лу, неужели ты не видишь, что мне в этом мире осталось слишком мало. Просто — ничего. Что меня ожидает? Исчезновение. И я буду все так же уменьшаться каждый день, а мое одиночество будет становиться все острее. Ни один человек на свете не смог бы понять меня. И однажды я потеряю и эту женщину. Но сейчас — сейчас, Лу, она для меня женщина, к

которой я чувствую нежность и любовь. Да, любовь. Что кривить душой, я ничего не могу с собой поделывать. Пусть я мерзкий уродец, но и мне нужна любовь и, — Скотт торопливо и хрипло вздохнул, — только на одну ночь. Большого я не прошу. Отпусти меня на одну ночь. Если бы на моем месте была ты и у тебя была бы возможность хотя бы на одну ночь обрести покой, я, поверь мне, не стал бы тебе мешать. — Скотт опустил глаза. — Она живет в фургоне. Там есть мебель, удобная для меня. — Он приподнял взгляд. — Я могу посидеть в кресле так, будто я нормальный человек, а не... — Он вздохнул и добавил: — Хотя бы только это, Лу, только это.

Наконец Скотт решился посмотреть Лу в лицо. Но лишь когда мимо проехала машина, осветив фарами лицо жены, он увидел на ее щеках слезы.

— Лу!

Она не отозвалась. Вздрагивая от душивших ее рыданий, Лу впилась зубами в свой кулак. Затем глубоко вздохнула и смахнула с глаз слезы. А Скотт, онемев от потрясения, стоял и глядел на нее, не отрываясь, хотя у него уже давно от неудобной позы затекла шея.

— Ладно, Скотт. Бессмысленно и жестоко держать тебя. Ты прав. Я бессильна что-либо сделать для тебя.

Лу тяжело вздохнула.

— Я заеду за тобой утром, — выдавила она и бросилась к дверце машины.

Не шевелясь, Скотт стоял на ветру. Потом он побежал через дорогу, чувствуя в душе боль и пустоту. «Не надо было делать этого. Как я раскаиваюсь в этом».

Но, увидев снова фургон, свет в окне и легкие ступеньки, которые вели к ней, Скотт ощутил прилив страсти. Он вступал в другой мир, оставляя в мире старом и ветхом все свои печали.

— Кларисса, — прошептал Скотт.

И бросился в ее объятия.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Скотт сидел на одной из широких перекладин садового кресла, стоявшего в самом низу, прислонившись к толстому, как дерево, подлокотнику, и жевал кусочек печенья. Он выжал из губки несколько капель воды только один раз — на середине первого этапа подъема. Рядом с ним лежала свернутая как лассо нитка с крюком, сделанным из булавки, и длинное, блестящее копьё, тоже из булавки.

Медленно, как бы по каплям, усталость оставляла отдыхавшее тело. Скотт наклонился и растер правое колено, которое от напряжения опять припухло, потому что, забираясь по нитке, он ударился о ножку кресла. Grimаса боли исказила лицо. Но Скотт надеялся, что хуже не будет.

В погребе было тихо. Масляный обогреватель за последний час ни разу не заревел: наверное, было тепло не по-весеннему. Он взглянул на окно над топливным баком. Оно показалось Скотту блестящим квадратом. Закрыв глаза, Скотт думал: «Почему не слышно Бет во дворе? Водяной насос давно не работал. Наверное, Лу и Бет нет дома? Куда они могли пойти?»

Что-то неприятное поднималось в груди, и Скотт, вовремя сообразив, заставил себя прогнать навалившиеся на него мысли о солнце, об улице, жене и ребенке. Все это ушло из его жизни. И только глупый мужчина думает о том, что к нему никак не относится.

Да, он еще был мужчиной. Хоть роста в нем оставалось две седьмых дюйма, он все еще был мужчиной.

Скотт вспоминал ту ночь, которую провел с Клариссой, и как тогда к нему пришла та же мысль: «Я все еще мужчина».

— Тебя не надо жалеть, — шептала она, касаясь пальцами его груди, — ты же мужчина.

Это был решительный момент.

Чувствуя ее горячее дыхание на своем плече, он почти всю ночь пролежал без сна, боясь разбудить ее и думая о том, что она сказала.

Да, он все-таки мужчина. Пригибаясь все ниже и ниже к земле под бременем своего недуга, чувствуя, что для Лу он уже не муж, переживая постоянные неудачи, он забывал об этом. Как будто, сжимаясь, его тело заставило сжаться и его дух, сделало его не мужчиной. Для того чтобы убедиться, что это не просто самокопание, достаточно было подойти к зеркалу.

Но все-таки в этом не было еще всей правды, потому что мужчиной он был или не был только в отношении к кому-то: сейчас, лежа в кровати по росту, он обнимал женщину и, значит, был мужчиной. И, следовательно, размеры ничего не меняют, ведь у него есть разум — он еще личность.

Утром, когда мягкий желтый солнечный свет заиграл на их ногах, Скотт, чувствуя приятное тепло ее тела, рассказывал Клариссе обо всем, что передумал за ночь:

— Я не собираюсь бороться. Но и сдаваться не намерен, — быстро добавил он, увидев ее недоуменный взгляд, и пояснил: — Я не собираюсь бороться с тем, что не могу победить. Я неизлечим. И я теперь спокойно говорю об этом, и это моя победа. Раньше я боялся признаться себе в том, что я неизлечим. Так боялся, что однажды сбежал от врачей и убедил себя в том, что обследование мне не по карману. А на самом деле, и я теперь понял это, меня пугал его вероятный страшный результат.

Чувствуя пристальный взгляд Клариссы и тепло ее маленькой руки на своей груди, он лежал, уставившись в потолок.

— Да, я принимаю это, — проговорил он. — Я принимаю это и не собираюсь больше жаловаться на судьбу. Я не хочу уходить из мира, затаив злобу, —

и, неожиданно повернувшись к ней, возбужденно спросил: — Ты знаешь, что я решил?

— Что, милый?

На его лице мелькнула почти детская улыбка:

— Я опишу это. Я буду писать, пока смогу. Я расскажу обо всем, что происходило, происходит и будет происходить со мной, ведь это удивительно, и я покажу это. В этом не только проклятье — в этом уникальность. Я изучу это. Разгадаю все, что смогу разгадать. Это будет моя жизнь и моя борьба. Я не собираюсь дрожать. Я больше никогда не буду бояться.

Скотт дожевал печенье и открыл глаза. Достал из халата губку и выдавил в рот несколько капель воды. Вода была теплая и солоноватая, но приятно смягчала его сухое горло. Он сунул губку за пазуху: впереди было еще долгое восхождение.

Посмотрев на свой самодельный крюк, Скотт заметил, что тот чуть разогнулся под тяжестью его тела. Он погладил блестящую поверхность крюка и подумал, что сможет, если понадобится, снова загнуть его.

Послышавшийся наверху, над головой, шум заставил его вздрогнуть и задрать голову. Это было мрачным напоминанием о поджидавшей его наверху опасности. Скотта передернуло, и ироничная улыбка тронула его губы.

«Я больше никогда не буду бояться». Эти слова, казалось, издевались над ним. «Если бы я знал, — подумал Скотт. — Если бы я знал о тех леденящих кровь мгновениях, которые ожидают меня, я ни за что бы не произнес эти слова. И только счастливое неведение давало мне силы следовать им».

И он следовал им: ничего не говоря Лу, каждый день, захватив с собой маленький карандашик и толстую общую тетрадь, спускался в сырую прохладу

погребя, садился там и писал до тех пор, пока рука могла держать карандаш. В нетерпении, смешанном с отчаянием, Скотт растирал руку, казалось, пытаясь влить в нее силы, необходимые для работы. Потому что голова его с каждым днем все быстрее и быстрее, как неуправляемая, идущая вразнос электростанция, выдавала нескончаемый поток воспоминаний и размышлений. Не запиши он их на бумагу, они вылетели бы из головы и потерялись. Скотт писал так упорно, что в несколько недель добрался до последнего, сегодняшнего дня.

Потом он начал перепечатывать это, медленно, старательно ударяя по клавишам пишущей машинки, из-за которой ему пришлось обо всем рассказать Лу. Скотт не мог ей соврать, потому что машинка напрокат стоила дорого, а денег у них было маловато для пустой забавы. Лу не пришла в восторг, но машинку и бумагу все же дала. А дни текли.

Когда он написал письмо в журналы и книжные издательства, то почувствовал ее интерес, а когда почти сразу же в ответ полетели письма с выгодными предложениями, она внезапно поняла, что Скотт, несмотря ни на что, стремится обеспечить ей безбедное будущее, на которое она уже не питала никаких надежд.

В одно славное утро, получив первый чек за свою рукопись и сидя рядом с Лу в гостиной, Скотт слушал, как она рассказывает, что столько дней была совершенно безразлична к миру, и как ей жаль, что она так себя вела, хотя это ей и помогало. Лу сказала, что гордится им, и, взяв его маленькую ручку в свою, добавила:

— Скотт, ты все еще тот мужчина, за которого я выходила замуж.

Скотт встал. Довольно о прошлом. Он должен идти дальше: до верха еще далеко.

Подняв булавку-копье, он забросил его за спину — от лишней тяжести больная нога подогнулась и колени запылало. Скотт скривился. «Ерунда», — стиснув зубы, он поднял самодельный крюк и огляделся.

От ручки кресла его отделяло приблизительно пятьдесят футов пустоты, и это делало невозможным подъем в этом месте. Ему придется забираться по спинке, пользуясь почти тем же методом, каким он поднимался к сиденью.

А делал он это так: закинув крюк на низкую, отлого поднимающуюся к сиденью полку, он залез на нее и пошел по ней, перелезая при помощи крюка через встречавшиеся перекладки, — это было нетрудно. И единственным препятствием на его пути был короткий, но сложный, почти вертикальный участок — от полки до ножки к сиденью. И вот он здесь.

Что ж, ничего не поделаешь, и теперь для того, чтобы подняться выше, ему придется чуть-чуть спуститься. И он направился вниз по склону сиденья к спинке кресла. И хотя расстояния между перекладками здесь были шире, чем на полке, казалось, это просто.

Скотт подошел к первому проему и, раскрутив нитку, бросил крюк через него. Нитка тяжело упала, и крюк, зазвенев, вонзился в дерево.

Грохот масляного обогревателя застал его врасплох. Скотт вздрогнул от неожиданности и скривил губы. Зажав как можно плотнее уши руками, он стоял с закрытыми глазами, сотрясаемый грохочущими волнами звука.

Когда обогреватель наконец выключился, Скотт стоял, обмякнув, бездумно глядя вперед. Но быстро пришел в себя, помотав головой, и, разбежавшись, прыгнул через пустоту на следующую перекладку. Это было не так просто, как казалось. Скотт едва допрыгнул до нее. А боль, которая пронзила больную ногу при приземлении, исказила его лицо, и он со стоном почти сел.

— Боже мой, — пробормотал Скотт. — Лучше так не делать.

Через минуту он поднялся и, ковыляя, пошел к следующему проему, волоча за собой нитку. Подойдя, Скотт забросил нитку на следующую перекладину. Осторожно снял булавку-копье, чтобы, перебросив его, прыгать без лишнего веса. Он попробует приземлиться на здоровую ногу.

Брошенное копье просвистело через проем и воткнулось в оранжевую древесину, но тяжелая головка булавки, по инерции пролетев дальше, вывернула ее острие. И, когда Скотт отошел для разбега назад, он увидел, как его копье катится по склону перекладины.

«Оно сейчас свалится!»

Слома голову он разбежался и прыгнул, и, конечно, приземлился опять на поврежденную ногу. Лицо его сморщилось от боли, но он не остановился: булавка-копье, набирая скорость, катилась к следующему проему. Теряя сандалии, Скотт бросился за ней, не обратив внимания на то, как в босую ногу впилась заноза. Он летел, стараясь догнать булавку. Не раздумывая, нырнул за ней, когда она уже переваливалась через край перекладины. Колено взорвалось болью. Скотт едва не сорвался вниз, а булавка уже падала. Соскальзывая острием вниз, она вонзилась в другую перекладину. Ее головка застыла перед растянувшимся Скоттом. Хватая ртом воздух, он вытащил ее, воткнул в дерево рядом с собой, как в песок, и, поджав ногу и стиснув от боли зубы, сжал огрубевшую желтую кожу ступни и вытащил большую, как щепка, занозу. Из ранки выступила кровь. Скотт со злостью выдавил несколько капель. «Я не буду бояться, я никогда больше не буду бояться. Решено».

Он хотел растереть колено, но, охнув, отдернул руку. Оказалось, что она была разодрана при паде-

нии. Взглянув на нее, тяжело вздохнул и вдруг почувствовал, что теплые струйки воды бегут по его груди, складкам живота.

«Губка». Упав, он сдавил ее.

«Ерунда, — закрыв глаза, подумал Скотт. — Все нормально.

Оторвав от края халата тряпицу, он забинтовал руку. «Уже лучше, — и, кусая губы, чтоб не чувствовать боли, он решительно растер колено. — Вот так-то лучше, много лучше».

Осторожно прихрамывая, Скотт подошел к сандали, надел ее, завязал еще несколько узлов, чтобы она больше не сваливалась. Потом вернулся к нитке, лежащей кольцами, и отнес ее к краю перекладки. На этот раз он привязал копье к ней. Теперь, когда он бросит копье, оно уже не покатится вниз, и к тому же не надо будет специально перебрасывать нитку.

Так и получилось. Он перепрыгнул вслед за копьем, приземлился на здоровую ногу и подтянул крюк за нитку. Да, так гораздо лучше. И надо-то было чуть-чуть подумать. И таким образом Скотт перебрался через все сиденье к спинке.

Присев отдохнуть, он посмотрел на ее почти отвесную стену и увидел торчащие высоко над собой крокетные воротца. «Они тоже могут пригодиться».

Отдышавшись, Скотт выдавил в рот несколько капель воды из губки и встал, готовясь к следующему этапу восхождения — к ручке верхнего кресла.

Вряд ли это будет трудно: спинка из трех широких досок скрепляется тремя перекладками, — надо забросить крюк на первую, подняться по нитке, забросить на вторую, потом на третью...

Скотт начал забрасывать крюк. Четвертая попытка оказалась удачной, и, закинув копье за спину, он полез.

Час спустя, уже на верхней перекладке, Скотт обнаружил, что крюк почти разогнулся, и все-таки забросил его на ручку кресла, поставленного вверх

нитку и копые. Вытащив из-за пазухи губку и последний кусочек печенья, начал жадно пить и есть. Ноги расслабленно вытянулись. Воды в губке оставалось немного, но это Скотта не волновало. Он скоро будет наверху. И если без происшествий доберется до хлеба, то легко спустится вниз. Если же нет — то ему не нужны будут ни вода, ни еда.

Подошвы сандалий коснулись верхнего края скалы. Подергав за нитку, Скотт освободил крюк и, когда тот, кувыркаясь, стал падать вниз, удержал его и рывками втащил наверх. И тут же бросился за стеклянное основание огромной, похожей на колокол электрической пробки. Обежав его, замер, тяжело дыша, вглядываясь через край в широко раскинувшуюся сумеречную пустыню.

В бледных лучах света, пробивавшихся через пыльное окно, он видел огромные трубы и выющиеся над головой провода, подвешенные к балкам; громадные щепки, камни и картонки, разбросанные по пескам; слева — высыхающие громады склянок и жестянок из-под краски; прямо перед собой — убегающие вдаль, насколько хватало глаз, цепи барханов.

В двухстах ярдах от него лежал ломоть хлеба.

Облизнув губы, Скотт бросился было бежать по песку, но, резко отпрянув назад, стал озиаться. «Где же гадина?» Он начинал уже нервничать от неопределенности.

Тишина, безмолвие. Лучи света, падая под углом, напоминали светящийся столб, который кто-то прислонил к окну и казавшийся живым от постоянного движения пылинок. Громадные щепки, камни, бетонные балки, провода и трубы, жестянки из-под краски, склянки, барханы — все замерло, будто в ожидании. Скотт вздрогнул и перекинул копые на грудь. Он почувствовал себя уверенно, держа в руках упиравшуюся головкой в цемент булавку-копые с острым, как бритва, концом, дрожавшим чуть выше его головы.

— Ну, — пробормотал Скотт, сглотнул пересохшим от волнения горлом и пошел через пески.

Крюк волочился по песку, и он бросил его. «Он мне не пригодится, — подумал Скотт, — оставлю его здесь». Но, пройдя несколько шагов, остановился. «Все-таки не хочется его оставлять. Ничего, конечно, с ним не случится, и все же — вдруг пригодится? Без него, как без рук».

Осторожно, оглядываясь через плечо, Скотт пошел назад и, подойдя к крюку, суетливо наклонился и поднял его. Если паук бросится сзади, он быстро бросит крюк и схватит обеими руками копые.

— Не дергайся, еще ничего не случилось.

Скотт снова двинулся через пески. Шел медленно и осторожно, беспокойно озираясь по сторонам. Он ничего не мог поделать с ней, с этой ниткой, — наоборот, это она делала все: шурша по песку, зарываясь в песок, она мешала ему и напоминала своим шорохом о па...

Скотт остановился и испуганно обернулся.

— Никого, хватит дергаться, — приказал он себе и неторопливо осмотрелся. Сердце медленно, как молот, билось о ребра. — Нет, никого!

Только тени, тишина и застывшие, как бы в ожидании, предметы.

В ожидании? В ожидании, потому что все было вкривь и вкось: вздернуто, наклонено, подвешено. Каждая линия, казалось, беспокойно текла. «Что-то должно случиться. Я предчувствую. Сама тишина, кажется, нашептывает это».

Что-то должно случиться.

Скотт воткнул копые в песок и начал сматывать нитку в лассо, чтобы можно было нести ее на плече, не вслушиваясь в предательское шуршание за спиной. Сматывая темную нитку, с которой постоянно осыпался песок, он беспокойно озираясь.

Услышав подозрительный шорох, Скотт выпустил лассо и, выхватив копые из песка, выставил его перед

собой. Мышцы рук и плеч дрожали от напряжения, ноги упирались в песок, широко раскрытые глаза сверлили сумрак пустыни. Дрожащее дыхание срывалось с его губ. Он стоял, настороженно вслушиваясь.

Может, это дом оседает? Может...

Щелчок, хлопок и волна рева.

С глухим вскриком Скотт развернулся, вглядываясь в темноту полными ужаса глазами, и почти сразу понял — масляный обогреватель. И, бросив копьё, зажал дрожащими руками уши.

Через две минуты, клацнув, обогреватель выключился, и тишина упала на залитую тенями пустыню.

Смотав нитку, повесив ее тяжелые кольца на плечо и взяв в руки копьё, Скотт двинулся дальше, все еще беспокойно озираясь. «Где эта гадина? Где она прячется?»

Подойдя к ближайшей щепке, он остановился и, скинув нитку, выставил вперед копьё. Эта гадина может прятаться за любой щепкой. Скотт облизнул сухие губы и, пригнувшись, двинулся вперед. Чем дальше он углублялся в дюны, тем чернее становился сумрак. «Она может быть за щепкой. Что, если гадина там?»

Вдруг он задрал голову, его неожиданно осенило, что, возможно, тварь спускается на него сверху по невидимой паутине.

Стиснув стучащие зубы, Скотт опустил голову. От страха под ложечкой холодело и посасывало. «А что, черт побери! Я не собираюсь стоять здесь, как паралитик». Решительно, хотя и на дрожащих ногах, он подошел к концу щепки и заглянул за нее. Никого.

Вздохая, Скотт вернулся к нитке и поднял ее. «Ну и тяжесть! Надо было ее оставить. Что с ней случилось бы?» Он постоял в нерешительности, а затем к нему пришла светлая мысль, что крюк нужен для того, чтобы подтянуть ломоть хлеба к краю скалы. Согласившись с этим, Скотт поднял тяжелое лассо на плечо. Он был рад тому, что придумал. Теперь у

него была веская причина тащить нитку. Какой бы тяжелой она ни казалась, бросать ее уже не хотелось.

И каждый раз, подходя к щепке, валуну, куску картона, кирпичу, куче песка, Скотт вынужден был выполнять одну и ту же щекочущую нервы процедуру: скидывать лассо, подкрадываться, выставив вперед копые, и убеждаться в очередной раз, что паука нет. И каждый раз после этого облегчение — временное — ватой заполняло его, тело становилось вялым, копые утыкалось в песок, и он возвращался к нитке, крюку и затем шел к следующему препятствию. Временным облегчение было потому, что каждая удача была на самом деле только отсрочкой.

Когда Скотт наконец добрался до хлеба, есть ему уже не хотелось.

Он стоял перед возвышавшимся перед ним белым кубом, как ребенок перед многоэтажным домом. Ему раньше не приходило в голову, как он потащит ломоть к краю.

«Ерунда, — мелькнуло смутно. — Мне совсем не пужно так много на один день».

Скотт осторожно огляделся, но никого не увидел. «А может, паук все-таки сдох?» Он не мог в это поверить, хотя, впрочем, если бы гадина была жива, она бы уже выдала себя. Раньше эта тварь чувствовала его присутствие. Она, наверное, помнила его и, возможно, ненавидела. Но он-то точно ненавидел ее.

Скотт воткнул копые в песок и отломил твердый кусок хлеба, вгрызся и начал жевать. «Вкусно». Через несколько мгновений аппетит вернулся к нему, а спустя еще минуты он, казалось, готов был съесть все разом. Хотя осторожность не покинула его, Скотт поймал себя на том, что отламывает кусок за куском и жадно грызет белые хрустящие крошки. Раньше как-то не приходило в голову, как ему не хватало хлеба. Печенье — это совсем не то.

Наевшись, как не наедался уже давно, он запил хлеб водой и, подержав в нерешительности губку,

отбросил ее. Она свое сделала! Затем поднял копые и отколол им кусок в два раза больше себя самого. «Слишком много», — вмешался рассудок. Скотт не обратил на это внимания.

Он воткнул крюк в кусок хлеба и потащил его медленно к обрыву, оставляя в песке глубокую борозду. У края скалы вытащил крюк и, подталкивая сзади свою добычу, сбросил ее вниз.

Кусок полетел, и мелкие крошки закружились снежинками вокруг него. Ударившись об пол, он раскололся на три части, которые, попрыгав, прокатились по полу и замерли. «Так. Ну вот». Он совершил трудное восхождение, добыл хлеб. Дело было сделано.

Скотт стоял, оглядывая пустыню.

Но если все так хорошо, почему он все еще напряжен? Почему не отпускает неприятное ощущение под ложечкой? Он в безопасности. Паука нигде нет: ни за щепками, ни за камнями, ни за кусками картона, ни за склянками-жестянками. Он в безопасности.

Почему же тогда не спуститься вниз?

Скотт стоял неподвижно и смотрел на сумрачную бескрайнюю пустыню, а его сердце билось все быстрее, как будто собиралось вымучить для него правду, посылая удары по позвоночнику вверх — к мозгу, как бы пытаясь достучаться в его двери, пробить его стены и сказать: ты сделал только полдела — добыл хлеб, теперь надо убить паука.

Копье выскользнуло из рук и зазвенело по цементу. А Скотт стоял, дрожа от возбуждения: он знал, чем вызвано его напряжение, знал точно, что должно было произойти — что должно было сделать.

Скованным движением Скотт поднял копые и пошел в пески. Через несколько ярдов ноги его подломились и он тяжело сел, подогнув их под себя. Копье скатилось по коленям, а Скотт все сидел так, держа его руками и глядя на безмолвные пески неверящим взглядом.

Он ждал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Жизнь в кукольном домике» — так называлась одна из глав его книги, последняя глава. Дописывая ее, Скотт понял, что не сможет больше писать: самый маленький карандашик становился в его крошечных ручках бейсбольной битой; и он решил перейти на магнитофон, но, прежде чем получил его, голос его так ослаб, что и это стало уже невозможным.

Но это было позже. А когда Лу однажды вошла в комнату, держа в руках громадный игрушечный дом, в Скотте было еще десять дюймов роста. Он отдыхал на подушечке — под кушеткой, чтобы Бет случайно не наступила на него. Скотт увидел, как Лу поставила домик на пол, и, выбравшись наружу, поднялся. Она опустилась на колени и наклонилась, приставив ухо к его рту.

— Зачем ты принесла это? — спросил он.

Лу ответила очень тихо, чтобы звук ее голоса не повредил его барабанные перепонки:

— Я думала, он тебе понравится.

Скотт собирался сказать, что ему этот домик совсем не нравится, но, взглянув на ее профиль, ответил:

— Очень милый.

Это был игрушечный домик высшего класса. Они могли позволить себе эту роскошь теперь, когда его книга издавалась и переиздавалась.

Он подошел к игрушке и поднялся на крыльцо. Странное чувство охватило его, когда его руки легли на сделанные под железо перильца: странное чувство, как тогда, в ту ночь, на ступеньках фургона Клариссы.

Толкнув дверь, Скотт вошел в дом и закрыл ее за собой. Первой комнатой была просторная гостиная. Кроме легких занавесок, в ней ничего не было. Игрушечный камин, паркетный пол, окна, широкие подоконники, подсвечники, — приятная комната, за исключением одной вещи: одной стены не было. И через

эту отсутствующую стену он увидел наблюдавшую за ним с мягкой улыбкой Лу.

— Нравится тебе?

Скотт прошел через комнату и, остановившись там, где следовало бы быть стене, спросил:

— А мебель?

— Она в... — начала было Лу, но, заметив, что он вздрогнул от грома ее голоса, добавила очень тихо: — Она в машине.

— Да, — и Скотт вернулся в комнату.

— Я сейчас принесу. А ты осмотри дом. — Лу пошла, ее тяжелые шаги сотрясали пол настоящей, большой гостиной. Потом хлопнула настоящая входная дверь, и он пошел осматривать свой игрушечный домик.

К полудню вся мебель была расставлена, и Скотт попросил Лу придвинуть его дом к стене за кушеткой, чтоб в нем было безопасно и стало как бы четыре стены. Бет строго-настрого было запрещено подходить к домику, но иногда конка подбиралась к нему, а это было опасно.

Скотт также попросил Лу протянуть в свой домик провод, чтобы можно было подключить маленькую лампочку с елочной гирлянды. При всем своем энтузиазме Лу забыла про необходимое ему освещение. А ему еще очень хотелось, чтобы в его домике был и водопровод, но это было, конечно, невозможно.

Скотт переехал в игрушечный домик, где явно не хватало комфорта, ведь куклы в нем не нуждаются. Креслица, даже в гостиной, были с прямыми спинками и очень неудобные: не хватало мягких сидений. На кровати не было ни сетки, ни матраса. И Лу сшила из лоскута материи матрасик, набив в него немножко ваты, чтобы Скотт мог спать на жесткой кровати.

Жизнь в кукольном домике не была настоящей жизнью: можно было сколько угодно сидеть за сияющим пианино, желая поиграть, но пальцы переби-

рали только нарисованную клавиатуру пустого ящика; можно было пойти на кухню и в поисках завтрака дергать ручку холодильника, сделанного из цельного куска пластмассы, поворачивать без всякого толку ручки на плите, потому что и вечности не хватило бы, чтоб вскипятить на ней кастрюльку воды; можно было до посинения крутить водопроводные краны, ожидая, что чудесным образом из них вдруг что-нибудь потечет; класть одежду в крошечную стиральную машину и доставать ее оттуда точно такой же сухой и грязной; можно было даже положить настоящие деревянные щепочки в камин и зажечь их, но тогда пришлось бы спастись от дыма, потому что настоящего дымохода тоже не было.

И наступила ночь, когда ему пришлось снять обручальное кольцо, которое он носил на веревочке, надетой на шею. Оно стало очень тяжелым, как громадный золотой обруч. Скотт отнес его наверх, в спальню, и положил в нижний ящик комода.

Сидя на краешке кровати и глядя на бюро с ящичками, он думал о кольце, думал о том, что оно было тем корнем, который все эти месяцы связывал его с семьей и который теперь был вырван наконец и лежал мертвый в ящичке маленького комодика. Его брак, таким образом, был формально расторгнут.

В тот день Бет принесла ему куклу и оставила ее на крыльце домика. Сначала Скотт упорно не замечал подарка, но потом, не удержавшись, сошел вниз к кукле, сидевшей на верхней ступеньке крыльца в легком костюмчике голубого цвета.

— Что, озябла? — спросил он, беря ее в руки. Кукла ничего не смогла ответить.

Он отнес ее наверх и положил на кровать. Кукольные глазки захлопнулись.

— Нет, нет, не засыпай, — запротестовал Скотт и усадил куклу, согнув ее в том месте, где длинные, жесткие, негнущиеся ноги присоединялись к тулови-

шу. — Вот так. — Она сидела, тараща на него свои раскрашенные глаза.

— Какой на тебе милый летний костюмчик, — сказал Скотт и, протянув руку, откинул назад ее льняные волосы. — Кто же сделал твои волосы? — А кукла не отвечала и все так же сидела в одном положении, с раздвинутыми ногами и приподнятыми руками, словно застыв в нерешительности перед объятием.

Ткнув пальцем в ее твердую маленькую грудь и нечаянно сдернув лифчик, он спросил ее с неподдельным удивлением и даже чуть-чуть строго:

— А зачем это ты носишь лифчик?

Кукла отрешенно глядела на него своими стеклянными глазами.

— Ресницы из целлулоида, ушей нет; плоская, как доска, — заметил он совсем уж бестактно. А она все глядела.

Позже, извинившись перед своей новой подружкой за грубое поведение, Скотт рассказал ей историю своей жизни. В полумраке спальни она терпеливо внимала его рассказу, как и прежде, тараща свои голубые стеклянные глаза и сладострастно поджимая свои безжизненные губки, как бы в предвкушении несбыточного поцелуя.

Поздно вечером он уложил куклу на кровати и вытянулся рядом с ней. Она тут же заснула. Скотт повернул ее на бок, и голубые глазки, со щелчком открывшись, уставились на него.

— Спи, — прошептал он, обвив вокруг нее руку и прижавшись к ее прохладной, как бы гипсовой ноге. Бедро куклы больно упиралось ему в живот. И Скотт перевернул ее на другой бок и, снова прижавшись к ней, обнял за талию.

В полночь он вскочил как ужаленный и непонимающим взглядом уставился на чью-то гладкую голую спину, лежащую рядом с ним, на желтые волосы,

завязанные в хвостик красной ленточкой. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди.

— Кто ты? — шепотом спросил Скотт и, не дождавшись ответа, дотронулся до твердого холодного тела. Вспомнил.

Рыдания сотрясли его грудь. «Почему ты не настоящая?» — спрашивал он, а соседка безучастно молчала. Скотт зарылся лицом в ее мягкие льняные волосы и, крепко сжав ее в объятиях, вскоре уснул.

Сидя на холодном песке, он бессмысленно глядел на руку куклы, торчащую из громадной картонной коробки. Это она навевала на него воспоминания.

Скотт моргнул и огляделся. Как давно все это было? Уже и не вспомнить. Много важнее знать, как долго он тут грезил. Но как узнать это? Луч света все еще пробивается через окно.

Он опять заморгал и огляделся.

Больше нельзя сидеть в бездействии. Если начнет темнеть, ему уже ни за что.. И мысли смешались.

Вот, вот о н о — каких еще искать доказательств? Достаточно того, что он не смог закончить эту мысль. В темноте ему ни за что не убить паука, у него не будет ни единого шанса на победу. Вот о чем он думал. Но почему же рассудок не смог завершить мысль? Да потому, что она вселяла в него ужас. Почему же тогда он не уходит? А к чему? Ему надо все обдумать, во всем разобраться. Пусть будет так. Держа копые в побелевших от напряжения руках, Скотт поджал губы.

Так или иначе, паук стал для него неким символом: символом чего-то ненавистного, с чем ему никогда уже не смириться. А поскольку он обречен, то почему бы ему не попробовать сразиться с этим чем-то?

Нет, все не так просто. В этом есть еще что-то. Возможно, неверие в то, что завтра он исчезнет. Но

разве не так же думают о смерти? Какой нормальный человек будет думать всерьез о смерти? Нормальный? А что значит «нормальный»? И Скотт закрыл глаза.

Чуть позже он торопливо встал, и в виски ему ударила кровь. Завтрашнее исчезновение не имеет к этому никакого отношения, а если и имеет, то он закроет на это глаза. Он живет настоящим моментом. И в настоящий момент решает, что если и умрет, то только вместе с пауком. На этом Скотт и порешил, пресытившись раздумьями.

Очнувшись от задумчивости, он почувствовал, что идет по песку на деревянных от усталости и напряжения ногах. «Куда ты идешь? — пронеслось в голове. Ответ был только один: «Иду на паука и...»

Скотт застыл на месте. Шуршание сандалий по песку затихло. «И что дальше?»

Скотт вздрогнул. Что он может сделать? С чем он выйдет против семиногого гигантского паука, который больше его в четыре раза? На что годится его маленькая булавка?

Не шевелясь, он глядел на безмолвную, будто вымершую пустыню. Ему нужен четкий план действий, и чем быстрее, тем лучше. Опять хочется пить. Нельзя терять ни секунды.

«Хорошо, — подумал Скотт, пытаюсь совладать с подкрадывающимся страхом. — Хорошо, посмотри на паука как на крупного хищного зверя, которого надо убить. Что делают охотники, когда хотят убить такого зверя?»

Ответ пришел почти мгновенно: «Западня. Паук свалится в нее и...»

Булавка! Булавка, торчащая, как длинный острый кол!

Сняв с плеча лассо, он схватил копьё и быстро начал разрывать им песок, как лопатой.

Через сорок пять минут западня была готова.

Обливаясь потом, подрагивая от напряжения, Скотт стоял на дне ямы, глядя на ее отвесные стены. Если бы не нитка, он сам оказался бы в западне. Немного отдохнув, он закрепил копьё, чуть наклонив его, острием вверх, утоптал влажный песок вокруг него и, выбравшись наверх, стоял там некоторое время и смотрел вниз.

Почему-то сразу же на него навалились сомнения. А вдруг не выйдет? Что, если паук взбежит по песку так же легко, как по твердой стене? А что, если он не наколется на булавку? Или выпрыгнет раньше, чем коснется острия? Тогда Скотт окажется безоружным. Может, лучше, как тогда в картонке — держать копьё самому и ждать, пока паук, прыгнув, напорется на него всем своим весом? Нет, сейчас так не получится, уже поздно — он слишком мал, и удар опрокинет его. А эти ужасные ощущения, когда громадная черная лапа царапала его? Он не сможет устоять. А зачем стоять здесь?

Ответа не было. И еще одно. Чем накрыть западню, когда паук окажется в ней? Может, просто засыпать его песком? Нет, это будет очень долго.

Скотт искал и наконец нашел и оттащил к яме подходящий кусок картона. Его ширины было достаточно, чтобы закрыть западню.

Вот так-то. Он заманит сюда паука и, когда тот напорется на булавку, надвинет картон на яму и будет сидеть на нем, пока не убедится в том, что гадина сдохла.

Скотт облизнул губы.

Другого способа нет.

Он постоял несколько минут, успокаивая дыхание. И, хотя еще чувствовал усталость и тяжело дышал, пошел, озираясь, по пустыне. Скотт знал, что, задержись он на минутку, решимость оставит его.

Паук, должно быть, в паутине. Вот где его можно найти. Скотт шел осторожно, размеренным шагом,

тревожно оглядываясь по сторонам. Казалось, холодный камень лежит у него в желудке.

Он беззащитен без булавки. Что, если паук отрежет его от западни? Резко выдохнув, Скотт попытался прогнать неприятное ощущение в животе. «Нет, нет, — отчаянно возразил он сам себе, — я не допущу этого».

Снова раздался звук оседавшего дома. Скотт, поначалу вздрогнув, прибавил шаг. Тело его было нервно напряжено.

Темнело. Он уходил все дальше и дальше в пески от света в окне. От судорожного, как бы испуганного дыхания грудь вздрагивала. Это были повадки «черной вдовы», — от природы хитрая и скрытная, она плела свою паутину только в темных глухих углах.

А Скотт все шел в густеющий с каждым шагом мрак.

Вот она. Висит высоко на своей паутине, дрожа яйцом тела, похожим на черную жемчужину, вцепившись ногами в невидимую нить.

В горле застрял комок — хотелось сглотнуть, но горло казалось деревянным. Он почти задыхался, глядя на огромного паука. Было ясно, почему этой гадины целый день не было видно: обмотанный липкими нитями, под неподвижной громадой паука висел полуобглоданный таракан. Скотту стало дурно, его чуть не стошнило. Закрыв глаза и почти захлебываясь, он глубоко вздохнул. Сладковато пахло трупом — смертью.

Глаза резко открылись. Паук не двигался, его тело свисало, как сверкающий черный плод с молочно-белой лозы.

Вздрагивая, Скотт смотрел на гадину. У него не хватало храбрости приблизиться к ней, но, даже если бы хватило, он не стал бы подходить, чтобы мерзкая тварь не оплела его паутиной, как таракана.

Что же ему делать? Внезапно пробудившийся инстинкт потребовал, чтобы он исчез так же незаметно, как и появился. Поддавшись увещаниям этого голоса, Скотт отступил на несколько ярдов.

Нет. Он должен сделать это. В этом нет смысла, этому нет оснований, это безумно, но он все равно должен. Скотт присел и, безумно глядя на громадного паука, бессознательно поглаживал руками песок.

Руки инстинктивно отдернулись от чего-то твердого. Вскрикнув, он дернулся, чуть не завалившись на спину. Глаза нервно перебежали от гадины: «Не слышала ли эта тварь его крика?» — к тому, на что наткнулась рука. Это был небольшой камень.

Скотт поднял его и оценивающе подбросил на руке.

Желудок превратился в узел нервов, грудь тяжело поднималась и опускалась. Взгляд застыл на раздутом теле паука.

Стиснув зубы, Скотт встал и, найдя камень побольше, положил обе свои находки перед собой на песок. Неожиданно далеко, за пустыней, взревел масляный обогреватель. Втянув голову в плечи, он зажал руками уши, спасаясь от грохота. Песок дрожал. Вверху, на стене, паук, казалось, шевельнулся, но это было всего лишь легкое подрагивание паутины.

Когда обогреватель, щелкнув, отключился, Скотт поднял камень и, секунду поколебавшись, кинул его в паука. Но промахнулся. Камень, пролетев над круглым телом, только порвал паутину. Ее обрывки задрожали, как раздуваемые ветром занавески. Паук пошевелился и снова замер.

«Ты еще в безопасности, — кричал рассудок, — ты еще в безопасности. Бога ради, беги отсюда».

Напрягая мышцы, Скотт швырнул в гадину второй камень. Снова промах. Но в этот раз камень застрял в паутине и, увлекая ее своим весом вниз, потянул

за собой и паука. Черная тень медленно сползла по невидимой нити; ноги дернулись и опять замерли.

Всклипывая и ругаясь, Скотт схватил третий камень и швырнул его. Пролетев по дуге, тот ударился о блестящую спину паука и отскочил.

Гадина подпрыгнула. Казалось, что она повисла в воздухе, но в тот же миг тварь была снова на паутине и рванулась вниз, раскачиваясь, как громадное падающее яйцо. До смерти напуганный, в безумной ярости Скотт швырнул в паука еще два камня. Они попали в паутину: один увеличил дырку, другой прорывал вторую.

— Иди сюда! — пронзительно закричал Скотт. — Иди сюда, чертова гадина!

Паук, скользя вниз по нитке, дрожал всем телом и цеплялся за паутину ногами. Еще один крик замер в горле Скотта, и, втянув воздух, он развернулся и бросился через пески.

Через десять ярдов Скотт суетливо оглянулся: паук уже летел за ним по песку чернильным пятном. Внезапный ужас охватил беглеца. Ноги казались ватными. «Я падаю».

Но это было не так. Раскрыв рот, Скотт все еще тяжело бежал, беспокойно ища взглядом западню, но ее не было. Может, дальше? Он оглянулся: паук настигал его.

Скотт отвернулся. «Не смотри!» — пронеслось в голове. В боку закололо. Сандалии глухо стучали по песку. Глаза напряженно искали западню.

Не удержавшись, он снова оглянулся. Тварь была еще ближе. Дрожа всем телом на толстых ногах, она бежала по песку почти боком, ее взгляд был прикован к жертве. Скотт летел сквозь тени и свет, безумно раскрыв глаза.

Где же западня?

Он, наверное, пробежал мимо нее, — недалеко впереди уже виднелись жестянки из-под краски. Нет,

это невозможно! Так тщательно все рассчитать и вдруг опростоволоситься! Скотт мельком глянул назад. Еще ближе: утопая в песке, трясясь и подпрыгивая, перебирая ногами, ужасная черная гадина, размером больше лошади, неслась за ним.

Ему нужно вернуться назад. И он по широкой дуге рванулся назад, моля о том, чтобы паук не срезал по прямой. Песок мешал все больше и больше, сандалии вязли и, выдираясь из песка, издавали какой-то сосущий звук.

Скотт снова оглянулся. Паук не срезал угол, но стал еще ближе. Слышалось дикое скрябанье ног гадины по песку. Она приближалась: двенадцать ярдов, одиннадцать, десять...

На бегу Скотт подпрыгнул, пытаясь разглядеть западню. Но не увидел ее и только тяжело рухнул на песок. Отчаянный визг задрожал в его горле. «Неужели все закончится вот так? А, вот она! Вперед, направо!»

Изменив направление, Скотт бросился к насыпи на краю ловушки. Гигантского паука отделяло от него уже девять ярдов.

Яма росла на глазах. Скотт прибавил из последних сил, стиснув зубы и руками отталкиваясь от воздуха. Резко затормозил на краю и развернулся. Это был роковой момент: надо было стоять так, пока паук не приблизится почти вплотную.

Смертельно испуганный, Скотт стоял, глядя, как черная гадина надвигается на него, становясь все выше и мощнее. Он увидел ее черные глаза, острые клещи челюстей, волоски на ногах и громадное тело, — все ближе и ближе. Скотт вздрогнул. «Нет, не сейчас! Еще не время!» Гадина почти нависла над ним, заслонив собой весь мир, и встала на дыбы, готовясь обрушиться на жертву.

«Вот оно!»

С огромным усилием Скотт отпрыгнул в сторону, а паук рухнул в западню.

Страшный, пронзительный визг, похожий на рыканье распоровшей брюхо лошади, почти парализовал Скотта. И только инстинкт заставил его вскочить, схватить обломок картона и надвинуть его на яму. Визг продолжался, и вдруг Скотт поймал себя на том, что тоже визжит. Задвигая яму картоном, он увидел огромное черное тело, бьющееся в судорогах, толстые ноги, цепляющиеся за стенки западни и взметающие столбы пыли.

Скотт бросился на картон и сразу же почувствовал тяжелые удары и толчки рвущейся наружу гадины. Кровь стыла в жилах, а он наваливался на подскакивающий картон, ожидая, когда тварь сдохнет.

— Я сделал это, — раздался победный крик, — я сделал это!

Вдруг Скотт перестал дышать. Картонка поднималась.

Ужас холодными тисками сжал сердце. Обломок картона поднимался, заставляя его тело скользить.

Когда черная нога, как ожившая ветка дерева, высунулась наружу, Скотт закричал, соскальзывая по гладкой крышке как раз к ней.

Инстинкт подбросил его на ноги, и, когда обломок картона от яростного удара подлетел вверх, Скотт добавил к силе этого удара свою и, оттолкнувшись, пролетел высоко над громадной ногой.

Он упал мешком рядом с лассо и закрутился на четвереньках, с ужасом глядя на западню, из которой уже выбиралась гадина, волоча за собой вонзившуюся в нее булавку.

Сотрясая тело, пробегали волны ужаса. Руки что-то схватили, и, с трудом поднявшись на ноги, Скотт попятился назад.

— Нет, — едва слышно бормотал он, — нет, нет, нет.

Тварь уже совсем вылезла из западни и неуклюже двигалась на него. Копье еще торчало из ее тела. Вдруг она подпрыгнула, упала и завертелась на песке, пытаясь выдернуть булавку.

«Делай же что-нибудь!» — орал рассудок. А Скотт ошеломленно смотрел на вздрагивающего паука.

Вдруг он понял, что в руке у него острый крюк, и в ту же секунду бросился бежать, разматывая на бегу нитку. А тварь все еще металась из стороны в сторону, оставляя на песке грязные пятна крови.

Наконец, освободившись от копья, она бросилась в погоню.

Скотт вращал нитку длиной в шесть футов, и крюк, блестящим серпом разрезая воздух, проносился над головой.

Гадина приближалась.

Острие крюка вошло в ее яйцеобразное тело, как иголка в дыню. И, снова завизжав, тварь отпрыгнула, а он стал бегать вокруг громадной щепки, обматывая вокруг нее нитку. Гадина опять кинулась на него, и крюк вонзился еще глубже. Скотт бросился наутек.

Она чуть не схватила его. И, прежде чем нитка, натянувшись, отбросила ее назад, черная нога зацепила его плечо, пытаясь утащить за собой. Ему пришлось упасть, чтобы освободиться.

Скотт встал. Ноги дрожали, волосы закрывали глаза, а лицо было в грязи.

Гадина, царапая песок ногами, клацая челюстями, пыталась достать его. Но крюк удерживал ее. Мерзкий визг вонзался ножом в разум Скотта.

Он не мог выносить этого — и понесся по песку, а тварь преследовала его, как могла — прыгая и волоча за собой щепку.

Скотт подбежал к скользкому от паучьей крови копыю и, стиснув зубы, чтоб не стошнило, швырнув на него несколько пригоршней песка, схватил его. И

тут же бросился обратно, к пауку, прижимая оружие к бедру, выставив его острием вперед.

Паук прыгнул, и Скотт ткнул его копьем, которое пронзило черную скорлупу — брызнула кровь. Паук прыгнул опять — еще укол, еще кровь. Снова и снова бросался паук вперед — снова и снова протыкал его Скотт. Кровь лилась мутными потоками, и наконец на черном теле не осталось живого места.

Гадина уже не визжала. Она медленно, дрожа, отползала назад на своих ослабевших ногах. Скотт решил добить ее. Он мог бы уйти и оставить ее подыхать здесь медленно и мучительно. Но фантастически возникшая из какой-то туманной, давно забытой нравственности причина — он жалел паука — заставляла покончить со страданиями дрожащей твари. Скотт решительно шагнул навстречу пауку, который, собрав последние силы, прыгнул.

Копье пронзило черное тело, и оно, яростно вздрагивая, тяжело свалилось на песок. Источавшие яд челюсти клацали в нескольких дюймах от Скотта.

Гадина умерла и теперь безжизненной грудой лежала на пропитанном кровью песке.

Он попятился и, не помня себя, повалился на песок. В ушах его раздавался медленный, скрежещущий звук скребущихся ног паука — мертвого, теперь уже мертвого.

Скотт слабо пошевелился, медленно вытянул руки, сжал в кулаках песок. Застонав, перевернулся на спину, открыл глаза.

«Что это — сон?» Полежав с минуту, он, кряхтя, сел.

«Нет, не сон». В нескольких ярдах громадным мертвым валуном, разбросав в разные стороны неподвижные ноги, похожие на балки, лежало черное тело паука, — мертвая тишина висела над ним.

Была уже почти ночь. И до полной темноты нужно было спуститься. Устало дыша, Скотт поднялся на ноги и подошел к пауку. Становилось дурно от вида окровавленной туши, но ему нужен был крюк.

Когда крюк был извлечен, Скотт побрел, пошатываясь, по пустыне, волоча его за собой так, чтобы песок очистил блестящую поверхность от крови.

Ну вот, дело сделано. И ночи ужаса теперь позади. И он может спать безо всяких крышек, свободно и мирно. Усталая улыбка тронула его застывшее лицо. Да, игра стоила свеч. И, кажется, он выиграл ее.

С края скалы Скотт выбрасывал крюк, пока наконец не вонзил его в дерево. Затем медленно, тяжело забрался на подлокотник и, втащив за собой нитку, пошел по нему. Еще длинный спуск впереди. Он улыбнулся. Ничего. Дело сделано.

Когда он, раскачиваясь на нитке, спускался к нижнему креслу, крюк сломался.

Какой-то миг Скотт камнем падал вниз, медленно переворачиваясь в воздухе, отчаянно болтая руками и ногами. Потрясенный неожиданностью, он не мог издать ни звука. Голова его отключилась — только одно чувство владело им: полное, ошеломленное изумление.

Ударившись о вышитую цветами подушечку, его тело подпрыгнуло и, снова шлепнувшись на нее, спокойно вытянулось.

Немного погодя Скотт встал и ощупал тело. Он ничего не понимал: «Прежде чем упасть, я пролетел не одну сотню футов; как же я остался жив? Как не разбился?»

Скотт долго стоял, беспрестанно ощупывая себя, и никак не мог поверить в то, что все кости были целы и он лишь слегка ушибся.

Потом до него дошло: его вес. Он раньше этого не понимал и думал, что, упав, расшибется так же, как расшибся бы нормальный человек с нормальным ве-

сом. Он ошибался, хотя ему давно следовало бы понять это. Ведь не разбивается же муравей, упав с любой высоты, а спокойно бежит себе дальше.

Озадаченно покачав головой, Скотт взял один из самых больших кусков хлеба и оттащил его к губке. Затем, напившись из лужи в шланге, забрался на губку и приступил к ужину.

В эту ночь он спал в полном покое.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Вдруг проснувшись, он с криком вскочил. Солнечный свет ковром расстился по цементному полу; громовые шаги доносились со ступенек лестницы. У него перехватило дыхание. Заслоняя свет, в погреб входил великан.

Скотт бросился через прогибавшуюся под ногами губку к краю и, не заметив его, кувыркнулся вниз. Великан остановился и посмотрел вокруг — его голова почти упиралась в потолок. Скотт немного ударился о цемент, вскочил на ноги и снова упал, запутавшись в полах ставшего слишком большим за одну ночь халата. Снова подскочил, глядя широко раскрытыми от ужаса глазами на великана, который стоял неподвижно, положив огромные руки на бедра. Поддерживая волочившиеся по полу края халата, Скотт, забыв про сандалии, бросился босиком по холодному цементу.

Пробежав пять ярдов, он снова упал, запутавшись в выскользнувшей из руки материи. Великан двинулся. Скотт вздохнул, немея от ужаса, и заслонился одной рукой. Не было ни одного шанса спастись. Пол дрожал под тяжелыми шагами. И Скотт полными ужаса глазами смотрел, как гаргантюанские тапки обрушиваются на цемент. Задрал голову: тело гиганта

нависало над ним подобно падающей скале. Он за-
слонился руками. «Конец», — крикнул рассудок.

Грохот вдруг прекратился, и Скотт опустил руки.

Какое-то чудо остановило великана перед красным
металлическим столом. Почему он не прошел к водо-
грею? Зачем он пришел?

Стон вырвался из груди Скотта, когда великан
наклонился над столом и смахнул небрежно на пол
картонную коробку величиною с многоэтажный дом.
Шум ее падения стрелами пронзил барабанные пере-
понки Скотта. Он зажал уши и, с трудом поднявшись
на ноги, попятился. Что же здесь делает великан?
Еще одна громадная картонная коробка, пролетев
через весь погреб, упала с оглушительным грохотом.
Проследив испуганным взглядом за кувыркавшейся
коробкой, Скотт отпрыгнул туда, где стоял великан,
который теперь вытаскивал из кучи между топлив-
ным баком и холодильником что-то более громозд-
кое — что-то голубое, — это был чемодан Лу.

Неожиданно он понял, что это не тот великан,
который приходил в погреб в среду. Его взгляд за-
скользил вверх по стенам гигантских штанов. Они
были в серо-голубую клеточку. «Что за материал?
Шотландская шерсть!» Великан — мужчина в кос-
тюме из шотландки, в громадных, как бетонные бло-
ки, ботинках. Где же Скотт мог видеть этот костюм?

Он понял — где, когда секундой позже второй
великан, ростом поменьше, соскочил с лестницы и
пронзительно крикнул.

— Тебе помочь, дядя Марти?

Скотт стоял неподвижно, только глаза его перебе-
гали с огромной фигуры дочери на еще более гigan-
тскую фигуру брата.

— Я справлюсь сам, — сказал Марти. — Для тебя
они слишком тяжелые. — Его голос отдавался в ушах
Скотта таким звоном, что слова едва можно было
разобрать.

— Можно я возьму что-нибудь маленькое? — спросила Бет.

— Конечно, если тебе хочется, — ответил Марти. А картонки все летели через погреб и падали на пол. Потом пронеслись два брезентовых стульчика и упали, ударившись о садовые кресла.

— Вот так, вот так, — повторял Марти. — И вот так! — добавил он, бросив сачок, высотой с двухтысячефутовое дерево, который ударился о стену скалы и, скользя по ней, устоял, упираясь в пол металлическим, круглым, как луна, кольцом с надетой на него сеткой.

Вернувшись к бетонной плите, Скотт задрал голову и, разинув рот, посмотрел на башней высящуюся над собой фигуру брата. И увидел, как громадная рука Марти взяла ручку второго чемодана, со скрежетом протащила его по металлическому столу и поставила на пол.

«Зачем это Марти достает чемоданы?»

«Они переезжают».

— Нет, — пробормотал Скотт и, поддавшись порыву, побежал вперед. На бегу он увидел, как гигантская фигура Бет в три шага пересекла погреб и склонилась над вторым чемоданом.

— Нет, — лицо Скотта вытянулось от ужаса. — Марти, — пронзительно кричал он и бежал к брату. Вдруг запутался в волочившемся по полу халате и упал. Поднявшись на ноги, опять выкрикнул имя брата. — Она не уедет!

— Марти, это я! — истошно орал Скотт. — Марти!

Ставив халат через голову онемевшими пальцами, он бросил его на пол и бесстрашно побежал к ботинкам брата.

— Марти!

Со ступенек доносился сводящий зубы пилящий скрежет — это Бет тащила чемодан поменьше по шершавому цементу. Не обращая внимания на это,

Скотт бежал к брату. Он должен докричаться до него.

— Марти!

Брат со вздохом направился к лестнице.

— Нет, не уходи! — кричал Скотт изо всех сил и бежал вслед за удалявшейся фигурой Марти, как маленькое белое насекомое. — Марти!

У ступенек брат обернулся, и глаза Скотта возбужденно расширились.

— Я здесь! Вот я! — орал он, думая, что брат услышал его, и бешено размахивал своими тонкими, как ниточки, руками. — Я здесь, Марти, здесь!

Марти повернул свою гигантскую голову.

— Бет!

— Да, дядя Марти, — поплыл голос Бет со ступенек.

— Твоя мама оставляла здесь еще что-нибудь?

— Может быть, — отвечала она.

— Ладно. Мы еще заглянем сюда.

К этому моменту Скотт уже добежал до гигантского ботинка и, подпрыгнув как можно выше, крепко вцепился в его грубую кожу.

— Марти! — снова крикнул он и затащил свое тело на верхний край подошвы. Торопливо выпрямившись, Скотт бил кулаками по верху ботинка. Но это было все равно, что бить по каменной стене.

— Марти, пожалуйста, — умолял он. — Пожалуйста, ну прошу!

Вдруг ботинок дрогнул и описал гигантскую головкружительную дугу. Скотт потерял равновесие и полетел спиной вниз, крича и хватаясь руками за воздух. Тяжело упал на цемент и, потеряв дыхание, смотрел, как Марти поднимается по ступенькам с чемоданом Лу.

Когда брат вышел, солнечный свет, ослепляя, хлынул через дверной проем. Скотт прикрыл глаза рукой

и отпрянул. Рыдания душили его. «Это нечестно. Как легко оказались зачеркнуты все его победы».

Вскочив на дрожащие ноги, он повернулся спиной к ослеплявшему его солнцу. Она переезжает. Лу уезжает. Думая, что он мертв, она оставляет его.

Скотт стиснул зубы. Он должен дать ей знать что еще жив!

Он посмотрел по сторонам, прикрывая глаза ладонью. Дверь была еще открыта; Скотт, подбежав к краю нижней ступеньки, оценивающе взглянул на ее отвесную стену. Будь даже у него новый крюк, все равно его было бы не забросить на такую высоту, думал он, беспокоясь прохаживаясь у основания ступени и бормоча себе под нос:

— А что, если по щели между плитами? Смогу ли я взобраться, как собирался сделать это в среду?

Скотт подошел к ближайшей щели и остановился, потому что понял, что надо было взять хоть какую-то одежду, немного еды и воды.

И в ту же секунду мысль о том, что подъем невозможен для него, обожгла его, как расплавленный свинец.

Он привалился к холодной цементной ступеньке и, дрожа всем телом, уперся потухшим взглядом в пол. Скотт покачал головой:

— Нет смысла. Мне никогда не взобраться. Слишком поздно — во мне только одна седьмая дюйма.

Он проковылял уже полпути к губке, когда неожиданная мысль развеяла его отчаяние: «Марти сказал, что вернется еще».

Вздыхнув, Скотт побежал обратно к ступеньке и вновь остановился. «Спокойно, спокойно, — сдерживал он себя. — Тебе надо сначала подготовиться. Нет смысла просто прыгать на ботинки: там не за что уцепиться. Надо как-то ухватиться за штанину Марти, забраться внутрь и провисеть там, пока брат не войдет в дом. А там выпрыгнуть из нее, вскарабкаться

на стол или стул, все равно на что, и, размахивая тряпицей, привлечь к себе внимание Лу».

«И все это для того, чтобы дать ей знать, что я еще жив, — думал Скотт возбужденно. — Только для того, чтобы она узнала, что я еще жив».

— Ну что ж. Поторопись. — Он нетерпеливо хлопнул в ладоши. — С чего начать? Начнем, пожалуй, с еды и питья; хорошо поесть — хорошо, но, — Скотт нервно хихикнул, — неплохо бы и одеться. — Он посмотрел на свое бледное, покрывшееся гусиной кожей тело. — Да, но вот что бы надеть? Халат стал таким большим, а материал таким грубым. А может быть...

Скотт подбежал к губке и яростно выгрыз зубами казавшийся ему большим матрасик. Растянув его как можно больше, обернул вокруг тела и просунул руки, а потом и ноги через поры его ноздреватой поверхности. Матрасик плотно, как резиновый, обтягивал спину, там и сям оставляя открытой грудь. «Что ж, придется довольствоваться и этим. На лучшее нет времени».

Теперь пища. Он неторопливо подошел к хлебу, лежавшему около скалы, отломил кусок. Отнес его к шлангу и, сев на металлический ободок, принялся есть, болтая в воздухе ногами. Неплохо было бы обуться. Но во что?

Поев и совершив обычное путешествие к воде по длинному, холодному и темному туннелю шланга, Скотт вернулся к губке. И, отодрав от нее два крошечных кусочка, выщипал в них ямки, в которые всунул ноги. Кусочки плохо держались на ногах. «Надо будет привязать их ниткой».

Вдруг ему пришло в голову, что при помощи нитки он не только закрепит на себе одежду, но и заберется в штанину Марти. Если он сможет достать еще одну булавку и, загнув ее крюком, привяжет к нитке, то

можно будет зацепиться за материю и висеть, пока брат не зайдет в дом.

Он побежал к картонке под топливным баком. Но на полпути остановился, вспомнив о нитке, которая помогла ему прошлой ночью. На ней должен был остаться обломок крюка. Скотт кинулся искать ее.

Все получилось так, как он и предполагал, более того, изгиба обломка должно было хватить, чтобы зацепиться за брючину Марти.

Наверху, в комнатах, раздавались беспокойные и торопливые шаги, и он, представив себе, как Лу, суется, готовится к отъезду, до боли сжал губы. «Чего бы это ни стоило, он должен показать ей, что еще жив».

Скотт оглядел погреб. Трудно было поверить в то, что, столько просидев здесь, он сможет наконец выбраться наружу. Погреб давно стал его Вселенной. И, выйдя из него, он, может быть, будет напуган и неуверен, как заключенный, выпущенный на волю после долгого срока заточения. Нет, это не могло быть правдой. Не очень-то уютно было ему в этой темной утробе погреба. И жизнь снаружи едва ли могла сравниться с этой тяжелой жизнью.

Скотт осторожно ощупал больное колено: опухоль почти спала, осталась лишь слабая боль. Он провел по ссадинам на лице, развязал повязку на пораненной руке, стащил ее и бросил на пол. Осторожно сглотнул: горло еще болело, но это было уже неважно.

Скотт был готов вернуться в настоящий мир.

Наверху хлопнула задняя дверь, а затем раздались шаги на крыльце. Он спрыгнул с валуна и размотал нитку. Взяв крюк в руки, прижался спиной к стенке ступеньки и замер в ожидании. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Во дворе слышен был скрип песка под ботинками, а потом раздался голос:

— Я не знаю точно, что там еще осталось.

Лицо Скотта вытянулось, взгляд застыл, ноги стали ватными.

Это был голос Лу.

Скотт вжался в стенку, когда гигантские ботинки загрохотали вниз по ступенькам.

— Лу, — прошептал он, а двое гигантов, как две черные тучи, заслонили солнце.

Они ходили по погребу, их головы проплывали над полом на высоте почти в полмили. Лицо Лу невозможно было разглядеть. Виден был только красный колокол ее юбки.

— Вот эта коробочка на полке тоже наша, — раздался с небес ее голос.

— Понял, — сказал Марти и, подойдя к скале, снял с полки коробку с торчащей из нее рукой куклы. Лу пнула ногой губку.

— Подожди, мне кажется...

Она присела, и вдруг черты ее огромного лица поплыли перед глазами Скотта, как будто он стоял, уткнувшись носом в гигантский плакат, и разглядывал его. Все лицо нельзя было охватить взглядом: огромный глаз там, невероятных размеров нос здесь, и губы бесконечным каньоном с розовыми краями.

— Да, — сказала Лу, — надо взять картонку из-под бака.

— Я еще раз спущусь за ней, — ответил Марти, поднимаясь по ступенькам с другой коробкой.

Скотт и Лу остались вдвоем.

Его взгляд заскользил вверх, когда она опять встала. Лу плавно двигалась по погребу, скрестив руки под выступающей, как гора, грудью. Живот и грудь Скотта сдавило: теперь не могло быть сомнений в том, что она недостижима для него, надежды на то, что ему удастся рассказать ей о себе, растаяли. Они исчезли, как только он увидел ее. Для нее Скотт был как насекомое — это стало до ужаса ясно.

Даже если бы ему удалось привлечь ее внимание, это ничего бы не изменило: жить ему осталось один день. И он добился бы только того, что разбередил бы затаившуюся было рану.

Скотт безмолвно застыл, как будто был изящной миниатюрной фигуркой с браслета. Он смотрел на ту женщину, которая когда-то была его женой.

Марти снова спустился в погреб.

— Я буду рада выбраться отсюда, — сказала ему Лу.

— Это вполне естественно, — отвечал Марти, склонившись над баком.

Бет, сбегая по ступенькам вниз, спросила:

— Вам помочь, мамочка?

— Наверное, не надо. Хотя нет, захвати банку с кисточками. Они вроде тоже наши.

— Хорошо, — и Бет направилась к плетеному столу.

Скотт вздрогнул, освобождаясь от наваждения. Да, он уже ничего не хочет говорить Лу, но из погреба выбраться надо. Тут Марти ждать бессмысленно, потому что он ходит слишком быстро. За его штанину не успеешь зацепиться.

Оттолкнувшись от ступеньки, Скотт бросился бежать, прячась в тени холодильника, затем под плетеным столом. Когда он добежал до красного металлического стола, Марти еще сидел на корточках перед топливным баком, пытаясь вытащить из-под него картонку.

«Быстрее!»

И Скотт припустился бежать еще быстрее, волоча веревку по полу за собой. Марти поднялся с картонкой в руках и направился к выходу.

«Нельзя терять ни секунды!»

Когда Скотт вылетел на открытое место, гигантский черный ботинок Марти уже опускался рядом с

ним. Изю всех сил он бросил крюк в шуршащую штанину.

Если бы он зацепил несущуюся галопом лошадь, вряд ли она сорвала бы его с места с большей резкостью и силой.

Скотт захлебнулся криком. Он взлетел вверх, а через секунду уже несясь вниз, и серый пол наваливался на него. Подогнув ноги, Скотт вытянулся, и его сделанная из губки куртка чиркнула по полу. Громадная нога поднялась опять, и он взлетел еще выше. Нитка натянулась, его швырнуло вперед, руки чуть не вывернулись, и погреб в фиолетовых кругах поплыл перед глазами. Скотт хотел закричать, но не мог. Его бешено раскачивало, крутило, и его крошечное тельце пулей несло на ступеньки. Стена мгновение неслась на него, но вдруг провалилась вниз. Ноги царапнули по краю первой ступеньки, и его самодельные тапочки из губки разлетелись в клочья. Сильный толчок заставил отпустить нитку и по инерции с огромной скоростью нестись на стенку второй ступеньки. Пытаясь уберечься от удара, Скотт выставил руки вперед и закричал. Он зацепился за цементную крошку и, вытянувшись всем телом, полетел. Ноги взметнулись вверх, а голова врезалась в пол. Боль разорвала череп, ярко-белая, она сжалась в черный узел, который, разлетевшись, опустился на сознание ночным покрывалом.

Когда Лу выходила, ее громадный ботинок опустился в дюйме от обмякшего тела Скотта.

Позже, когда Марти вез их на вокзал, Бет увидела, что в штанине его брюк торчит крючок с ниткой, и, наклонившись, вытащила его. Марти сказал:

— Подцепил где-нибудь в погребе, — и тут же забыл об этом.

Бет положила крючок в карман куртки и тоже сразу забыла о нем.

— Отпусти меня, — завопил Скотт и больше ничего не смог произнести, потому что ее рука держала тело, обхватывая его от плеч до бедер, плотно прижимая руки и, казалось, выдавливая последние капли воздуха из груди. В глазах потемнело, и он на секунду потерял сознание.

Очнулся Скотт, уже стоя на крыльце кукольного дома, — рука вжималась в перильце, и Бет смотрела на него сверху испуганным взглядом.

— Я только прокатила тебя, — сказала она.

А он ринулся к двери: вбежав в дом, с силой захлопнул ее за собой и набросил крючок на петельку. Почти без сил он свалился на пол в гостиной и хрипло, тяжело задыхался.

Бет продолжала оправдываться:

— Я же не обижала тебя.

Скотт ничего не отвечал. Ему казалось, что он только что вырвался из чуть было не раздавивших его тисков.

— Я не хотела сделать тебе больно, — сказала Бет и заплакала.

Он знал, что когда-нибудь так случится. И вот это случилось. Нельзя было больше откладывать, и нужно было сказать Лу, чтобы она не подпускала Бет, ведь та еще ничего не понимала.

Пошатываясь, Скотт встал и доковылял до кушетки. Вдруг он опять услышал перед домиком тяжелые шаги Бет, от которых дрожал пол. Дверь скрипнула — Скотт вздрогнул: всего несколько мгновений прошло после того, как девочка, увидев его и схватив рукой, чуть не раздавила.

Он откинулся на маленькие подушечки, сделанные для него Лу, и долго лежал так, глядя в темный потолок и думая о том, что теряет ребенка.

Бет родилась в четверг, утром. Роды были долгими и тяжелыми. Лу уговаривала его уехать домой, но он не согласился. Изредка он спускался вниз, к машине, и, скрючившись на заднем сиденье, несколько минут дремал. Но большую часть времени сидел в комнате ожидания, бессмысленно листая журналы, так и не раскрыв ни разу принесенную с собой книгу. Конечно, он заранее решил быть разумным — не разыгрывать бесполезных мелодрам, не заламывать руки, не стучать нервно каблуками, измеряя шагами комнату. Правда, последнее он вряд ли мог бы делать, даже если бы очень хотел, поскольку комната ожидания была не отдельным помещением, а нишей, сделанной в большом холле на третьем этаже больницы. И невозможно было ходить по этой нише, не наталкиваясь на бесконечно снующие больничные каталки. Так что ему приходилось сидеть, чувствуя себя так, будто он проглотил бомбу, которая вот-вот взорвется. Рядом сидел еще один будущий отец, но для того это были уже четвертые роды жены, и он явно пресытился всякими переживаниями и поэтому спокойно читал книгу «Проклятие конкистадоров». Скотт запомнил название книги. Как этот мужчина мог читать такую книгу, когда его жена корчилась и содрогалась в родовых схватках? Скорее всего, роды у нее всегда проходили гладко. И действительно, не успел мужчина прочесть и трех глав, как в час ночи ребенок уже родился. Спокойный отец пожал плечами, бросил взгляд на Скотта и отправился домой. Скотт ругнул его в спину и остался один.

В семь утра Элизабет Луиза появилась на свет.

Доктор Аррон вышел из родильного зала и, скрипя по полу ботинками, направился к Скотту через холл. Тысячи самых разных предположений пронеслись в голове: «Лу умерла? Ребенок мертвый? Уродец? Двойня? Тройня?» Но все оказалось не так — доктор Аррон сказал:

— Поздравляю, у вас девочка.

Его подвели к огромной прозрачной стене, за которой медсестра держала на руках завернутого в пеленку, зевающего, разметавшего ручонки младенца с черными волосиками. Скотт незаметно смахнул слезу.

Он поднялся и сел на кушетке, вытянув ноги. Боль под ребрами начала отпускать, но дышать было еще трудно. Скотт ошупал грудь и бока — все кости были целы, но это была чистая случайность, потому что Бет очень сильно сдавила его. «Конечно, она сделала это, боясь его выронить, но...»

Он покачал головой и пробормотал:

— Бет, Бет.

Оказывается, и ее Скотт терял день за днем с того момента, как начал уменьшаться. Потеря жены была уже ясной и очевидной, но потеря Бет — это была новость.

Сначала отдаление было вынужденным: он заболел ужасной, никому не известной болезнью и поэтому без конца ходил по врачам, обследовался, лежал в больнице, и для дочери просто не оставалось времени.

А когда он бывал дома, переживания и страх, нелады с Лу мешали понять, как Бет уходит от него. Редко Скотт сажал ее к себе на колени и читал сказку или поздно вечером стоял у ее постели и смотрел на нее. Но чаще всего он был так погружен в свои проблемы, что ничего другого не замечал.

А потом к этому добавилась разница в росте. Он становился все ниже и ниже, и в голову закрадывалась мысль, что вместе с ростом теряется и уважение дочери. С этой мыслью было трудно бороться. Изменяя его отношения с Лу, рост не пощадил и отношений с Бет.

Обнаружилось, что отцовский авторитет тайно связан с ростом. Отец для ребенка всегда боль-

шой, сильный и всемогущий. Ребенок смотрит просто: он уважает рост и взрослый голос. И то, что сильнее его, почти всегда вызывает в нем уважение или по крайней мере страх. Нет, до болезни Скотт никогда не пытался добиться уважения Бет при помощи страха. Все было просто: она, ростом четыре фута один дюйм, уважала его, ростом шесть футов и два дюйма.

А когда он стал ростом с нее, а потом еще ниже, когда его голос потерял свою силу и авторитетность, превратившись в тонкий, неубедительный писк, уважение Бет растаяло. И все это потому, что она ничего не могла понять. Бог свидетель, они без конца объясняли ей это, но все было напрасно. Своей детской головкой она не могла представить уменьшающегося папу.

И поэтому, потеряв свои шесть футов и два дюйма, поменяв голос, он перестал быть в ее глазах отцом. Настоящий отец никогда не меняется, на него всегда можно положиться. А Скотт менялся. И потому она перестала воспринимать его как отца.

С каждым днем Бет уважала его все меньше. Особенно оттого, что, доведенный до нервного срыва, он все чаще впадал в беспричинную ярость. Она ничего не могла понять и была слишком мала, чтобы, оценив все, почувствовать жалость к нему. И, глядя на него просто, по-детски, видела в нем страшного карлика, который кричит и вопит смешным голоском. Скотт перестал быть ее отцом, превратившись в причудливую вещь.

И вот настал момент, когда он потерял ее окончательно и бесповоротно и когда дочь превратилась в угрозу для него, такую же, как кошка, и ее надо было держать подальше от него.

— Скотт, она не подумала об этом, — говорила Лу в этот вечер.

— Я знаю, — отвечал он в маленький микрофон, проходя через который его голос становился ясным

и громко звучал из динамиков проигрывателя. — Она просто ничего не понимает. Тебе надо держать ее подальше от меня. Девочка не понимает. Тебе надо держать ее подальше от меня. Девочка не может понять, какой я хрупкий. Она подняла меня так, будто я деревянная кукла.

На следующий день все закончилось.

Стоя в усыпанном сеном хлеву, Скотт, наклонившись вперед, смотрел на лица Марии, Иосифа и волхвов, склонившихся над младенцем Иисусом. Кругом царил покой. Когда он шурил глаза, ему казалось, что на лице Марии появлялась нежная улыбка, а мудрецы в благоговении начинали отвешивать поклоны, ожившие животные переминались в стойлах, остро пахло лошадьё, а из ясель доносился слабый, хрустальный голосок плачущего младенца.

Порыв холодного воздуха заставил Скотта вздрогнуть.

Посмотрев на дверь кухни, он увидел, что она приоткрылась. Ветер, ворвавшийся с улицы, разбрасывал по полу снежинки. Скотт ожидал, что Лу закроет дверь, но этого не случилось; а услышав слабый, далекий шум льющейся воды, понял, что жена принимает душ. Скотт вышел из игрушечного хлева и двинулся по шершавому ватному льду под рождественской елкой, искусственный снег захрустел под его крошечными домашними тапочками. На него опять налетел порыв ветра, и он задрожал от холода.

— Бет! — позвал Скотт, но тут же вспомнил, что она играет во дворе. Раздраженно проворчав себе что-то под нос, он побежал по коврику к бесконечно уходящему вперед зеленому линолеуму. «Попробую сам закрыть дверь».

Едва добежав до двери, Скотт услышал за спиной хрипкое урчанье и, повернувшись, увидел рядом с раковиной кошку: она только что подняла голову от

блюдца с молоком, ее пушистая шерсть была мокрой и взъерошенной. Что-то оборвалось у него внутри.

— Пошла вон, — крикнул Скотт. Кошка насторожила уши. — Пошла вон, — крикнул он громче.

Мягкое мурлыканье задрожало в ее горле, и она выставила вперед свою хищную лапу с выпущенными когтями.

— Пошла вон! — заорал он, отступая. Ледяной ветер бил его в спину, снежинки легко, как нежные руки, касались его головы и плеч.

Скользнув по полу, как по льду, кошка легко подалась вперед, приоткрыв пасть и обнажив острые, как сабли, клыки.

Вдруг вошла Бет, и неожиданный порыв ураганного ветра сквозняком пронесся по полу. Ударившись о заднюю дверь, раскрыл ее и, подхватив, выбросил Скотта на улицу. Через секунду дверь хлопнула, а он упал в сугроб.

Выбравшись из него, весь в снегу, Скотт подбежал к двери и начал колотить по ней кулаками.

— Бет! — его голос тонул в завываниях ветра. Как привидения, из темноты обрушивались тучи холодного снега. Гигантский снежный ком, свалившись с перил, разбился рядом с ним, обдав его с головы до ног ледящей пылью.

— Боже мой, — пробормотал Скотт и начал бешено колотить по двери ногами. — Бет! — простонал он. — Бет,пусти же меня! — И колотил кулаками, пока не разбил пальцы, пинал ногами, пока они не онемели, но дверь так и не открылась.

«Боже мой». Весь ужас положения волной обрушился на него. Скотт повернулся и со страхом посмотрел на заснеженный двор. Все вокруг было ослепительно белым. Земля, покрытая снегом, напоминала голубую пустыню, ветер гнал облака белой пыли по высоким дюнам. Деревья казались громадными мраморными колоннами с торчащими во все стороны, как

кости скелета, ветвями. Изгородь была покрытой белыми чешуйками баррикадой, и ветер, срывая с нее комочки снега, обнажал выставленные вперед острые пики.

Скотта, как гром, оглушила мысль: если он задержится здесь, то умрет от холода. Ноги уже заковали, руки онемели, а все тело пробирала дрожь.

Его сознание разрывалось от невозможности решить: остаться здесь и дальше пытаться проникнуть в дом или уйти с крыльца и поискать убежище от снега и ветра? Инстинкт подталкивал его к дому, шепча: «Безопасность там, за белой дощатой дверью». А рассудок говорил: «Остаться здесь — значит подвергнуть жизнь опасности». Окна погреба заперты изнутри, дверь — слишком тяжела для него. А под крыльцом будет не теплее.

Парадная дверь! Если бы ему удалось забраться на перила перед парадной дверью, то он смог бы позвонить в звонок и — попасть в дом.

Но Скотт все еще не мог решиться. Снег казался страшно глубоким. А что, если он утонет в сугробе? Или превратится в ледышку на холодном ветру?

Но он знал, что у него есть только одна возможность и решение должно быть принято незамедлительно. Не было никакой гарантии, что его отсутствие скоро обнаружится. Если он останется здесь, на заднем крыльце, то Лу, начав поиски, возможно, найдет его до того, как он окоченеет; а может быть, после...

Стиснув зубы, Скотт подошел к краю крыльца и прыгнул на первую ступеньку. Лежащий толстым слоем снег смягчил падение. Поскользнувшись, Скотт сумел удержать равновесие и пошел, волоча ноги, к краю ступеньки. Снова прыгнул.

Ноги поехали назад, и он упал, зарывшись руками в снег по самые плечи. Лицо обожгло холодом. Задышавшись, Скотт резко встал и принялся брезгливо сма-

хивать со щек и со лба снежинки, как будто они были пауками с льдинками вместо ног.

«Нельзя терять ни секунды». Осторожно ставя ноги, Скотт довольно быстро прошагал к краю ступеньки, помедлил на нем секунду, глядя вниз, и, быстро вздохнув, прыгнул.

Он заскользил, руками хватаясь за воздух. Доехав до края третьей ступеньки, на миг задержался на нем и полетел вниз.

Пролетев четыре фута, его тело вонзилось в бугорок снега, как нож в мороженое. Холодные кристаллики засыпали лицо, забились за шиворот. Барахтаясь, Скотт приподнялся, снова упал, его ноги вязли в нагромождении льдинок. Ошеломленный, он лежал под кучей свалившегося на него снега.

Холод сковывал все его члены, и Скотт торопливо встал. «Надо двигаться».

О том, чтобы бежать, не могло быть и речи. Ноги разъезжались от налипшего на тапочки снега, и он шел медленно, пошатываясь, то и дело проваливаясь в снег. Холодный ветер раздувал волосы и хлестал ими Скотта по лицу, срывал с него одежду, обжигал сквозь нее тело студеным дыханием. Руки и ноги окоченели.

Наконец он подошел к углу дома. Вдалеке увидел громаду «форда», брезентовый чехол которого был засыпан снегом.

Стон задрожал в горле. «Как далеко». Скотт глотнул студеного воздуха и снова ринулся вперед. «Я дойду, — говорил он себе, — я дойду».

Стремительно падая вниз, над снегом пролетел какой-то предмет.

Еще секунду назад Скотт боролся только с ветром, холодом и глубоким, по пояс, снегом. А вот сейчас, неожиданно, что-то тяжелое, налетев сзади, сбilo его с ног. С лицом, засыпанным снегом и искаженным гримасой ужаса, Скотт метнулся в сторону, едва

успев увернуться от черной стрелы, летевшей прямо в него.

Тяжело дыша, он выкинул вверх руку, инстинктивно защищаясь от пронесшейся над ним и взметнувшейся резко вверх птицы. Хищница, стремительно описав круг, вновь бросилась на Скотта. И прежде, чем тот успел окончательно встать, она прорезала воздух так близко от него, что в нос ударил запах мокрых перьев. Яростно молотя огромными крыльями воздух, она снова взлетела и снова обрушилась вниз — ее раскрытый клюв парой сабель неся прямо на Скотта.

Он упал на спину и, судорожно схватив пригоршней снег, бросил его в голову птицы. Воробей, а птица оказалась воробьем, взмыл вверх, яростно чирикал, и, описав крутую дугу, зашелся над ним узкими, сходящимися кругами.

Безумный от страха взгляд метнулся к дому — погреб, окно без карниза.

Птица опять бросилась вниз. Скотт, прыгнув вперед, растянулся на снегу и увидел пронесшийся над ним темный ком и мелькающие крылья. Воробей снова взмыл вверх, стремительно описал круг и опять стал падать вниз. Скотт, успев пробежать всего несколько футов, снова был сбит с ног.

Поднявшись, опять швырнул в птицу снегом, который отлетел белой пылью от темного, кровожадно раскрытого клюва.

Над головой вновь раздалось хлопанье крыльев. Скотт повернулся, с трудом сделал несколько шагов по снегу, и на него обрушились резкие удары мокрых крыльев. Отмахиваясь руками, он попал по твердому клюву, и птица снова отлетела.

Поединок, казалось, длился целую вечность.

Скачками по покрытому ледяной корочкой снегу, пока не раздастся над самой головой резкое хлопанье крыльев. Опять на колени, разворот, пригоршни снега

птице в глаза, и, пока та приходит в себя, — рывками еще на несколько дюймов вперед. Пока, наконец, промерзший и промокший до костей Скотт не прижался спиной к окну погреба, швыряя в птицу снег в отчаянной надежде на то, что она оставит его и он прыгнет в погреб, который может стать его тюрьмой.

Но хищница падала, бросалась, обрушивалась на Скотта, ее крылья шуршали, как колышущиеся на ветру мокрые простыни.

Вдруг на голову Скотта обрушились удары. Это был клюв, который сдирал кожу с черепа и вбивал голову в стекло. Оглушенный нападением воробья, Скотт отчаянно пытался отмахиваться руками. В белой дымке двор поплыл перед глазами. Скотт схватил пригоршней снег, бросил и промахнулся. А крылья все били его по лицу, клюв раздирал кожу на голове.

С криком ужаса Скотт развернулся и, прыгнув в щель под окном, пополз по ней. Воробей скакал и ударами клюва загонял его все глубже и глубже.

Скотт сорвался и полетел вниз, цепляясь за стенку. Крик оборвался — удар о песок выбил из легких остатки воздуха. Он попробовал встать, но подвернутые при падении ноги не держали его.

Через десять минут Скотт услышал торопливые шаги над головой. Задняя дверь дома скрипнула, открываясь, и захлопнулась. И, пока он лежал неподвижно, с разбитым телом, Лу и Бет ходили вокруг дома и по двору, разгребая снег, выкрикивая его имя снова и снова. И даже темнота не заставила их прекратить поиски.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В отдалении он слышал глухой шум водяного насоса. «Они забыли его выключить», — эта мысль, словно холодный лед сквозь трещины, тонкой вязкой

струйкой разливалась по мозгу. Взгляд его казался бессмысленным, а лицо оцепенело. Насос щелкнул. На погреб упала тишина. «Они уехали, — подумал Скотт. — Дом пуст. Я один. — Его язык еще шевелился. — Один». Губы двигались, но слова рождались и умирали в горле. Скотт слабо пошевелился — острая боль пронзила спину и череп. «Один». Кулак сжался и ударил по цементу. «Один. После всего, после таких усилий — один».

Наконец он приподнялся и тут же упал, чуть не потеряв сознание от боли, взорвавшейся в голове. Скотт приподнял руку и осторожно дотронулся пальцем до болевшего места. Едва касаясь, провел по краям раны с запекшейся кровью. Погладил кончиком пальца бугор шишки, чуть надавил, от боли застонал и уронил руку. Он чувствовал животом холод шершавой цементной поверхности.

«Один».

Затем перекатился на спину и сел. Боль волнами разливалась по голове и успокаивалась не скоро. Скотт прижал ладони к вискам, пытаясь погасить отзвуки боли. Немного погодя они стихли и спустились к шее, вонзившись в нее маленькими иголками.

«Интересно, треснул ли мой череп, — думал Скотт. — Нет, если бы он треснул, я бы уже не интересовался этим».

Он открыл глаза и посмотрел, жмурясь от боли, на погреб. Никаких перемен, все оставалось на своих местах.

«А я собирался выбраться отсюда, — мелькнула горькая мысль. Скотт обернулся на дверь. — Закрыта, конечно. А может, еще и заперта. Я все еще узник». В глубоком вдохе его грудь задрожала. Он облизнул пересохшие губы. Опять хочется пить и есть. Все оказалось бессмысленно. Слабое движение челюсти отзывалось грызущей болью в голове. Открыв рот, Скотт сидел, расслабившись, пока боль не утихла.

Она снова вернулась, как только он встал. Скотт стоял, уперевшись рукой в стенку следующей ступеньки, а подвал волнами плыл перед его глазами, как будто был покрыт толщей воды. Через какое-то время предметы обрели наконец четкие очертания.

Он сделал шаг и зашипел от боли: колено опять распухло. Взглянув на него, Скотт вспомнил, что именно эту ногу он повредил, когда свалился в погреб. Странно, но ему никогда не приходила в голову мысль, что именно потому эта нога всегда сдавала первой.

Он вспомнил, как лежал на песке, подвернув ногу, а Лу звала его, бегая по двору. Была ночь, и в погребе было темно и холодно. Ветер сквозь щель задувал в погреб конфетти из снега, и тот опускался на его лицо робкими, быстрыми прикосновениями призракного ребенка. И, хотя Скотт откликался, Лу так и не услышала его. Ни тогда, ни потом — когда спустилась в погреб. Он не мог пошевелиться и только выкрикивал ее имя.

Он медленно подошел к краю ступеньки и посмотрел с высоты в сто футов на пол. Ужасная пропасть. Сползти по трещине в цементе или...

Приземлился на ноги. Колено взорвалось болью, и казалось, что острая, как нож, пика проколола его мозг, когда он упал на руки. На этом все кончилось. Отходя после удара, Скотт сидел на полу, зловеще улыбаясь, несмотря на боль: хорошую вещь он обнаружил вчера, сорвавшись с крюка: можно упасть, отделавшись легким ушибом. Если б он не знал этого, ему пришлось бы сползать по щели, теряя драгоценное время. Улыбка сползла с лица, печальный взгляд блуждал по полу. Время перестало быть похожим на деньги, которые можно потрогать или сохранить. Оно потеряло свою ценность.

Скотт встал и пошел, шлепая ногами по холодному цементу. «Может, опять сделать тапки из губки? — Он безразлично пожал плечами. — Это уже неважно».

Напившись в шланге, Скотт вернулся к губке. После всего пережитого голода он не чувствовал. Забравшись на губку, слабо вздохнул и лег на спину.

И лежал там безвольно, и глядел на окно над топливным баком. Солнечного света не было видно. Наверное, уже скоро ночь. «Скоро будет темно. Скоро наступит его последняя ночь».

Скотт посмотрел на спутанную паутину, затянувшую угол окна. Много разных вещей болталось на ее липких нитях: грязь, жуки, кусочки опавших листьев, даже обломок карандаша, который он когда-то бросил сюда. За все время, проведенное в погребѣ, он ни разу не видел того паука, который сплел эту паутину. Не видно было его и сейчас.

Тихо было в погребѣ. Вероятно, уезжая, они отключили масляный обогреватель. Слабые потрескивания и поскрипывания сохнувших досок не могли нарушить тишины, и слышно было его дыхание, неровное, слабое. «В это окно я когда-то видел ту девушку. Ее, кажется, звали Кэтрин», — вспомнил Скотт, но никак не мог воспроизвести в памяти ее внешность.

Именно к этому окну он пытался взобраться, упав в погреб; только оно и было доступно для него. А то, в которое он свалился, со щелью, — было слишком далеко от песка, и путь к нему лежал по отвесной стене. Другое окно, над мусорной кучей, было и вовсе недоступно. Так что оставалось только это — над топливным баком.

Но когда в нем оставалось семь дюймов, он не мог просто так забраться наверх, по коробкам и чемоданам. А когда придумал способ — стал еще меньше. Однажды Скотт даже добрался до окна, но без камня, и не смог разбить стекло. Так что пришлось спуститься ни с чем.

Он лег на бок и отвернулся от окна. Было невыносимо — видеть голубое небо, деревья и знать, что никогда не будешь там, на свободе. Уставившись на стену скалы, Скотт тяжело дышал.

Он вновь опять погрузился в болезненное самокопание. Все, что было сделано с таким трудом, — коту под хвост. Странно, погибнуть он мог уже давным-давно, но какая-то сила, всякий раз прогоняя слабость, толкала его вперед. И три месяца — вверх и вниз по ниткам, в бой с пауком, на поиски пищи. Скотт сжал зубы и посмотрел долгим взглядом на шест сачка, прислоненный к стене скалы. Взгляд двинулся вверх по длинному шесту, очень длинному шесту.

Неожиданно Скотт как лежал, так и подпрыгнул. Задышавшись злобным урчанием, дополз до края губки и спрыгнул вниз, не обратив никакого внимания на боль в колене и голове. Бросился к стене скалы, вдруг остановился. «А как быть с водой, едой?» Да никак! Они уже не понадобятся. Скоро, очень скоро все закончится. И Скотт снова побежал к сачку.

По дороге он все же заглянул в шланг, чтобы напиться. А когда оказался у стены, стал карабкаться по металлическому ободку сачка, его толстым веревочкам к шесту, где вскоре и оказался.

Все складывалось как нельзя лучше. Шест был таким толстым и прислонялся к стене под таким углом, что Скотт мог восходить по нему стоя, мог даже бежать по его длинному отлогому склону.

Издав радостный крик, он устремился наверх, на бегу снова погрузившись в воспоминания. Может быть, все, что с ним происходит, не случайно и есть какой-то смысл в том, что он еще не погиб? Нет, в это трудно поверить, но еще труднее закрыть на это глаза. Все счастливые совпадения, благодаря которым он еще жив, просто невероятны.

Вот, например, этот стол, оставленный его братом здесь, в удобном для него, Скотта, положении. Это только случайность. А победа над пауком, открывшая путь к свободе, — что, тоже случайность? И, что еще важнее — счастливое сочетание двух случайностей, это что же, только слепое совпадение?

Невероятно! Но процесс уменьшения, оставив ему сегодня только лишь один день жизни, проходил с поражающей точностью, которая вселяла в душу безнадежное отчаяние, — а может быть, в этом надо было увидеть что-то еще? Но что?

Как бы там ни было, неизъяснимое чувство радости не покидало Скотта. Оно с каждым его шагом, с каждой минутой росло: и когда позади остались два садовых кресла, и когда он, остановившись перевести дух, смотрел вниз на серую бескрайнюю равнину пола, и когда через час, добежав до края скалы, свалился от усталости как подкошенный, и даже тогда, когда лежал почти без чувств, с гулко бьющимся сердцем, царапая в отчаянии пальцами песок. «Встань! — уговаривал себя Скотт. — Вперед. Скоро стемнеет. Выбраться надо до темноты».

Он поднялся с песка и бросился по сумеречной пустыне. Пробегая мимо бездыханного тела паука, даже не остановился взглянуть на него. Пройденный этап, он только подготовил следующий. Скотт задержался лишь на миг около ломтя хлеба. Оторвав для себя маленький кусочек, бросил его за пазуху. И снова бегом.

Уже около паутины он остановился, чтобы перевести дух. Потом вверх, по липким нитям, с силой отдирая от них руки и ноги. По дрожащей и раскачивающейся паутине, мимо дохлого таракана. Даже ртом не схватить достаточно воздуха.

А радостное возбуждение росло и росло. И неожиданно все для Скотта наполнилось смыслом, все стало закономерным. Может быть, он и выдает желаемое за действительное. Но что с того? Он верит в это.

Забравшись на верхний край паутины, Скотт переполз на рейку, пробитую вдоль стены, отчаянно быстро перебирая ногами, бросился бежать по ней, вовсе не замечая боли в колене.

Он несся по рейке что было сил — прямо по тени, за угол, не сбавляя хода, и снова прямо, целую милю. Крошечным жучком, задыхаясь, Скотт мчался по балке.

Ослепительный свет обрушился на него.

Он замер. Грудь ходила ходупом, горячее дыхание обжигало губы. Ветер свободы ласкал лицо. Зажмурившись, Скотт втянул в себя его нежно ласкающую прохладу. Свобода... Это слово заметалось в мозгу, вытесняя, выгоняя все прочие слова, пока наконец не зазвучало сильным, уверенным соло: «Свобода, свобода, свобода...»

Медленно, сдержанно, с приличествующим моменту достоинством Скотт подтянул тело на несколько дюймов вверх к квадрату открытого окна, переполз через деревянный выступ, спрыгнул вниз и на дрожащих ногах пошел к краю цементной площадки.

Он стоял на краю света.

Скотт лежал в теплой, мягкой постели из сухих хрустящих листьев. Наевшись кусочком хлеба, припрятанным за пазухой, и напившись из миски, найденной под крыльцом, он теперь нежился в тепле и глядел на звезды.

Какая красота! Бледно-голубыми алмазами они рассыпались по черному атласу неба. Луна в эту ночь не выкатилась своим желтым глазом, и кругом царил тьма, разрываемая лишь крошечными вспышками звезд.

Чудо, что за ночь! Скотт чувствовал восторг оттого, что видит ту же картину, что и до падения в погреб и даже до начала болезни. А еще оттого, что не только он, крошечное существо, но и вся земля тонула в ночной бездне.

Как странно, что после всех пережитых ужасов, думая в эту ночь — последнюю ночь — о конце своего существования, он был совершенно спокоен. До конца

остались считанные часы, и все же радость жизни переполняла его. Эта радость была верхом восторга. Она грела его больше, чем сухие листья. Знать, что конец близок, и оставаться спокойным. Не в этом ли сила духа, духа несокрушимого. Ведь Скотт был один на один со своей бедой, и рядом не было никого, кто смог бы пожалеть его или оценить его мужество. Эта смелость была без оглядки на возможную похвалу.

Раньше, и Скотт знал это теперь наверняка, все было иначе. Жизнь в нём поддерживала надежда, что вообще свойственно многим людям.

Но теперь, в последние роковые часы, надежда растаяла. А он еще умел улыбаться. В момент, казалось бы, отчаяния он восторгался. Скотт знал, что сделал все, что было в его силах, и поэтому ни о чем не сожалел. В этом-то и была его безоговорочная победа, победа над самим собой.

«Я славно бился», — сказал он себе и устыдился своих слов. Но через мгновение от стыда не осталось и следа, ведь в этих словах Скотт чувствовал сладость с легким горьковатым привкусом своей победы.

На всю Вселенную он крикнул:

— Я славно бился! — И добавил чуть слышно: — Чтоб оно все провалилось.

А потом залился смехом, который крошечным, едва ли слышным колокольчиком зазвенел над огромной черной Землей.

И было так здорово — смеяться под звездами. А потом — спокойно спать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Настало утро, для сонного рассудка ничем не примечательное. Веки задрожали. Скотт открыл глаза и какой-то миг еще безразлично взирал на мир. Но

вдруг все вспомнил, и сердце, казалось, перестало биться.

Испуганно вскрикнув, он резко сел и стал недоверчиво озиаться. Отдаваясь ударами в висках, в голове гремел вопрос: «Где я? Где я?»

Скотт посмотрел вверх и увидел над собой вместо неба голубой полог, мятый, жеванный, весь в огромных дырах, через которые вниз столбами падал свет.

Глаза от изумления расширились. Скотту казалось, что он проснулся в огромной, бесконечной пещере. Посмотрев направо, он увидел невдалеке от себя выход, торопливо встал и только тогда обнаружил, что совершенно гол. «Где же губка?»

Скотт снова поднял глаза на изрезанный трещинами, весь в складках голубой свод, длиной в сотни ярдов. Это была его курточка из губки.

Он тяжело сел и стал осматривать себя. «Тело все то же. — Потрогал себя. — Да, все то же. Но на сколько же я уменьшился за одну ночь?» Вспомнив, что, засыная, лежал на постели из листьев, посмотрел вниз. Он сидел на пестром, темно-желтом бескрайнем ковре, изрезанном широкими тропами, которые уходили от главной дороги куда-то вдаль.

В изумлении Скотт затряс головой.

Он, получается, меньше, чем ничто?

Вдруг его осенило: вчера ночью он смотрел на внешнюю Вселенную, но должна ведь быть и внутренняя, а может быть, и не одна.

Скотт снова встал. Почему ему никогда не приходила в голову мысль о микроскопических и еще более мелких мирах? Об их существовании он знал уже давно, но вот приложить это к себе не мог, потому что думал о Вселенной и всем сущем в ней с точки зрения убогих представлений человека об измерениях. Ведь это человек измеряет мир дюймами, и природа его этому не учила; это для человека ноль дюймов означает ничто, ноль — ничто.

Но в природе нет состояния нуля: все в ней существует, проходя бесконечные циклы развития. Теперь это казалось так просто: он никогда не исчезнет, потому что во Вселенной все существует вечно.

Скотт сначала даже испугался: настолько непривычно было думать о том, что он будет бесконечно двигаться из одного измерения в другое. Но потом к нему пришла успокоительная мысль — может быть, разум, как и природа, существует в бесконечном множестве измерений и миров.

Возможно, он найдет братьев по разуму.

Неожиданно Скотт бросился к свету. Выбежав из-под полога, он замер в немом благоговении: новый мир встретил его зеленым раздольем трав, сверкающими горами, деревьями, уходящими в небо, которое переливалось на солнце тысячью лазоревых оттенков.

Это был чудный мир.

И предстояло еще многое сделать, многое передумать. Разум наполнился сотней вопросов и идей, и опять появилась надежда. И надо было найти пищу, воду, одежду, убежище и, что еще важнее, — разумную жизнь. Как знать, может, в этом мире тоже была разумная жизнь.

И, предвкушая массу удивительных открытий, Скотт Кэри побежал в свой новый мир.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Я — ЛЕГЕНДА. ПОСЛЕДНИЙ. Роман	5
Часть I. <i>Январь 1976</i>	7
Часть II. <i>Март 1976</i>	46
Часть III. <i>Июнь 1978</i>	128
Часть IV. <i>Январь 1979</i>	175
 ПУТЬ ВНИЗ. Роман	 193

Литературно-художественное издание

Ричард Мэтсон

ЛЕГЕНДА

Перевод с английского
Сергея Осипова
и Максима Панкротова

Ответственный редактор *Геннадий Белов*
Художник *Владислав Асадулин*
Художественный редактор *Виктор Меньшиков*
Технический редактор *Татьяна Раткевич*
Верстка *Иины Юзефович*
Корректоры: *Людмила Ни, Нина Смирнова*

Подписано в печать с оригинала-макета 15.03.93.
Формат издания $84 \times 108^{1/32}$. Гарнитура школьная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Тираж 120 000 экз.
Изд. № 166. Заказ № 256.

Издательство «Северо-Запад»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 18

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор»
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15





Ручард МЭТСОН
НОДЕНЬ БДЕНЬ



fantasy



•Северо-Занэг®

Нодлех Мэтсон
Ручаг бдчлн

